

КОНТИНЕНТ KONTINENS KONTYNENT CONTINENT KONTINENT  
КАНТЫНЕНТ KONTINENTAS KONTINENTS MANDER КОНТИНЕНТ

А просто наступила тишина, такая тишина, которой она никогда не знала. Машенька прочитала все свиде-

тельство (не первое, такие она уже видела, но такое — первое). И о том, что смерть наступила в результате огнестрельного ранения. А потом опять — фамилия и имя.

*Юрий Кашкаров*

...проблему представлял тот факт, что издания, закрытые временно или постоянно, незамедлительно открывались под новым названием, но с прежним штатом сотрудников, программой, форматом и шрифтом.

...Выходом из положения, по мнению министра, было изменить закон...

*Гилберт Докторов*



По Зивсу, я — сторонник насильственного свержения существующего в СССР строя... интервенции, войны! Я же... являюсь убежденным эволюционистом, противником насилия... Да, я говорю о необходимости восстановления и сохранения равновесия в области обычных вооружений — но ради устранения угрозы тер-



моядерного уничтожения человечества. Да, я говорю о необходимости восстановления ядерного равновесия в Европе — но именно восстановления, когда нет другого пути добиться стратегического равновесия. Да, я говорю о необходимости плюралистических реформ в нашей стране...

*Андрей Сахаров*

Шостакович мог бы сказать о себе примерно то, что сказала о себе Анна Ахматова: «я была тогда с моим народом, там, где мой народ, к несчастью,

и несбывшихся надежд, сколько побед и поражений. Особенно напряженными в моей жизни были последние десять лет. Попробую... восстановить в памяти события этого десятилетия.

*Максим Шостакович*

Сколько людей было на моем пути. Сколько борьбы за доской и в жизни. Сколько стран и городов я объехал.

Сколько сбывшихся и несбывшихся надежд, сколько побед и поражений. Особенно напряженными в моей жизни были последние десять лет. Попробую... восстановить в памяти события этого десятилетия.

*Исер Куперман*



**Главный редактор:** Владимир Максимов  
**Зам. главного редактора:** Наталья Горбаневская  
**Ответственный секретарь:** Виолетта Иверни  
**Заведующий редакцией:** Александр Ниссен

**Редакционная коллегия:**

Василий Аксенов · Раймон Арон · Ценко Барев  
Сол Беллоу · Николас Бетелл · Энцо Беттица  
Иосиф Бродский · Владимир Буковский  
Ежи Гедройц · Александр Гинзбург · Пауль Гома  
Густав Герлинг-Грудзинский · Корнелия Герстенмайер  
Петр Григоренко · Милован Джилас  
Ирина Иловайская-Альберти · Эжен Ионеско  
Роберт Конквест · Наум Коржавин  
Эдуард Кузнецов · Николаус Лобковиц  
Михайло Михайлов · Эрнст Неизвестный · Амос Oz  
Андрей Сахаров · Виктор Спарре · Странник  
Юзеф Чапский · Карл-Густав Штрём  
Пьер Эмманюэль

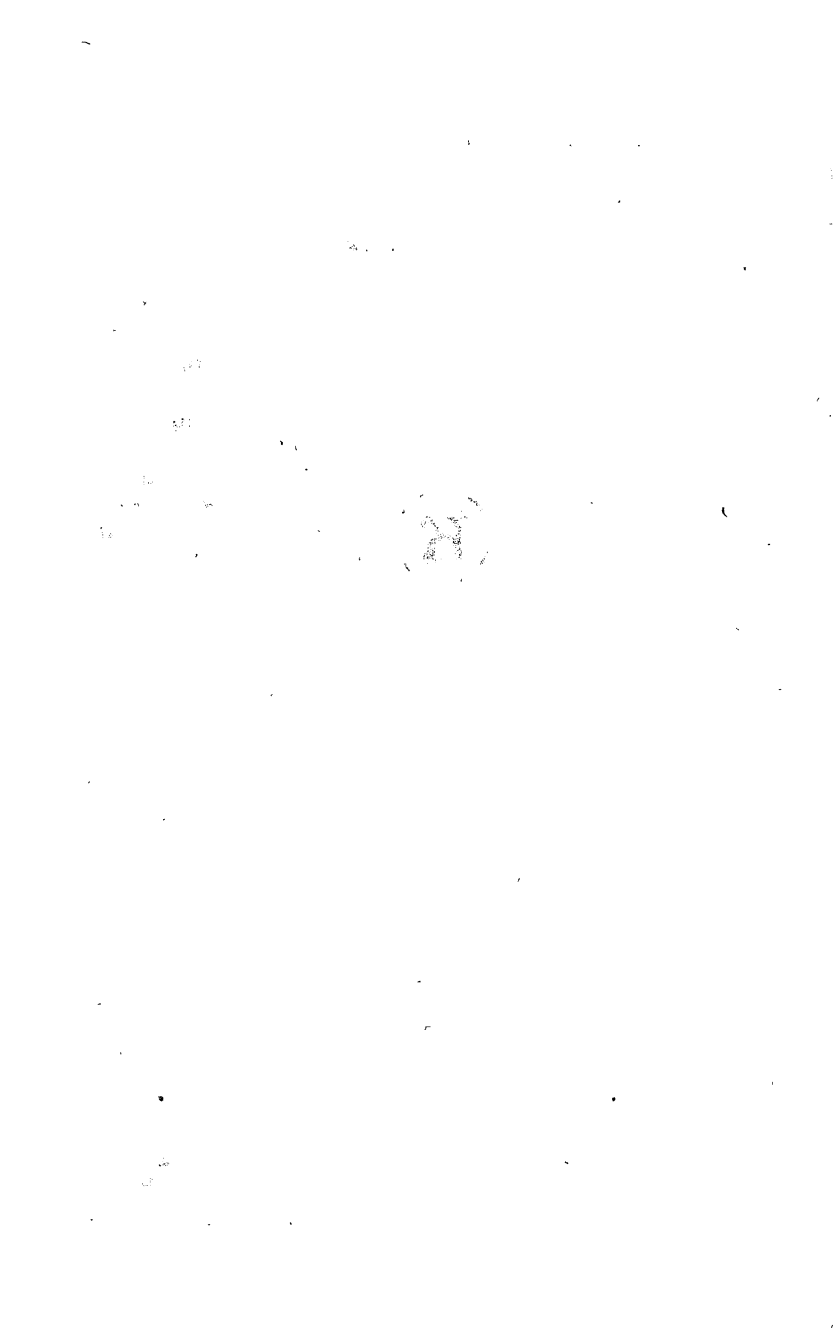
**Корреспонденты «Континента»**

- Англия** Владимир Тельников  
Wladimir Telnikov, 50 The Drive Mansions,  
Fulham Rd., London S.W. 6
- Израиль** Михаил Агурский  
Michael Agoursky, P.O.B 7433,  
Jerusalem, Israel
- Италия** Сергей Рапетти  
Sergio Rapetti, via Beruto 1/B  
20131 Milano, Italia
- США** Юрий Ольховский  
Yuri Olkhovsky, 3319 Ardley Court  
Falls Church, Va. 22041, USA
- Япония** Госуке Утимура  
Higashi-Yamato, Hikariga-oka 10-7  
189 Tokyo, Japan

Присланные рукописи не возвращаются, и в переписку по этому поводу редакция не вступает.

Название журнала «КОНТИНЕНТ» — © В. Е. Максимова





# КОНТИНЕНТ

Литературный, общественно-политический  
и религиозный журнал

36

Издательство «Континент»  
1983



## СОДЕРЖАНИЕ

Иосиф Бродский — Стихи	7
КРУГ РАССКАЗЧИКОВ	
Юрий Кашкаров — Гроб из Луанды	23
Дмитрий Бобышев — Звезды и полосы	41
КРУГ РАССКАЗЧИКОВ	
Леонид Чертков — Небесные оркестранты	51
Наталья Горбаневская — Стихи из книги «Переменная облачность»	61
КРУГ РАССКАЗЧИКОВ	
Марк Заичик — История	67
Алексис Раннит — Из новых стихов. Авторизованный перевод с эстонского Александра Радашкевича	80
КРУГ РАССКАЗЧИКОВ	
Юрий Гальперин — Болезнь	87
Юрий Кублановский — Новые стихи	102
Фридрих Горенштейн — Муха у капли чая. Повесть. Окончание	107
СТИХИ	
Александр Донде, Ина Блинецова, Михаил Генделев, Марлена Рахлина	123
РОССИЯ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ	
Андрей Сахаров — Фрагменты из автобиографиче- ской книги	151
ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЙ ДИАЛОГ	
Михайло Михайлов — Достоевский против Канта	163
ЗАПАД — ВОСТОК	
Гилберт Докторов — Реформа царской цензуры	177
<i>НОСОРОГИ ЗА РАБОТОЙ</i> : Святослав Караван- ский — Кто следующий?	219
ФАКТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА	
Рафаэль Шапиро — Заметки о стройке века	231

## ИСТОКИ

- Семен Бадаш — Норильское восстание. (К тридцатилетию) Главы из воспоминаний 251

## ФИЛОСОФИЯ

- Герман Андреев — Два пророка: Карл Маркс и Федор Достоевский 263

## СПОРТ И ПОЛИТИКА

- Исер Куперман — Годы борьбы 289  
Эммануил Штейн — Три годовщины 316

## ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ

- Марран — Булат Окуджава и его время 329

## КОЛОНКА РЕДАКТОРА 355

## НАША ПОЧТА 359

## КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

- Майя Муравник — Мир писателя сокровенного 365

- Виктор Каган — Свидетельства созерцателя 370

- Сергей Голлербах — «Мастера запятых» и мастер синтеза 376

- Т. Горичева — Круги ада 382

- Борис Вайль — Леса будущего здания 386

- М. Михайлова — Профсоюзы по-советски 393

- Кира Сапгир — «...Так всякий знак толкает на поверье...» 397

- Михаил Таранов — Выживание 400

## КОРОТКО О КНИГАХ 405

## ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛОВ 419

## НАША АНКЕТА

- Интервью с Максимом Шостаковичем 425

## СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ



*ПЯТАЯ ГОДОВЩИНА*

*(4 июня 1977)*

Падучая звезда, тем паче — астероид  
на резкость без труда твой праздный взгляд настроит.  
Взгляни, взгляни туда, куда смотреть не стоит.

\*

Там хмурые леса стоят в своей рванине.  
Уйдя из точки «А», там поезд на равнине  
стремится в точку «Б». Которой нет в помине.

Начала и концы там жизнь от взора прячет.  
Покойник там незрим, как тот, кто только зачат.  
Иначе среди птиц. Но птицы мало значат.

Там в сумерках рояль бренчит в висках бемолью.  
Пиджак, вися в шкафу, там поедаем молью.  
Оцепеневший дуб кивает лукоморью.

\*

Там лужа во дворе, как площадь двух Америк.  
Там одиночка-мать вывозит дочку в скверик.  
Неугомонный Терек там ищет третий берег.

Там дедушку в упор рассматривает внучек,  
и к звездам до сих пор там запускают жучек  
плюс офицеров, чьих не осознать получек.

Там зелень щавеля смущает зелень лука.  
Жужжание пчелы там главный принцип звука.  
Там копия, шадя оригинал, безрука.

\*

Зимой в пустых садах трубят гипербореи,  
и ребер больше там у пыльной батареи  
в подъездах, чем у дам. И вообще быстрее

нащупывает их рукой замерзшей странник.  
Там, наливая чай, ломают зуб о пряник.  
Там мучает охранник во сне штыка трехгранник.

От дождевой струи там плохо спичке серной.  
Там говорят «свои» в дверях с усмешкой скверной.  
У рыбьей чешуи в воде там цвет консервный.

\*

Там при словах «я за» течет со щек известка.  
Там в церкви образа коптит свеча из воска.  
Порой дает раза соседним странам войско.

Там пышная сирень бушует в палисаде.  
Пивная цельный день лежит в глухой осаде.  
Там тот, кто впереди, похож на тех, кто сзади.

Там в воздухе висят обрывки старых арий.  
Пшеница перешла, покинув герб, в гербарий.  
В лесах полно куниц и прочих ценных тварей.

\*

Там лёжучи плашмя на рядовой холстине  
отбрасываешь тень, как пальма в Палестине.  
Особенно — во сне. И, на манер пустыни,

там сахарный песок пересекаем мухой.  
Там города стоят, как двинутые рюхой,  
и карта мира там замещена пеструхой,

мычащей на бугре. Там схож закат с порезом.  
Там вдалеке завод дымит, гремит железом,  
ненужным никому: ни пьяным, ни тверезым.

\*

Там слышен крик совы, ей отвечает филин.  
Овацию листвы унять там вождь бессилён.  
Простую мысль, увы, пугает вид извилин.

Там украшают флаг, обнявшись, серп и молот.  
Но в стенку гвоздь не вбит и огород не полот.  
Там, грубо говоря, великий план запорот.

Других примет там нет — загадок, тайн, диковин.  
Пейзаж лишен примет и горизонт неровен.  
Там в моде серый цвет — цвет времени и бревен.

\*

Я вырос в тех краях. Я говорил «закурим»  
их лучшему певцу. Был содержимым тюрем.  
Привык к свинцу небес и к айвазовским бурям.

Там, думал, и умру — от скуки, от испуга.  
Когда не от руки, так на руках у друга.  
Видать, не рассчитал. Как квадратуру круга.

Видать, не рассчитал; зане в театре задник  
важнее, чем актер. Простор важней, чем всадник.  
Передних ног простор не отличит от задних.

\*

Теперь меня там нет. Означенной пропаже  
дивятся, может быть, лишь вазы в Эрмитаже.  
Отсутствие мое большой дыры в пейзаже

не сделало; пустяк: дыра, — но небольшая.  
Ее затянут мох или пучки лишая,  
гармонии тонов и проч. не нарушая.

Теперь меня там нет. Об этом думать странно.  
Но было бы чудней изображать барана,  
дрожать, но раздражать на склоне дней тирана,

\*

паясничать. Ну что ж! на всё свои законы:  
я не любил жлобства, не целовал иконы,  
и на одном мосту чугунный лик Горгоны

казался в тех краях мне самым честным ликом.  
Зато столкнувшись с ним теперь, в его великом  
варьянте, я своим не подавился криком

и не окаменел. Я слышу Музы лепет.  
Я чувствую нутром, как Парка нитку треплет:  
мой углекислый вздох пока что в вышних терпят,

\*

и без костей язык, до внятных звуков лаком,  
судьбу благодарит кириллицыным знаком.  
На то она — судьба, чтоб понимать на всяком

наречьи. Предо мной — пространство в чистом виде.  
В нем места нет столпу, фонтану, пирамиде.  
В нем, судя по всему, я не нуждаюсь в гиде.

Скрипи, мое перо, мой коготок, мой посох.  
Не подгоняй сих строк: забуксовав в отбросах,  
эпоха на колесах нас не догонит, босых.

\*

Мне нечего сказать ни греку, ни варягу.  
Не знаю больше я, в какую землю лягу.  
Скрипи, скрипи, перо! переводи бумагу.

## ГОРЕНИЕ

Зимний вечер. Дрова  
охваченные огнем —  
как женская голова  
ветренным ясным днем.

Как золотится прядь,  
слепотою грозя!  
С лица ее не убрать.  
И к лучшему, что нельзя.

Не провести пробор,  
гребнем не разделить:  
может открыться взор,  
способный испепелить.

Я всматриваюсь в огонь.  
На языке огня  
раздается «Не тронь»  
и вспыхивает «меня!»

От этого — горячо.  
Я слышу сквозь хруст в кости  
захлебывающееся «еще!»  
и бешеное «пусти!»

Пылай, пылай предо мной,  
рваное как блатной,  
как безумный портной,  
пламя еще одной

зимы! Я узнаю  
патлы твои. Твою  
завивку. В конце концов —  
раскаленность щипцов!

Ты та же, какой была  
прежде. Тебе не впрок  
раздевшийся догола,  
скинувший всё швырок.

Только одной тебе  
свойственно, вещь губя,  
приравниванье к судьбе  
сжигаемого — себя!

Впивающееся в нутро,  
взвивающееся вовне,  
наряженное пестро,  
мы снова наедине!

Как ни скрывай черты,  
но предаст тебя суть,  
ибо никто, как ты,  
не умел захлестнуть,

выдохнуться, воспрясть,  
метнуться наперерез.  
Назорею б та страсть,  
воистину бы воскрес!

Пылай, полыхай, грехи,  
захлебывайся собой.  
Как менада пляши  
с закушенной губой.

Вой, трепещи, тряси  
вволю плечом худым.  
Тот, кто вверху еси,  
да глотает твой дым!

Так рвутся, треща, шелка,  
обнажая места.  
То промелькнет щека,  
то полыхнут уста.

Так рушатся корпуса,  
так из развалин икр  
прядают, небеса  
вызвездив, сонмы искр.

Ты та же, какой была.  
От судьбы, от жилья  
после тебя — зола,  
тусклые уголья,

холод, рассвет, снежок,  
пляска замерзших розг.  
И как сплошной ожог —  
не удержавший мозг.

1981

### *КЕЛОМЯККИ*

#### I

Заблудившийся в дюнах, отобранных у чухны,  
городок из фанеры, в чьих стенах едва чихни —  
телеграмма летит из Швеции: «Будь здоров».  
И никаким топором не наколешь дров  
отопить помещенье. Наоборот, иной  
дом согреть порывался своей спиной  
самую зиму и разводил цветы  
в синих стеклах веранды по вечерам; и ты,  
как готовясь к побегу и азимут отыскав,  
засыпала там в шерстяных носках.

## II

Мелкие, плоские волны моря на букву «б»,  
сильно схожие издали с мыслями о себе,  
набегали извилинами на пустынный пляж  
и смерзались в морщины. Сухой мандраж  
голых прутьев боярышника вынуждал порой  
сетчатку покрыться рябой корой.

А то возникали чайки из снежной мглы,  
как замусоленные ничьей рукой углы  
белого, как пустая бумага, дня;  
и подолгу никто не зажигал огня.

## III

В маленьких городках узнаёшь людей  
не в лицо, но по спинам длинных очередей;  
и население в субботу выстраивалось гуськом,  
как караван в пустыне, за сах. песком  
или сеткой салаки, пробивавшей в бюджете брешь.  
В маленьком городе обыкновенно ешь  
то же, что остальные. И отличить себя  
можно было от них, лишь срисовывая с рубля  
шпиль кремля, сужавшегося к звезде,  
либо — видя вещи твои везде.

## IV

Несмотря на всё это, были они крепки,  
эти брошенные спичечные коробки  
с громыхавшими в них посудой двумя-тремя  
сырыми головками. И, воробья кормя,  
на него там смотрели всю семью в окно,



где деревья тоже сливались по вечерам в одно  
черное дерево, стараясь перерастить  
небо — что и случалось часам к шести,  
когда книга захлопывалась и когда  
от тебя оставались лишь губы, как от того кота.

## V

Эта внешняя щедрость, этот, на то пошло,  
дар — холодея внутри, источник тепло  
вовне — постояльцев сближал с жильем,  
и зима простыню на веревке считала своим бельем.  
Это сковывало разговоры; смех  
громко скрипел, оставляя следы, как снег,  
опушавший изморосью, точно хвою, края  
местоимений и превращавший «я»  
в кристалл, отливавший твердую бирюзой,  
но таявший после твоей слезой.

## VI

Было ли вправду всё это? и если да, на кой  
будоражить теперь этих бывших вещей покой,  
вспоминая подробности, подгоняя сосну к сосне,  
имитируя — часто удачно — тот свет во сне?  
Воскресают кто верует: в ангелов, в корни (лес);  
а что Келомякки ведали, кроме рельс  
и расписанья железных вещей, свистя  
возникавших из небытия пять минут спустя  
и растворявшихся в нем же, жадно глотавшем жечь,  
мысль о любви и успевших сесть?

## VII

Ничего. Негашеная известь зимних пространств, свой  
корм  
подбирая с пустынных пригородных платформ,  
оставляла на них под тяжестью хвойных лап  
настоящее в черном пальто, чей драп,  
более прочный нежели шевиот,  
предохранял там от будущего и от  
прошлого лучше, чем дымным стеклом — буфет.  
Нет ничего постоянной, чем черный цвет;  
так возникают буквы, либо — мотив «Кармен»,  
так засыпают одетыми противники перемен.

## VIII

Больше уже ту дверь не отпереть ключом  
с замысловатой бородкой, и не включить плечом  
электричество в кухне к радости огурца.  
Эта скворешня пережила скворца,  
кучевые и перистые стада.  
С точки зрения времени, нет «тогда»:  
есть только «там». И «там», напрягая взор,  
память бродит по комнатам в сумерках, точно вор,  
шаря в шкафах, роняя на пол роман,  
запуская руку к себе в карман.

## IX

На исходе жизни, в ее «лесу»,  
человеку свойственно оглядываться — как беглецу  
или преступнику: то хрустнет ветка, то — всплеск струи.  
Но прошедшее время вовсе не пума и  
не борзая, чтоб прыгнуть на спину и, свалив  
жертву на землю, вас задушить в своих

нежных объятьях: ибо — не те бока,  
и Нарциссом брезгающая река  
покрывается льдом (рыба, подумав про  
свое консервное серебро,

## X

уплывает заранее). Ты могла бы сказать, скрепя  
сердце, что просто пыталась предохранить себя  
от больших превращений, как та плотва;  
что всякая точка в пространстве есть точка «а»  
и нормальный экспресс, игнорируя «b» и «с»,  
выпускает, затормозив, в конце  
алфавита пар из запятых ноздрей.  
Но вода из бассейна вытекает куда быстрее,  
чем вливается в оный через одну  
или несколько труб: подчиняясь дну.

## XI

Можно кивнуть и признать, что простой урок  
лобачевских полозьев ландшафту пошел не впрок,  
что Финляндия спит, затаив в груди  
нелюбовь к лыжным палкам — теперь, поди,  
из алюминия: лучше, видать, для рук.  
Но по ним уже не узнать, как горит бамбук,  
не представить пальму, муху це-це, фокстрот,  
монолог попугая — вернее, тот  
вид параллелей, который — поскольку край  
света — раздевшись, облюбывал Маклай.

## ХII

В маленьких городках, хранящих в подвалах скарб,  
как чужих фотографий, не держат карт —  
даже игральных — как бы кладя предел  
покушеньям судьбы на беззащитность тел.  
Существуют обои; и населенный пункт  
освобождает ими от внешних пут  
столь успешно, что дым норовит назад  
воротиться в трубу, не подводить фасад;  
что оставляют слившиеся в одно  
белое после себя пятно.

## ХIII

Не обязательно помнить, как звали тебя, меня;  
тебе достаточно блузки и мне — ремня,  
чтоб увидеть в трельяже (то есть, подать слепцу),  
что безымянность нам в самый раз, к лицу,  
как в итоге всему живому, с лица земли  
стираемому беззвучным всех клеток «пли».  
У вещей есть пределы. Особенно — их длина,  
неспособность сдвинуться с места. И наше право на  
«здесь» простиралось не дальше, чем в ясный день  
клином падавшая в сугробы тень

## ХIV

дровяного сарая. Глядя в другой пейзаж,  
будем считать, что клин этот острый — наш  
общий локоть, выдвинутый вовне,  
которого ни тебе, ни мне  
не укусить, ни, подавно, поцеловать.

В этом смысле, мы слились; хотя кровать даже не скрипнула. Ибо она теперь целый мир, где тоже есть сбоку дверь, но и она — точно слышала где-то звон — годится только, чтоб выйти вон.

1982

*ВАШИНГТОН.*

*Карлу Профферу*

Каменный шприц впрыскивает героин  
в кучевой, по-зимнему рыхлый мускул.  
Шпион, ворошащий в помойке мусор,  
извлекает смятый чертеж руин.

Повсюду некто на скакуне;  
все копыта — на пьедестале.  
Всадники, стало быть, просто дали  
дуба, на собственной простыне.

В сумерках люстра сродни костру,  
пляшут сильфиды, мелькают гузки.  
Пролежавший весь день на «пуске»  
палец мусолит его сестру.

В окнах зыблется нежный тюль,  
терзает голый садовый веник  
шелест вечнозеленых денег,  
непрекращающийся июль.

Помесь лезвия и сырой  
гортани, не произнося ни звука,  
речная поблескивает излука,  
подернутая ледяной корой.

Жертва легких, но друг ресниц,  
воздух прозрачен, зане исколот  
клювами плохо сносящих холод,  
видимых только в профиль птиц.

Се — лежащий плашмя колосс,  
прикрытый бурою оболочкой  
с отделанной кружевом оторочкой  
замерзших после шести колес.

Закат, выпуская из щели мышь,  
вгрызается — каждый резец оскален —  
в электрический сыр окраин,  
в то, как строить способен лишь

способный всё пережить термит;  
депо, кварталы больничных коек,  
чувствуя близость пустыни в коих,  
прячет с помощью пирамид

горизонтальность свою земля  
цвета тертого кирпича, корицы.  
И поезд подкрадывается, как змея,  
к единственному соску столицы.

1982

1983

Первый день нечетного года. Колокола  
выпускают в воздух воздушный шар за воздушным шаром  
составляя компанию там наверху шершавым,  
триста лет как раздевшимся догола  
местным статуям. Я валяюсь в пустой, сырой,  
желтой комнате, заливая в себя Бертани.

Эта вещь, согреваясь в моей гортани,  
произносит, в конце концов, «Закрой  
окно». Вот и еще одна  
комбинация цифр не отворила дверцу;  
плюс нечетные числа тем и приятны сердцу,  
что они заурядны: мало кто ставит на  
них свое состоянье, свое неименье, свой  
кошелек; а поставив — встают с чем сели...  
Чайка в тумане кружится супротив часовой  
стрелки, в отличие от карусели.

## **Журнал «БЪДУЩЕ»**

(«Будущее»)

на болгарском языке, ежемесячник,  
издающийся в Париже

*Журнал посвящает большое количество статей современному положению в Болгарии, условиям жизни и труда болгарского народа, борьбе за освобождение его. В последнем номере журнала опубликован ряд материалов о сопротивлении болгарских писателей, о положении болгарских крестьян, рассказ о советских концентрационных лагерях.*

Адрес редакции: 18 bis, Rue Brunel,  
75017 Paris, Tel. 380-57-64

Годовая подписка: 120 Fr. (70 DM, 30 \$  
Par avion: 50 \$)

## **Новый храм во имя Святого Великомученика и Победоносца Георгия**

Художники, недавно выехавшие из Советской России, решили построить новый Православный храм в Париже, полностью расписанный их руками. Инициативная группа, ответственная за это начинание, обращается ко всем эмигрантам и местной общественности с просьбой оказать, по мере возможности, денежную помощь для оплаты труда архитектора, строителей, иконописцев и художников стенной росписи, а также для приобретения церковной утвари. Фото макета будущего храма будет опубликовано в печати в ближайшее время. Работы намечено закончить до конца 1983 - начала 1984 годов.

После освящения храма будет опубликован список жертвователей.

Пожертвования направлять по адресу:

M. Vitaly Statzynsky, 17, rue des Orteaux, Paris XX,  
France. Ou Compte Bancaire: B.N.P. Code Agence 01758.  
Compte d'épargne 30198620.

**Святой Великомучениче и Победоносче Георгие,  
моли Бога о нас!**



# Круг рассказчиков

Юрий К а ш к а р о в

## ГРОБ ИЗ ЛУАНДЫ

Морозный розовый день в декабре. Иней. Еще вчера было тепло. У Виолетты Петровны болит голова. Такие стремительные перепады температуры. Виолетта Петровна даже не успела как следует причесаться. Хотя кто станет ее на таможене разглядывать, все давно привыкли друг к другу. Виолетте Петровне хотелось быть красивой только в первые годы ее столичной жизни, в молодости, когда она приехала, наконец, в Москву из своего разбитого, голодного Малоярославца, похоронив мать и с твердой решимостью здесь остаться.

Она всегда вспоминала об этих первых послевоенных годах с нежностью и теплотой. Московские подъезды, пахнувшие жареной картошкой, мышами, мочой, просто сыростью; таинственное слово «Бакалея», очереди за макаронами и гречей; трофейные фильмы; пирожные с кремом ядовитого цвета; «Аннушка», тащившаяся через все бульвары к Зацепе; бесконечная проблема клопов и средств от них; холостые или почти холостые мужики у пивных ларьков, многочисленных и почти уютных в те дни; трофейное белье, чулки; рябиновая пастила и капуста провансаль; скупая радость в праздничные дни; стучащее в висках ожидание на танцплощадке; сладкий голос Александровича на тяжелой шлаковой пластинке; всеобщая надежда.

Виолетту Петровну тогда звали Василисой. Она быстро привыкла к городу. Узнала цену всяким женским финтифлюшкам и смелым мужчинам. Старший

брат Иван, оставшийся после Победы на сверхсрочной, служил во внутренней лагерной охране у Крестовского моста. Василису он устроил на кухню, в закрытой столовой. Очень скоро она стала там официанткой и назвалась Виолеттой — как-то для всех и для самой себя незаметно. Таскала тяжелые сумки со всякой снедью в чужой, братнин дом. Больше в сумерки, а иногда и совсем в темень. И долго, нестерпимо долго — хотя было это всего года два, пока не вышла замуж, — жила в одной комнате с братом Иваном и его женой, рыхлой, плаксивой, уставшей от абортыв Клавдией. Они обитали в желтом бараке у заколоченной Сельскохозяйственной Выставки, в комнате на втором этаже с поджарыми пруссаками, неистребимыми клопами и кошачьей вдохновенной вонью. Комнату разгородили выцветшей ситцевой занавеской, ещё материнской. На половине Виолетты Петровны было очень светло, но и холодно, зимой дуло в балконную прогнившую дверь. В первые холода Виолетта Петровна заткнула щель внизу старым материнским пальто, но это мало помогло. В своем углу Виолетта Петровна приклеила липкой лентой для мух материнскую бумажную иконку Гурия, Самона и Авива — в надежде будущей семейной жизни.

Машенька опять, конечно, опоздала. Старший диспетчер Игорь ее слегка пожурил. Не очень, а так, больше для порядка. Она ему нравилась, и Машенька это знала. Даже не столько она сама, сколько весь ее мир, круг знакомых, веселые и легкие Машины представления о жизни, которые ему самому никак не удавалось — от боязни — испробовать.

После вчерашних, тяжело и будто навеки висевших тумана и слякоти Машенька очень рассчитывала на нелетную погоду. Тогда можно будет не очень спешить с оформлением всех этих бесконечных, ужасно ей надоевших накладных. Очень скучная и нетворческая работа.

Утро, как на грех, выдалось морозным, ясным. Вчера Анюта, стюардесса, из-за тумана просидевшая два дня в Праге, привезла для «общества» карлсбадский ликер, а для себя — страшно шикарно — розовую хищную орхидею в пробирке и прозрачной коробочке. Карлсбадский ликер был, конечно, порядочная дрянь, но в Столешниковом переулке такой не купишь. И вот Машенька засиделась в еще необставленной Анютиной кооперативной квартире в Беляеве, поздно вернулась домой, отвергнув предложения наглого левака-инженера, поздно встала, еле-еле успела привести себя в порядок. К счастью, в таких случаях всегда выручал прекрасный японский парик, очень натуральный, присланный Сашей из Триполи.

А Саше было сегодня безразлично — слякоть или мороз. Он, вернее, то, что от него осталось, лежал в цинковом гробу и ящике из аккуратных белых тропических тонких досок на грузовом дворе Шереметевского аэродрома, под линиялым навесом, похожим на все навесы российских товарных станций. Саша лежал на полупути между Машенькиной шумной конторой, с разноязыким говором, треском машинок, раздраженными телефонными звонками, и операционными столами досмотровой, где который уже год Виолетта Петровна со товарищи вершили суд и расправу над пугливыми еврейскими эмигрантами, алчущими исторической родины, туманной социальной справедливости и капиталистических кур, над вороватыми, громогласными советскими командировочными из не очень номенклатурных и над другими разными, праздношатающимися, обязательно в чем-нибудь виноватыми людьми.

В длинном своем ящике Саша лежал смирно, но поперек дороги. И всем было страшно неудобно обходить этот белый, длинный ящик. На Сашинем ящике кто-то написал черным жирным фламастером «Luanda». И больше ничего. Ни «верх», ни «низ». Ни что

это такое. И чтобы не кантовать. Считалось, что Саше это теперь совершенно безразлично. Он даже не был дефицитной деталью импортной машины.

А Саша так любил все импортное. Чем дольше он жил в этом мире, полном стольких славных, красивых, забавных вещей, тем все лучше научался разбираться в фирменных качествах утилитарных предметов и часто недоумевал — как он мог безо всего это до сих пор жить. Он был замечательный парень, этот Саша. Недавно ему опять крупно повезло: в маленьком сугробном Графском переулке Саше привили желтую лихорадку и еще что-то и послали в Анголу — зарабатывать на машину, а также помогать бороться с врагами революции. Он поболтался немного в Триполи, месяца два. Там тоже были какие-то дела. Из Триполи Саша послал Машеньке короткую открытку с описанием местного пляжа и с одним из своих товарищей — японский парик. Мамаше, Елизавете Никифоровне, Саша отправил духи «Ша Нуар», а отцу — с тем же товарищем — три номера «Плейбоя», — для личного папашиного удовольствия и чтобы мама ни-ни, не догадалась. Все-таки, что ни говори, они с отцом — настоящие мужики. Грузный, сановный, почти в себе уверенный, Степан Трофимович спрятал журналы в сейфе служебного кабинета, бормоча: «Вырос сынуля. А мы стареем, стареем». В том же сейфе Степан Трофимович держал сводки ТАСС, по кипучей своей работе с людьми не читаемые.

Виолетта Петровна не любила эту последнюю свою службу. Очень суетливо, нервно, иногда опасно. Постоянно надо быть начеку. Никогда не знаешь, откуда гром грянет. Своего напарника, Игоря, Виолетта Петровна даже побаивалась. Со следами свирепо выведенных угрей на лице, он считался большим специалистом по антиквариату и порнографии. В самой любезности и вкрадчивости Игоря виделось ей что-то скользкое, дряблкое, немужское. И правда, чёрт его

знает, — ведь он никогда не обращал на Виолетту Петровну никакого внимания, того самого, которое чувствуешь даже затылком,ловишь Бог знает из какого мужского далека. Так, случилось, смотрел на Виолетту Петровну их начальник, Сергей Петрович. Виолетта мгновенно расцветала, в ней оживала беззащитная и податливая женщина. Но потом, так же внезапно, его пронзительный кобелиный глаз потухал, пустел, делался брезгливым, презрительным, и Виолетта Петровна не знала, куда спрятать свой румянец и соскучившуюся грудь.

За свою короткую, удачную, как он полагал, жизнь Саша никогда не думал о смерти. Просто не было случая. И он бы еще долго не узнал, что такое смертная, безмолвная, безлунная ночь, если бы этого не случилось с ним самим. Может быть, вокруг него никто не умирал? Нет, конечно, где-то там — умирали. Например, некоторые родственники его друзей. Он бывал на поминках, но не успевал на похороны. И Сашина бабушка тоже умерла, относительно недавно. Но мама неизменно просила, она просто умоляла домашних не сосредоточиваться на этих печальных, неприятных фактах — отрицательные эмоции ужасно влияют на здоровье. Вместе с кормильцами Сашины друзья хоронили свои влиятельные связи и распределители — у кого на улице Грановского, у кого дальше, у кого — ближе. После таких утрат Сашины друзья, по мнению Елизаветы Никифоровны, оказывались абсолютно бесперспективны. Хотя бывали и исключения.

Маленький Саша гулял по Тверскому бульвару в «группе» с еще тремя детьми своего круга. Вот когда было положено солидное начало его блестящему английскому языку. Выводила их старая барыня в траченном молью «шу» над длинным, стремительно стареющим носом. Она учила белотелых, скоро обмякших детей победителей языкам, правильному ис-

кусству шаркать ножкой и, случалось, давала семейные советы их родителям. Эти старые, по недоразумению недобитые барыни сразу после войны вошли в неслыханную моду. Но с каждым годом их становилось все меньше, а цена на них все выше, так что Саше досталась одна из самых последних и поэтому особенно дорогих.

В четыре Сашиных года у него умер дед, очень заслуженный революционер и политкаторжанин, так и оставшийся после Октября за псевдонимом. Пока дед лежал дома, а потом в каком-то зале в густокрасном гробу, Саша жил у старой барыни на Бронной. В его возрасте всякое ненужное впечатление могло повредить хрупкую детскую психику. Это были приятные июньские дни. Летал тополиный пух. Щекотало в носу. Он ел много мороженого. Барынины вещи пахли особо. Их запахи были непохожи на четкие и безликие запахи дома, иногда перебивавшиеся мимолетной вонью разложившейся в прихожей мыши, которую трудно было так сразу взять и извлечь из-за тяжелых, громоздких сундуков. Барынины вещи, кажется, пахли полынью, мятой, пижмой, старым лавандовым саше с Ривьеры. Все эти запахи Саша вдруг сразу вспомнил в маленьком парфюмерном магазинчике в Триполи, чья дверь открывалась под мелкий звон неназойливых колокольчиков. У барыни на большом пустом столе с пузатыми пыльными резными ножками стоял в стакане тонкого темного стекла душистый горошек, купленный на соседнем Палашевском рынке. И он тоже пах очень приятно. А над столом висели раскрашенная гравюра «Наполеон при Ватерлоо» и портрет неотразимого силача из цирка с подкрученными вверх усами. В те три дня, что Саша провел у барыни, всякий раз после утреннего кофе она на некоторое время оцепеневала, неотрывно глядя на этот портрет, потом шумно вздыхала, говорила: «Мон шер Арман, дарлинг, где ты?!», и только после этого приступала к злобе дня.

Бабушкиной смерти Саша не застал. Он уехал с молодежной группой в гостеприимную Болгарию. Они там здорово повеселились. Побили каких-то западных немцев по пьянке в кабаке, купили хорошей шерсти. Тогда еще Саша привез Машеньке их первые цветы — гвоздики из Бургаса. Это было шикарно.

Виолетта Петровна не любила своего рабочего стола. Поэтому стол был чист и невинен. Всю документацию Виолетта Петровна прятала в нижний ящик, под три оборота ключа. К чтению она так и не привыкла, к тому же сидение за столом способствовало совершенно ненужной полноте. Куда больше Виолетте Петровне нравилась досмотровая, с длинными, низкими, обитыми металлом столами глаголем и высокой стойкой, куда складывались ценные и необходимые народу предметы — как категорически не подлежащие вывозу из страны самой передовой культуры и самого бережного отношения к памятникам отечественной старины, так и подлежащие, но должны быть оцененными соответствующими специалистами.

Машеньке ее работа пока что нравилась. Быть на людях. Знать, что они от тебя зависят. Что вот сейчас ты можешь пойти потрепаться к стюардессам (интересно, какие тряпки сегодня у них в продаже и что было модно два часа тому назад в Париже), а перед тем сказать — деловым таким, непререкаемым тоном, — что тебя вызывает начальник. А просители-клиенты будут жалобно умолять оформить их багаж, потому что самолет скоро улетает, или что-то там у них может испортиться, или совершенно нет времени ждать. Они будут одаривать Машеньку разной приятной мелочью. Машенька может даже смилостивиться. Стюардессы никуда не денутся, а тут люди все-таки. И Машенька выстукивает привычный английский текст очередной накладной. Самое приятное — не дефицитные подарки, а благодарные мужские взгляды.

И улыбки. «Дура ты, Машка. Раззява», — учит ее Аня. И все пока без толку.

Машенька бескорыстна. Ей нравится распределять подарки среди своих подруг. Если, конечно, не попадется чего-нибудь совсем особенного. Уезжая, Саша поклялся, что у Машеньки все будет. У них все будет. Ковры эти, пылесосы, хрусталь, павловская мебель — как у его мамы Елизаветы Никифоровны, с которой Машенька познакомилась совсем недавно, перед Сашиним отъездом. Елизавета Никифоровна стала спрашивать Машеньку о родителях, о семье, и рисованные тонкие, под Зыкину, брови Елизаветы Никифоровны поднялись удивленно и, как Машеньке показалось, пренебрежительно, когда она узнала, что Машин папа — обыкновенный, даже не старший, бухгалтер на «Красном Богатыре». О младшем брате, сидящем свой год в тюрьме за взлом магазина (был закрыт, а хотелось выпить), Машенька даже и сказать-то ей не решилась. Впрочем, о брате не знал и Саша. Елизавета Никифоровна показалась Машеньке неоправданно строгой.

С первого вечера их знакомства в «Ивушке», на Новом Арбате, где убивали время глухонемые фарцовщики и женственные книжные жуки, а они оказались совершенно случайно и познакомились тоже — случайно, по несоответствию окружающей публике, с первого удивительного вечера Саша возил Машеньку только на такси. Ловя машину, Саша каждый раз клялся, что скоро у него будет свой мотор. И своя квартира, конечно. Вот тогда они поженятся — в лучшем виде. Ради этого стоило немного потерпеть. Впрочем, Саша нравился Машеньке и без квартиры и машины — высокий, с длинными, модными теперь ногами, стройный, очень спортивный. Он умел красиво ходить, вперед бедрами, не по-здешнему выбрасывая в стороны ступни ног. Вообще Саша был замечательный.



Проходя под крытым навесом грузового склада, Виолетта Петровна задумалась о чем-то своем, женском. И споткнулась о длинный, белый узкий ящик. Она споткнулась на правую ногу и от этого еще больше огорчилась. Теперь весь день пойдет вкривь и вкось. На длинном ящике сидел замерзший воробей, словно само воплощение жалости, и клевал хлебную корку. С каждым днем жизнь становилась все сложнее и печальнее, а Виолетта Петровна была совсем одна. Нужно было думать, как прожить до зарплаты, что и где купить из съестного; сама-то она была неприхотлива, но рос акселерант, сын Коля, — его не прокормишь одними пустыми супами из пакетов. И вообще, все шло как-то вкривь и вкось, без стоящего мужика рядом или хотя бы мужичонки, без настоящей надежды, без всякой, пусть маленькой, радости, совсем не так, как ей было обещано в молодые голодные годы.

На таможенный досмотр уже собралась очередь. Под навесом мерзли два еврейских семейства с кучей чемоданов и ящиков. Виолетте Петровне всегда казалось, нет, она была убеждена, что эти люди, навсегда уезжающие из ее нелепой, злой, приветливой страны, хотят скрыть, спрятать, увезти на какие-то райские, но совершенно враждебные острова, под пальмы, что-то, принадлежащее ей по несомненному праву, без чего она будет навеки неслыханно обделена и еще больше беспомощна. Поэтому Виолетта Петровна была очень требовательна к этим, не желающим жить, как все, личностям и не давала им малейшего спуска.

Но прежде досмотра надо было разобраться, наконец, со срочной посылкой, пришедшей еще позавчера. Иначе могло нагореть от начальства. Виолетта Петровна поставила уже покрывшуюся пылью коробку на свой пустой стол. Привычным движением вскрыла. Внутри коробки был горшок, вроде цветочного, коричневого, с запечатанной крышкой. К горшку была прикреплена бумажка с надписью по-русски — «Мар-

гарита Карловна Барцевич». И ниже — должно быть по-латыни — «Ashes». Таких горшков на таможенном веку Виолетты Петровны еще не было.

— Игорь, помогите пожалуйста.

Виолетта Петровна постаралась выдавить из себя максимум благожелательности. Игорь острым ножом, ловким воровским движением вскрыл крышку. Его руки слегка дрожали от любопытства. Горшок почти доверху был заполнен желтоватой пылью и плотными редкими тусклыми кристалликами, похожими на стиральный порошок.

К столу подошел начальник, Сергей Петрович. Бывший оперативник, он иногда бывал неожиданно неподкупен, а иногда знал, как чище и изящнее других что-то урвать от мимотекущего таможенного бытия. Сергей Петрович умел смотреть прямо, требовательно, неподкупно, но, случалось, в отцветших зрачках его часто пустых глаз вдруг зажигалась неугасимая, стойкая алчба. Он знал людей, знал, что, кто, как и где прятал.

— Ты, Игорек, на вкус попробуй, — сказал Сергей Петрович. Ласково. — Может, какой-нибудь наркотик. Сам понимаешь, с таким товаром надо быть начеку.

Сегодня Сергей Петрович был в хорошем расположении духа. Вчера, в тишине и тумане, удачно реализовал кое-какую мелочишку, выгодно отчитался перед начальством. Игорь, любопытный и жадный, как бездомный кот, и чтобы всегда быть первым при всех раздачах, — поспешил палец, положил на язык немного порошка, а глаза на всякий случай зажмурил — вдруг поймает совсем неожиданный кайф. Порошок неожиданно грубо заскрипел на зубах.

— Ничего не словил, — Игорь раздраженно сплюнул на пол.

— Виолетта Петровна, голубушка, загляни-ка в словарь. Хоть в английский, что ли. — Виолетте Пет-

ровне показалось, что начальник еле сдерживал хитрую улыбку. У них был большой выбор словарей и библий — служба такая. Библиями Игорь и Сергей Петрович потихоньку поторговывали, а на словари спрос пока был еще мал.

Найти нужно слово Виолетте Петровне было не просто. Помог сам Игорь, опытный лингвист.

— «Ashes» — зола, пепел; «Ashes» — прах, останки. И «Ashes» — яшень, дерево, — Игорь прочел и весь скривился, его тянуло на рвоту.

— Ну как, интеллигент наш, мудрец! — хохотал Сергей Петрович, — довелось-таки отведать эмигрантского праха! Грамотей!

Он смеялся смехом радостным, счастливым, немного глумливым. Нет, Сергей Петрович не имел ничего или почти ничего против Игоря. Просто такой смех помогал ему осмыслить и отличить себя, самоутвердить свое бытие. Виолетта Петровна помнила такой смех в цирке, когда клоуны лупцевали друг друга. Это было очень весело и тоже помогало самоутверждению публики. А еще так смеялись в подгородной деревне Виолетты Петровны, глаза из окон, уставленных геранью и невестами, как шла деревенским порядком по густой грязи дурочка Марья; она шла, заткнув подол платья за веревочный пояс, чтобы не запачкаться, и видны были фиолетовые ее панталоны с неотмытыми дамскими признаками.

Игорь тоже смеялся. Почти натурально. Но Виолетта Петровна заметила, как непроизвольная судорога схватывала его прыщавый кадык. Игорь смеялся и сплевывал. Так было легче.

Саша лежал, совсем не чувствуя холода. И душа его, непамятливая, незлая, как почти все молодые души последних десятилетий, с пеленок усталая, все выше, все дальше уходила во тьму, чтобы там; в страхе и трепете, замереть среди первых мгновений вечности — непонятной, невозможной, чуждой, нестерпи-

мой. Где-то там, на воздушных путях, готовились принять Сашину душу, и она, отрешенная от джинсов фирмы «Ли», отцовских распределителей, дачи на Николиной горе, начинала все отчетливей и безнадежней осознавать молчаливый, немолчащий ужас грядущего, может быть, нескончаемого небытия. Для Саши уже не стало времени, но и не было конца.

Сегодняшним неожиданно морозным утром Сашина мать, Елизавета Никифоровна, наконец-то собралась достать из сундука свою старую шубу, опять вошедшую в моду в этом сезоне. Елизавета Никифоровна помнила крестьянскую бережливость и всегда замечательно боролась с молью. Она не любила без крайней нужды тревожить этот кованый, пересыпанный внутри нафталином большой сундук, купленный еще в НЭП. На нем, в этой передней, тихо и для всех, к счастью, незаметно умерла ее мать. Конечно, было крайне неприятно, что мать не позволила отвезти себя в Кунцево, в замечательный дом для престарелых с его современным моргом. Всем, и в первую очередь самой мамаше, было бы страшно удобно. Как-то неприлично умирать в прихожей такого ответственного зятя. Слава Богу, Сашенька, такой тонкий и впечатлительный, был тогда в отъезде.

У Машеньки сегодня куча дел. Помимо всяких частных отправителей, толпящихся по другую сторону отполированной животами конторки, ее ждет груда залежавшихся казенных накладных. Машенька работает толково и быстро. Она старается оформлять застрявшие грузы через один, не отказывая и томящимся частным отправителям. Она всем улыбается, она счастлива сегодня просто так, беспричинно — потому что молода, потому что солнечно, потому что все ее, конечно, любят. Папа с мамой в блочном доме на Преображенке, незнакомые люди у конторки, Саша в далекой, жаркой и, наверное, веселой стране. Ужасно любопытно жить. И эту бесконечно длинную, любо-

пытную жизнь с многоязычным говором, экзотическими названиями городов, известной и пока еще не пробованной парфюмерией, пестренькими блузками и мужскими улыбками приятно разнообразят мелкие подарки благодарных клиентов, волнующие иногда взгляды, искреннее восхищение ее молодостью и энергией. Вот и сейчас тощий немец из ГДР протягивает ей цветастый платочек — конечно, Машенька оформит его груз в два счета; и симпатичный негр держит наготове свою обернутую в красивую заграничную бумажку коробочку (духи?!), чтобы она, всемогущая Машенька, помогла ему как можно скорее уехать из сегодняшнего мороза; а кто-то, кого Машенька пока не видит, смотрит таким жарким, требовательным взглядом, что у Машеньки занимают розовым, праздничным румянцем щеки. И ей верится сейчас, что и она, и Саша, и все эти люди вокруг будут вечно молоды и никогда не умрут.

Виолетту Петровну совсем не радовал этот ясный морозный день. Из Колиной школы только что позвонила классная руководительница, бесцветная, пресная физичка, и скорбно сказала, что была вынуждена отправить Колю с урока за вопиющее хулиганство. Почему хулиганство оказалось вопиющим, она не стала объяснять. В голосе физички были растерянность и слезы, она не то просила, не то требовала, чтобы Виолетта Петровна, наконец, пришла для серьезного разговора. Настроение Виолетты Петровны окончательно испортилось. К тому же недавний смех Сергея Петровича беспричинно и цепко засел в ее памяти. В смехе этом было что-то оскорбительное, но что именно, она даже не могла себе объяснить.

Молча, они с Игорем, посеревшим, бледным, досматривали нескончаемый еврейский багаж. Уже давно, со времени смерти мужа, Виолетте Петровне вдруг стало неприятно рыться в чужом багаже, в чужих вещах. Понимание своей ответственности больше

не радовало, как прежде. Перебирая чужие вещи, некогда жившие в чужих, разоренных теперь домах своей, неизвестной ей, враждебной жизнью, Виолетта Петровна все чаще думала о своем доме и о своих, нажитых с таким трудом, вещах. И хотя у нее теперь в общем-то все есть, как у людей, потому что покойный муж всегда нес в дом, хотя и пил, правда, много, но с некоторых пор Виолетта Петровна перестала чувствовать этот дом, эту квартиру своей. У нее никогда не было времени побыть дома сколько хотелось, устроить, наконец, какой-то мечтаемый, безоглядный уют с геранями, буйно цветущими на чистых подоконниках. Одна-единственная герань уже засохла. Виолетте Петровне было некогда, а Коля ленился поливать. Ей вдруг стало казаться, что благополучная жизнь в сером хрущевском доме — призрачная, совсем временная. При муже была надежда, что его вот-вот переведут на ответственную работу и они получат квартиру в центре, в доме с фикусами в вестибюле, швейцаром и подъездом, запирающимся на ночь. А после смерти мужа появился страх, что их с Колей выгонят и отсюда, что все нажитое конфискуют, потому что мужа внезапно судили за взятки, и хотя осудили условно (есть все-таки хорошие друзья), он, тоже внезапно, умер.

Иногда Виолетте Петровне казалось, что счастливее всего ей жилось не теперь, в форменной шапочке и костюме, со своими немногими коврами, хрусталем в серванте и трофейным мейсенским фарфором, но в прежние голодные военные дни, с двумя жидкими косичками на затылке, сыроежками в старом лукошке и босыми ногами, привычными ко всякой непогоде и ко всякой крапиве.

Чем дальше шли благополучные городские годы Виолетты Петровны, тем все более хрупким и непрочным выглядело ее, завоеванное по праву бытие, словно над ним висел, день ото дня тяжелея, некий непо-

нятный, несправедливый, обидный Дамоклов меч. С каждым днем Коля все больше отбивался от рук, стал потихоньку курить и писал — она сама из окна видела — плохие слова на заборе. А недавно Виолетта Петровна нашла в ванной две пустые бутылки из-под «вермута». Коли не было дома, Виолетта Петровна села на кухне в темноте, не зажигая света, и по-бабьи, по-деревенски от души завывала. Будущая старость с пьяницей-сыном представилась ей невообразимо горькой.

Саше в его белом ящике просто необходимо было лежать на дворе, на улице, на таком вот морозе. Этот температурный режим мог хоть ненадолго сберечь его стремительно приходящее в выставочную негодность тело. Кто знает, быть может, Сашина жизнь — всего лишь дождевая капля среди мирских бурь — была не столь уж плоха и грешна. И во владения воздушного князя, в бесповоротную тишину темного ожидания Сашина душа отходила только временно, впрямь до общего, в грозе и буре, суда.

Саша очень любил кататься на лыжах. После лыж у него долго держался замечательный цвет лица. Сашино поколение, поколение детей победителей, хотя и обмякало в общем-то быстро, но в целом отличалось хорошим цветом лица и не совсем дряблой мускулатурой. У их отцов, неожиданно оказавшихся у распределителей в зрелом возрасте, кожа щек была серая и были многочисленные болезни — от непривычного коньяка, икры и севрюги, пищи, которой они совсем не знали в своем мякинном детстве.

Саша вернулся домой так неожиданно и странно, и ему уже ничего больше не нужно было из всего того, в чем видели смысл этой поспешной, жадной, потной, жирной, требовательной жизни его отцы и братья.

Елизавета Никифоровна утром протирала запывившиеся хрустали. Вчера вечером папа смотрел хоккей. Едучи утренним автобусом в Шереметево, Ма-

шенька думала об их с Сашей будущем, когда она, наконец, бросит эту суматошную работу на аэродроме, куда каждый день надо ехать за тридевять земель, и для нее найдется какое-нибудь местечко в Интуристе, в центре. Они с Сашей заживут в арбатском переулке, вот хотя бы в том доме с глубокими лоджиями, который теперь строят солдаты, с меховым ателье и прачечной-американкой внизу. Тогда можно будет завести себе друзей и получше, чем Аня, каких-нибудь левых художников, пару-другую киноартистов, повесить на стену элегантную литовскую керамику и держать бар с шикарно недопитыми бутылками.

Так проходил этот короткий зимний день на грузовом дворе Шереметевского аэродрома — в разноязыком людском гуле, трескотне машинок, грохоте самолетов — холодный, ясный декабрьский день. Сергей Петрович сам запечатал урну с прахом Маргариты Карловны Барцевич, а потом решил кроссворд. Виолетта Петровна и Игорь все еще работали в досмотровом зале с еврейским багажом, не доверяя пассажирам и друг другу, отчего их работа шла еще медленнее. В перерыв Машенька успела перекусить в зале ожидания для иностранцев — благо знакомый шофер подбросил. Очередь ждала Машенькиного возвращения безропотно, терпеливо, а кое-кто успел и немного подремать. Покончив с багажом, Виолетта Петровна сделала для своих мужчин чай. За чаем послушала их жалобы на начальство и женское засилье везде. Осторожно пожаловалась и сама — и мужика давно нет, и жить трудно, и с продуктами плохо. О Коле из гордости она ничего не сказала.

А Сашу под его навесом забыли. Еще утром, примчавшись на работу, Машенька положила, не глядя, накладную на гроб из Луанды под самый низ толстой пачки более срочных накладных. Ведь покойники терпеливы, всегда молчат и вообще могут подождать — тут люди живые, и им некогда. И пришлось бы Саше,



наверное, пролежать еще одну морозную ночь в своем безымянном гробу под зимними российскими звездами, если бы Виолетта Петровна, идучи мыть стаканы, опять не споткнулась об нелепый белый ящик и не порвала дефицитный чулок. Виолетте Петровне стало ужасно горько, грустно, непоправимо. Этот порванный чулок был последней каплей в сегодняшнем неприятном дне — с пеплом мадам Барцевич, со смехом Сергея Петровича, со звонком из школы, с вечным чайным иждивенчеством сослуживцев. Даже накричать на Машеньку или пожаловаться начальству было противно. Просто Виолетта Петровна подошла к конторке, коленка еще ныла от удара, и сказала тихим, беспощадным таким голосом:

— Мария Петровна, перестаньте кокетничать и болтать и оформите этот ящик из Луанды. Иначе у вас могут быть очень крупные неприятности.

Все негры, все немцы, все вьетнамцы подростковых размеров расступились, когда Виолетта Петровна подошла к Машенькиной конторке. Никто больше ничего не требовал, никто никуда не спешил, все поняли, что надо подождать. Потому что у конторки предъявляла свои права не Виолетта Петровна, стареющая и никому не известная женщина, советская таможенница, а воплощенная обида, та, освященная мудрыми и проказливыми теориями обида, во удовлетворение которой свергались правители, рушились государства и истекли кровью классы. И Машенька тоже поняла, что оформить ящик надо, хотя и на миг, про себя, выиграла в ней вскидчивая женская непокорность. Виолетта Петровна не отходила от конторки и ждала, пока Машенька разыщет в ворохе бумаг нужную накладную. Губы Виолетты Петровны были решительно сжаты, коленка раздражительно ныла, и непримиримость горела в ее не то чтобы совсем европейских глазах.

Машенька привычно напечатала: «Ангола. Луанда». И мельком взглянула на свидетельство о смерти, на советское, в посольстве, наверное, выписанное свидетельство о смерти.

Нет, Машенька не заплакала. У нее не потемнело в глазах. Ничего этого не произошло. И в обморок она не упала. А просто наступила тишина, такая тишина, которой она никогда не знала. Машенька прочитала все свидетельство (не первое, такие она уже видела, но такое — первое). И о том, что смерть наступила в результате огнестрельного ранения. А потом опять — фамилию и имя.

Тишина Машеньку не отпускала. А были еще кругом люди. Самолеты отлетали. Стояла рядом Виолетта Петровна. Только непримиримости и обиды больше не было в ее глазах. Она смотрела на Машеньку и видела себя с двумя жидкими выцветшими косичками на затылке, как она читает голосящей матери отцовскую похоронку. И эта самая Машенька, такая ей прежде безразличная, даже враждебная в своем молодом благополучии, показалась Виолетте Петровне самой близкой, ближе всех на земле в этот миг в горьком их, общем бабьем несчастье.

На дворе высыпали звезды. И люди куда-то ушли, кроме сторожей в романовских полушубках. И сидели две женщины на пустом ящике из-под гвинейских бананов у белого гроба из Луанды, посреди дремучих московских лесов. И плакали, держась за руки. И обим им иногда было тепло.

**КАШКАРОВ Юрий Данилович.** Родился в 1940 г. В 1964 г. окончил филологический факультет Московского университета и до 1976 г. работал в издательстве «Искусство». С 1977 г. живет в США. В СССР напечатал несколько статей по древнерусской литературе. В США начал печатать прозу, публиковался в альманахе «Руссика-81» и в «Новом Журнале».

## ЗВЕЗДЫ И ПОЛОСЫ

*Посвящаются О. С. -Б.*

### 1. ПОЛОСА ОЗЕРНАЯ

От массивного синего  
до совсем невесомого серого —  
все тона водяной окоём  
затопил переливную зеленью селезня.

Полоснул серебром через весь  
пересвет с полуюга до севера,  
с краю искру нанес,  
распустил паруса посреди  
неохватного зеркала-свёркала...  
И раскинулся — на океан — Мичиган.

А бывает и розово озеро.

### 2. ТОТ СВЕТ...

...Куда пути непоправимы.  
Где то звезда, то снова полоса.  
Грядущего нарядные руины,  
лириодендроны, бурундуки, равнины...  
И — галактические небеса.  
И — механические херувимы.

И — ты. По Вавилонам барахла,  
живой, идешь, хотя отпет и пропит,  
свой поминальный хлеб распопола-

где Палестинам снеди несть числа...  
Делясь, ты половиניшь вкус и опыт  
по зарослям дерев Добра и Зла.

Да, ты — туда ж — с утопией великой,  
с ужасною, как тот кровавый хлеб,  
духовностью! Ты встречен будешь в пику  
улыбкою тончайшей, поелику  
здесь души не давались на зацеп  
десятка двух «единственных религий».

И — каждая — для них за то не та,  
что — к счастью стыдному отнюдь не доступ.  
(Единственность — язвима я пята.)  
Тоталитарна только пестрота,  
и абсолютны сдобные удобства —  
в них даже грязь охранна и чиста.

Учись на всем. И слушай содроганья  
(бутылочная сыплется гора)  
и рев зеленоводного органа.  
По небу письма над Ниагарой  
цветут, опять УДОБСТВА предлагая...  
Горит закат огромно и угарно.  
Горячих красок хладная игра.  
Тот свет. И мы живые, дорогая.

### 3. БОЛЬШОЕ ЯБЛОКО

«Из ядушего вышло ядомое,  
и из сильного вышло сладкое».

Загадка Самсона, Кн. Суд. 14-14

Американцы прозвали Нью-Йорк  
Большим Яблоком.

Рабство отхаркав, ору:  
— Здравствуй, Манхаттн!  
Дрын копченый, внушительный батька-Мохнатый,  
принимай ко двору.  
(Реет с нахрапом  
яркий матрас на юру.  
Ночью — звезд, и румяных полос — ввечеру  
он от пуза нахапал.)

Крепкий подножный утес  
выпер наружу.  
Нерушимую статью мускулисто напряжив,  
будь на месте, как врос,  
каменный друже.  
Твой чернореберный торс  
встал на мусоре Мира в нешуточный рост.  
То-то вымахал дюже.

Стóбит, наверно, утрат:  
Родины, дома, —  
на громады великого града Содома  
этот вид, этот взгляд.  
Мозгоподобно  
кодами окна горят.  
Подсмотревшего тайну снедают подряд:  
робость, похоть, стыдоба...

(Словно смакуешь во сне  
свинскую сладость.

Да, порочен и слаб, и с собою не сладил, —  
спелся только сильней.)  
Слабый-неслабый,  
а за себя не красней.  
«Ты есть ты», — прямо с неба абзацам огней  
вторят быстрые слайды.

Сожран, а все же не мертв.  
Жив, и немало...  
А ядуший да будет ядóm до отвала!  
Тот, кто примет, — поймет:  
враз разорвало  
льва-монолита вразмёт.  
Вижу — рой в этом трупe, и соты, и мед.  
Сладким сильное стало.

В старые мехи вобрызнь  
сочное соло;  
залезай-ка туда же с возней поросёвой, —  
в жадно-свежую грызнь.  
Будь новоселом,  
и зарифмуй с парой джинс:  
жри-ка яблоко по черенок, это — жизнь,  
червячок ты веселый!

#### 4. ИНДИЙСКОЕ МОРЕ

Хорошая земля. И навсегда — чужая.  
Хорошая вода: огромная, у ног.  
Укоренить бы в ней, деревьям подражая,  
широкошумных дней хотя бы черенок.

А для того — унять внезапное мгновенье:  
в нем настоящее. Былого ты лишен.

Ни страхом и ничем привычным не навеян,  
лишь валится в Ничто пустопорожний сон.

И точно говорю: мы — то, что наша память.—  
И если от «сейчас» отсечено «вчера»,  
во лбу меж половин врубается тупая  
не боль, наоборот, — морозцем топора.

И знаю: новизна всегда дориносима,  
но древо символов при этом пало ниц.  
И — нет внутри стволов: дриад, — лишь древесина;  
не лиры на ветвях, — от силы: гнёзда птиц.

Зато в какой чести вчерашние закаты!  
Заметы памяти, захлёбы напролет:  
— А помнишь год назад, такого-то, тогда-то, —  
в серебряной воде зеленоватый лед?

И если б удалось по срезу — сразу, с ходу  
болезненно пустить прозрачный корешок  
в стакане озера, в пузырчатую воду!  
Тогда: и на земле, и в землю — хорошо.

##### 5. У ПОЖИРАТЕЛЕЙ ЛОТОСА

Пясть Америки,  
крепость ее костяка:  
воронье утесы Нью-Йорка,  
Серые грани Нью-Джёрзи,  
Пенсильвэнии желтые груды,  
мраморы в падах Вермонта,  
Массачузетса бурый гранит.  
Десть открыта для дела,  
а сердцу врасплох  
как не ёкнуть,

Представляя кулак  
и массивную биту:  
удар! —  
и Урал  
перебит.

Нет, совсем не затем! —  
где конечные вмятины  
и отпечатки —

Хвать! — за край континента  
скалистая левая  
противоперсть;

Шуйца в рыжей  
бейсбольной  
перчатке

Крепит вместе,  
сжимая надежно, борта  
со десницею,  
равнодержавная,  
— есть!

Обе длани воздели  
материковый котел;  
в нем живая земля  
шевелится:

Кувыркаются куры в обертках,  
лотосы,  
пучится кукуруза.

Плавно варится взвесь, —

Деньги вскипают листвою,  
и сплавляются лица

В пестрое сверх-лицо,  
в надглагольную  
весть,

Изъяснимую  
на подводном наречьи,



столь же скользко-ледевом,  
сколь подвижном,  
как видишь...

Так смешно говорить,  
но тонически спойте, языки,  
ваш новый язык.

Хорошо,  
что не Бритиш:

Тот всегда  
с недовольным подсосом,  
с обиженным даже сюсюком,  
в котором обмяк  
и обвык...

Но иначе рекут  
все, вкусившие лотоса  
тайно-сытную сладость:

В круговую поруку вступая,  
расстаются как с памятью,  
так и с тоской.

Наслоенья обид  
под наплывом труда  
и комфорта,  
изглядясь,

Вместе с опытом страха  
слезают с хребта,  
словно толстая корь.

Вот и черпай от пуза  
и ты, лотофаг,  
этот кладезь

Жизни,  
просто жизни  
спокойно-хорошей,  
людской.

## 6. ЗВЕЗДА

Какая яркая — огня и льда слиянья,  
и — силится внушить пульсирующий знак!  
Я мог его понять, но только сам сияя,  
сияя, — что давно и далеко не так.

А виделось: горит в селеньях занебесных  
окольная свеча в покое, где ночлег.  
Последний перелет, и мысль истает в безднах...  
И все же не совсем — так верит человек.

Но ежели вблизи мерцания и света  
на месте мировом откроется дыра  
и слижет огонек, — примите весть, что это  
кому-то на покой в той горнице пора.

Какая яркая, какая ледяная  
и вечная... Хотя — вся вечность: до зари.  
Мгновения мои в себе соединяя,  
вот — и сорвется луч. Я говорю: гори!

## 7. ПОЛНОТА ВСЕГО

Вечерние чужие города,  
сравнимые с пульсирующим мозгом,  
который вскрыт без боли и стыда  
(а кровь размыта в зареве заморском), —  
внушают глазу выморгнуть туда,

в горячий мрак взглядевшуюся душу.  
А та и рада сгинуть в новизне,  
сбежать во тьму, себя саму задувши,  
повыплести всю внутреннюю — вне,  
по завиткам и выгибам воздушным.

А если и светить, то лишь едва —  
летучей, эфемерной порошиной.  
И — числить этажи, сиречь — слова,  
не «богом из машины», а машиной,  
сказуемой из глотки божества,

где, знаками осмысленно блистая  
(сим электронным мега-языком),  
горит надчеловеческая тайна,  
с которой ты дикарски не знаком,  
но силишься вписаться в начертанья.

И странно — чем вольнее мысль о ней,  
чем больше от нее отнумерован,  
тем сущность домышляется полней,  
и кем? — тобою, трепетным нейроном  
с обрубленной мутовкою корней.

Здесь мига не отложено до завтра...  
От первых нужд, чем живо существо,  
до жгучего порока и азарта, —  
**КРОМЕШНАЯ ПРИЕМЛЕМОСТЬ ВСЕГО**  
из черепа торчит у Градозавра.

Буквально самого себя прияв,  
каков ты есть, ты по такой идее  
неслыханно, неоспоримо прав,  
из низких и нежнейших наслаждений  
наслаивая опыт или сплав.

Вот потому-то, жизнью в усмерть пьяный,  
в разгаре неувиденного дня  
прошу: да не оплакивайте в яме  
Мафусаила юного, меня,  
исполненного звуками и днями.

## 8. МИЛЫЕ ОКИ

Нечто большое держать надо мужу под боком:  
бабу, добычу, судьбу...  
Брег океанский попать,  
        либо гору снести на горбу!  
Иль по Великим Озерам подплыть к Милуокам.

Тут и у ока — для колбочек донных — улов:  
черные дыры в лазури...  
К ним, леденцовые, льстятся  
        зеленые волны-лизуньи;  
лед на просвет полурозов и полулилов.

Кто паруса расписал — свинари ли, свинарки?  
(визг пороссячий — для глаз), —  
краской свирепой и флажной,  
        для влажной прохлады, как раз:  
синий со звездами грот, полосатый спинакер.

Да не осудят регату Дюфи и Вламинк!  
У цветowych какофоний,  
у белосытых берез  
        и ковровых газонов — на фоне:  
торты азалий и клювы магнолий-фламинг.

# Круг рассказчиков

Леонид Чертков

## НЕБЕСНЫЕ ОРКЕСТРАНТЫ

Высокий, худой, похожий на Хлебникова человек, стоя перед собором, играл на кларнете, то и дело кланясь возвышавшейся над ним темной громаде. Я издали направился было к нему, намереваясь кинуть монету, но шапки перед ним не было. Не было ее и на нем. И особенный резкий ветер, почему-то всегда настигавший меня на этом месте, взметал остатки неопределенной седины на его голове.

И я вспомнил, как изредка в закоулках и извилинах парижского метро передо мной возникали, не смешиваясь с другими, обычно в темных очках и с мало-запоминающейся внешностью какой-нибудь белый или негр, игравший что-то, может, и обыкновенное, но чистое и мелодичное, резко выбивавшееся из звукового хаоса, сотрясавшего подземные своды.

И неожиданно возникавшие в осатаневшей уличной толпе фигуры, звуками инструмента, едва пробиравшимися из адского шума, словно протягивавшие мне незримую руку, напоминая мне, что я все-таки не один.

Короткую чистую ноту, внезапно прорезавшуюся из звукового содома какого-то ночного, ярко освещенного бардака, мимо которого я проходил, возвращаясь в свое ненадежное убежище.

Молоденькую девушку, самозабвенно игравшую на органе в полутемной крипте, небрежно бросившую лыжную в снегу куртку на скамью.

И когда, остановившись у картины, изображавшей Орфея, игравшего и певшего диким зверям, я внезапно и с поразительной ясностью вдруг вспомнил, что я был им когда-то и они внимали мне, выходя из пещер.

Чайки, беспомощными криками предупреждавшие меня о чем-то, низко пронесившиеся надо мной.

Взлетающие из снега павлины в сонном лесу.

Лебеди, тяжело парящие над замерзшим прудом.

Олени, осторожно бравшие виноград у меня из рук из-за изгороди.

Но теперь я почти что уже и не мог петь, и небеса, воды и земли снисходительно посылали мне подчас живые знаки и образы, чтобы я хоть урывками мог их записывать, заносить на бумагу.

Группа ражих бородачей в двурогих бумажных колпаках елочками внушительно вышагивала передо мной, рассекая толпу. Двое-трое время от времени трубно гудели в странные рожки, напоминавшие обрубки водосточных труб. Но вот они с шумом ввалились в угловую пивную. Я приник было к цветному калейдоскопу двери, но там их уже не различил.

А вскоре навстречу показался приземистый барабанщик с клоунски грубо раскрашенным лицом, угрожающе ударявший в продолговатый, почти полковой барабан, смотревший куда-то в сторону и наводивший необъяснимую робость на жавшихся к стенам поредевших прохожих.

Позже, возвращаясь, я услышал их вместе, удалявшихся в сторону моста.

Плошка, зажженная мною в память давнишнего товарища, странным образом убитого на пути в Мадрид. Солнечный Андрей необдуманно выдал себя темной стихии, и она безнаказанно поразила его на пороге полночи.

Бравурная мелодия Моцарта, сопутствовавшая, подбадривая меня, весь этот год, но могшая быть и

песней смертельного ужаса, выбиваемой клацающими зубами.

Трубач в освещенном окне в ночь святого Сильвестра. И садовая постройка со странно иногда переливающимися огнями в рельефном окне. Ад, быть может?

Дверь тюрьмы, к которой надо было только подобрать музыкальный ключ.

Против воли я сделался статистом свободного мирового оркестра, подающего двусмысленные сигналы колеблющимся на распутьи.

Жители с до поры четко расписанными партитурами, возникавшие на какую-нибудь долю такта, чтобы исполнить урок. Вместе или хотя бы в группе они могли бы еще, может, намекнуть на задачу общего замысла, но порознь они смотрелись разрозненными позвонками никому неведомого гиганта.

А параллельно с этой, изредка озарявшейся для меня в каких-то долях, грандиозной картиной шел более мелкий, пусть и заинтриговывавший в деталях, фальшивый земной план, призванный сбить меня и привести к гибели.

Большой художник, умиравший среди недописанных им полотен в осажденном городе, последнюю отпущенную ему ночь препиравшийся с Богом, требуя от Него жизни, надеясь, что Он еще спасет всех.

Дюжина бритоголовых стариков в желтых хламидах, день напролет читавшая нараспев молитвы, в веками выверенные паузы прерывая их, трубя в окаванные металлом раковины, отрывисто ударяя в бубны.

Огромные бронзовые трубы на высохших плечах, ревом своим «небесного слона» сгонявшие злых духов со снежных откосов.

Бледный ангел — девочка лет пятнадцати с нежно отсутствующими глазами, прижимавшаяся ко мне в автобусе. Выходя, я увидел нарисованный на мотоциклетном шлеме на ее коленях могильный холмик

с крестом. Может быть, она уже не раз проносилась мимо меня.

Мелкие звери, маленькие незначительные божества полей и кустарников безбоязненно останавливались близ меня.

Песенка о заблудившихся в аду Эвридиках, безвозвратно уведшая меня.

И вот теперь, когда все, казалось, остановилось и делалось ясным, иные системы мира мешали мне принять очевидное.

Вспоминая теперь, я отчетливо видел, что все это уже давно был сплошной театр, в котором все более или менее участвовали и только я один, дурак, ничего не замечал.

Да, легко было верить в Бога, воспринимать Его как абстракцию!

Уже давно вокруг меня творились необычайные вещи, но я еще не имел к ним ключа и не придавал им должного значения.

Дикая утка, неожиданно залетевшая в сад под окном и пробывшая там до утра.

Многочисленные джентльмены с папками, предупреждавшие Юнга-Штиллинга, Казотта и меня.

Магазинное зеркало в человеческий рост, внезапно лопнувшее и рассыпавшееся в блестящую труху под действием неслышимой уху ноты, едва я коснулся его.

Поезд метро, переполненный людьми и вещами, как паром, отправляющийся неизвестно куда.

Оборванные, изможденные духи шахт и рудников, выходившие из самых отдаленных и заброшенных штолен агитировать рабочих, призывая их к восстаниям и забастовкам.

Бедные черти, усеявшие вокзальную площадь, корчившиеся на толченом стекле, поклонявшиеся козлу, иератически важно всходящему по стремянке.

Хлыстовский корабль, посуху приплывший в Европу.



Посылаемые небом хорошенькие бесплотные script-girls, внезапно улыбавшиеся мне навстречу, обозначая конец эпизода.

Бородатый клошар, читавший вслух Библию с полуразрушенной платформы, обращаясь к проносщимся поездам, к безразлично выглядывавшим в окна пассажирам.

Богиня стояла голая, глядя на меня исподлобья, прижимая к себе низших ларв в виде маленьких завитых собачек, яростно облаивавших меня.

Среди тягостных переплесков ночного кошмара я, наконец, увидел и ее. Она шла по пустынной вечерней гавани в незнакомом мне платье с сумкою на плече. И я мог видеть ее изменившееся лицо вполоборота.

Я медленно пробуждался, мучительно ощущая скрежет клешней дворника, скребущегося где-то на дне моего сознания.

Выходя, я увидел побежавшую в конце улицы женскую фигурку в черном кошачьем трико с наклеенными усами и с белым хвостом до земли. Она грациозно промелькнула раза два вдалеке, потом обернулась, легонько помахала мне пальчиками и исчезла.

Но стоило мне повернуть за ней за угол, как я сразу же очутился в водовороте толпы, заполонившей улицу, сквозь которую катилась колесница гигантского карнавала.

Огромные вызолоченные драконы, с каждым шагом извергавшие потоки огненного дыма, обжигавшего воздух.

Вращающиеся на платформах фонтаны, брызгавшие в толпу пригоршнями едва переносимой ледяной влаги.

Кузнецы, плескавшие в них из форм раскаленным металлом, который, остервенело шипя, превращал воду в плотные до осязаемости облака ватного пара.

Громоздившаяся на колесах неуклюжая громада градирни, облипшая гроздьями сталактитоподобных

сосулк, сопровождаемая шлейфом хлопьев горького дыма.

И, видимо, чтобы дать передышку уstraшенной неожиданностью этого правдоподобия толпе, сразу вслед за градирней проскакала вереница выхолненных цирковых лошадей, кокетливо увешанных бутафорской упряжью и бубенцами.

А тотчас за ними проехала группа совсем не загримированных полицейских лошадей с всадниками, одетыми кто в рыцарские доспехи, кто в одежды каких-то довременных кочевников, разом поднявших луки и осыпавших толпу тучей не ранящих, но тяжелых, как настоящие, стрел.

Некоторое время пространство посреди продолжало пустовать так, словно в него боялись вступить.

А потом из воздуха появился как-то по особому торжественно выступавший кортеж, ударяющий в тарелки, дующий в дудки, с особенной отрывистой оттяжкой бьющий в барабаны и бубны, сопровождаемый детьми и растерянно снующими черными собаками, помавая и взмахивая жезлами.

Сопровождаемый двигающимися, как на паучьих лапах, на гигантских шагах, карнавальными карликами и великанами.

Обстановка несколько разрядилась, и зрители начали смешиваться с шествием.

Какие-то разбитные девки с рожками, голыми ногами и воздушными шарами, пившие пиво из горлышка.

Высыпавшие из подъездов девицы в карнавальных костюмах с наклеенными мушками, стрекозиными крылышками и охапками цветов.

Карнавальные черти, поющие интернационал или танцующие сиртаки.

Не столько потешавшие, сколько пугавшие толпу выдуваниями огня, дико блиставшего на их медных торсах.

Наголо остриженные то ли настоящие, то ли загримированные отпускники, оглушительно оравшие что-то нечленораздельное. Под барабанную дробь.

Люди в противогазах и масках, касках и шлемах, исписанных рубашках, тюремных комбинезонах с дутыми чугунными шарами, тромбонами и кастаньетами.

Атлеты и циркачи, сопровождаемые испуганными животными.

Фокусники, мимоходом показывающие что-то едва различимое, но умопомрачительное.

Сопровождаемые пронзительной оглушающей дьявольской электромусыкой.

Шествие, карнавал жизни — но кого было больше среди участников — ее или смерти, — сказать было нельзя. Как будто вся эта знакомая и незнакомая до-толе мне жизнь катилась сквозь меня безостановочной демонстрацией.

Сон и действительность беспрерывно менялись местами.

Удушаемый мир защищался, как мог, стремясь растрогать, отвлечь, напугать, кривляясь, играя в политику и самотеррор.

Я чувствовал себя выброшенным на необозримый просцениум, омываемый бескрайним морем событий и воспоминаний из моего прошлого, каждое из которых непостижимо успевало подать мне реплику, угадываемую почти мгновенно.

Лица, неожиданно быстро успевшие примелькаться. Иногда я начинал следить за той или иной фигуркой с хорошеньким размалеванным лицом. Она некоторое время маячила передо мной, но потом как-то стиралась, блекла и наконец исчезала. Явления, преследования и пропажи — это были нерв и боль карнавала.

Промелькнуло смутно знакомое лицо. Дураш-

ливый саксофонист, игравший в университетских коридорах во время лекций, толкнул меня, проносься.

Видимо, прошло уже немало времени, ибо кое-где стали появляться убиравшие всё, сияющие, огромные, гудящие, как танки, транспортеры.

Неожиданно в самый центр карнавала врезалась появившаяся неизвестно откуда группа музыкантов на выдавшем виды виллисе, едва ли не времен войны, странно контрастировавшем своим затрапезным видом с яркими красками и одеждами шествия. Машина как-то косо остановилась посреди толпы, и из нее, покачиваясь, поднялось несколько человек разного возраста, по большей части неказистого вида, небритых, с мешками под глазами, распухшими красными носами, слезящимися глазами, в обвисших, вылинявших от бесчисленных стирок манишках и воротничках, в безразмерных, с чужого плеча пиджаках, слишком затасканных, чтобы быть нарочитыми. В руках у всех были футляры. Но дирижера с раздвоенным хвостом фрака, палочкой и неизменно острой бородкой я среди них не заметил. Но был ли он и в толпе? Музыканты вызвали сначала некоторое замешательство, но затем бурю веселья. Слишком некарнавально выглядели они среди нарядных заплат и элегантного уродства толпы. В музыкантов полетели окурки и картонные стаканчики. Но те, бывшие явно под хмельком, этим, видимо, нисколько не смутились. Они вытягивали из потертых футляров инструменты и почти сразу же начинали играть. Вид у них при этом был достаточно растерянный, и, казалось, никто из них не понимал — зачем и почему они собственно здесь оказались. А толпа вокруг все густела. Станным образом они отвлекли всеобщее внимание от казавшегося бесконечным шествия. Оттуда вдруг тоже начали отделяться любопытные и, ломая срежиссированный порядок, присоединялись к обступившим машину. Теперь никто уже не смеялся и ничего не кидал — лица у всех как-то пе-

ременились, с них сползла уверенность. Люди на глазах делались какими-то жалкими и испуганными. Казалось, некоторые вот-вот заплачут. Между тем неожиданные пришельцы как-то сладились и начали играть вместе. Но что они играли — сказать было трудно. Это была какая-то не лишенная временами находчивости, но в общем довольно хаотическая смесь обрывков мелодий, иногда целых пассажей, а то и едва брошенных намеков на что-то слышанное Бог весть где и когда — в промежутках между объятиями, в армейском строю, на лагерных разводах, в каких-то забытых скверах или кафе, в каких-то давно запамтованных фильмах. Они словно задались целью напомнить, что еще — подумать только — несколько лет назад все мы жили пусть и незатейливой, но живой обыкновенной жизнью с ее падениями и взлетами, с ее бестолковыми увлечениями и непритязательными радостями. И я видел, как люди, стоявшие вокруг них, постепенно начинали становиться сами собой — и уже не казались теми лощеными и холодными раскрашенными куклами неизвестного пола, какими были несколько минут назад. Мне казалось, что я даже начал узнавать их, — ибо я действительно встречал их совсем недавно или, наоборот, очень давно в самой обыкновенной, будничной обстановке. Постепенно и музыканты стали мне кого-то напоминать. Лица их сделались строже, серьезней, хмель выветрился из них без следа, и они, казалось, полностью и окончательно осознали возложенную на них миссию, сосредоточенно и отважно трубя в свои желтые и серебряные трубы. И зубодробительная, вытягивающая душу музыка, сопровождавшая шествие, от которой прошибал холодный пот и делалось не по себе, как-то вдруг смешалась, притихла, сделалась едва слышной и во всяком случае неназойливой. Шествие, казалось, прекращалось.

Неожиданно раздалась сирена. Нет, это была не полиция. Но кто это были? Какие-то молодые, но

также и пожилые мужчины в дорогах с иголки костюмах, но и в уродливых, обтягивающих кожаных куртках и брюках, хорошо постриженные, но и с шапками неправдоподобно раскрашенных и взбитых волос, увешанные идиотическими значками, но и со скромными заслуженными петлицами, женщины — элегантные стервы с глазами, подведенными ядовитой краской. Все они, несмотря на разительную разницу облика, были словно одержимы одной страстью. С яростной силой и остервенением они рвались к выдавшей виды машине, размахивая кто автомобильными сумочками, кто какими-то дубинками и гаечными ключами, кто бумагами, кто еще чем. Остававшиеся на месте беспрерывно гудели, нажимая клаксоны ослепительно сказочных сигаро- и ракетобразных автомобилей. Зубодробительная музыка шествия, словно ободренная этим подкреплением, ожила. Люди, стоявшие вокруг музыкантов, пытались было помешать вновь прибывшим пробиться к ним, но потом они как-то смущались, отводили и опускали глаза, отходили в сторону. А те всё увереннее пробивались вперед, и к ним присоединялись другие, словно опомнившиеся от того внезапного оцепенения, в которое их повергла анахроническая музыка заблудившегося в закоулках времени ресторанный оркестра. Последнее, что я еще мог видеть, — это прижатую словно напившим потоком к остатку эстрады горстку несчастных, взрошенных, отчаянно трубящих музыкантов, последними усилиями легких отгоняющих еще и сдерживающих нечистую силу.

*1981*

СТИХИ ИЗ КНИГИ  
«ПЕРЕМЕННАЯ ОБЛАЧНОСТЬ»

\* \* \*

Этот день никогда не кончится  
или кончится слишком рано.  
Час за часом вскачь, точно конница  
от Урала до океана.

День прощания, день несказанных  
и ненужных слов. Разговора  
не начнется в сквознячных скважинах  
непрокашливающегося горла.

Развеваясь гривами по ветру,  
по волнам, подернутым чернью,  
час за часом уходят под воду  
на последней заре вечерней.

\* \* \*

Ничего нет, ничего нет — ничего не будет.

*Шутка*

Ни из цилиндра, ни из-под плаща  
отнюдь не извлечете зайца за уши,  
когда его там нет. Прополоща  
потертый плащ, едва еще сияющий

местами уцелевшей мишурой  
и блестками, в камерке за кулисами  
маг-фокусник поплачет над собой,  
зачесывая волосы на лысину

и лысину скрывая под цилиндр.  
Уж под крыльцо ему троллейбус подано.  
И, хлопнув аккуратный децилитр,  
он покидает цирк, арену, родину.

#### классическая баллада

И одно молчанье сказало другому:  
— Давай помолчим.  
И долгим-долгим был путь их до дому  
под небом чужим.

И серые улицы на полурассвете  
замолкли тож.  
И адрес их на измятом конверте  
попал под дождь.

И расплывались чернила молча  
там, под мостом.  
И вдруг другое взвыло по-волчьи:  
— А где ж он, дом?!

И одно молчанье сказало другому:  
— Ничего, помолчи.  
Пускай все длиннее наш путь до дому  
и пропали ключи.

Пускай огоньком болотным, мороча,  
отплывает этаж,  
мы его догоним, но только молча,  
и дом этот — наш.



И другое молчанье по-волчьи молчало,  
как из-под куста.

А путь перепутал концы и начала,  
и сбился, и стал,

и долго по сторонам озирался,  
пытаясь найтись,  
но все в то же распутье глаз упирался,  
все в ту же слизь

болотную, смесь воды и метана  
— и огоньков.

И другое подумало: — Я устало, —  
но без слов.

И стала река, подернута пленкой  
внезапного льда,  
словно стол, покрытый клеенкой,  
а не вода.

И одно молчанье ничего не сказало,  
а другое: — Ах!  
Но — уста ему тут же связала  
любовь, не страх.

Потресканные губы стянула  
тоненьким льдом.  
И тут же очко светофора мигнуло,  
и рядом был дом.

\* \* \*

Ну что, хлопотливая ласточка,  
куда ты летишь хлопотать?  
Домой, бесцензурная весточка,  
привет от меня передать.

Скажи, что на пядь под землею  
и с глоткой, набитой землей,  
жива и дышу, замерзаю,  
но все же не до смерти злой.

Скажи, что, глаза растворивши,  
песку и подзолу набрав,  
я вижу, я все еще вижу,  
беспамятство смерти поправ.

Скажи, что уже не надеюсь  
на встречу, но, сколько жива,  
не сдамся и не охладею,  
и это не просто слова.

стихотворение, первоначально  
написанное по-польски

А верлибры —  
их-то я клеить могу хоть по-французски и даже  
по-польски.  
Как колибри,  
запорхают, неся ко мне в клювике славу, а то и какие  
копейки.  
Только хмурюсь,  
сомневаясь, сумеет ли бедный стишок ну в каком-нибудь,  
скажем, Подольске,  
не рифмуясь,  
любовной ли, детской размах сообщить колыбельке.

\* \* \*

Милый, милый, не назвать,  
не позвать, не произнести,  
и в гранитную кровать  
ключьями ложится весть.

Милый, милый, не придешь,  
не приснишься, не прискачешь  
и сквозь уличный галдеж  
не докрикнешь, не доплачешь.

Милый, милый, ты — один,  
а меня, прости, так много,  
как в кудрях моих седин  
и как ангелов у Бога.

\* \* \*

Хорошо в январе на заре,  
прогулявши всю ночьку без памяти,  
при последнем ночном фонаре  
по афишам учить тебя грамоте.

Хорошо не зевать, не в кровать  
возвращаться — отдельно, вместе ли,  
но еще и еще открывать  
просыпанье небесной пестряди.

Хорошо на заре — не в снегу,  
но хотя бы в нестаявшем инее —  
о своем умолчать (не солгу),  
твоего не припомнить имени.

\* \* \*

В какой я завернула лес  
и буреломный, и сквозной,  
оврага дальнего отвес  
заманивает крутизной,

сухими комьями земля  
босые ноги ранит в кровь,  
и, руки за спину ломя,  
жесток кустарника конвой.

В какой конец я забрела  
земли, в какой незнакомый край,  
как дивны, Господи, дела  
Твои — не все, не эта страсть,

ломающаяся сквозь кусты  
безлиственные напролом...  
Ты, Боже, смотришь с высоты,  
а мы не смотрим, мы живем.

\* \* \*

Сроки мои не прѳбили,  
крутится мое мобиле,  
словно и впрямь перпетуум.  
Шальную меня и отпетую  
отпевать не приходится.  
Подсохнет мокропогодица,  
застолбенеет распутица,  
и гиацинт распустится  
сквозь сутолоку и сумятицу  
в Страстную Пятницу.

# Круг рассказчиков

Марк З а й ч и к

## ИСТОРИЯ

Летом того високосного года Рита Кошелева с мужем Сережей и дочкой Ирой жила на даче, в пятидесяти километрах от Ленинграда. Плавно и немудрено проходил ее отпуск на взморье, в веселой зеленой дачке, стоявшей в просторном сосновом лесу недалеко от плоского сизоватого моря, с которого с раннего утра и до темноты неслись гулкие счастливые крики, тугие удары по мячу, захлебывающийся рокот скутеров — и все это под белесым балтийским небом с нечеткой линией горизонта и невесомыми стремительными облаками, бегущими, как приземистая стая военных катеров к фортам Кронштадта.

Вставали поздно, завтракали на крошечном дворе за безнадежно загубленным городским столом, под ласковый утренний звон чашек на скатерти, засыпанной перекрученными хрупкими иглами с ближайших к дому деревьев.

Легко гудел праздничный день, и пряный густой воздух моря и сухого леса, настоенный на стрекоте и жужжании, жил вокруг сидевших. Было томительно приятно сидеть вот так просто, слушать, дышать и смотреть, и думать, что хорошо бы вот так прожить на свежем ветерке, глядя, как за хозяйским мохнатым крыжовником, за сквозным побуревшим забором деловито спешат к морю пестро одетые горожане с недавно просвиставшей электрички.

На санаторной площадке темного цвета — трамбованный морской песок — Сережа играл в волейбол.

Рита с дочкой наблюдали от судейской вышки, увенчанной тщательно беспристрастным судьей-любителем в детской панаме, как мускулистый ржавоусый смугляк с белоснежной полоской влажных зубов, высоко над сеткой пружинными расставленными пальцами накидывал оранжевый мяч и Сережа делал первый краткий шаг, длинной, высоко обнаженной ногой без носка, обутой в затертый спортивный туфель, другой — и взлетал, победно вырывая свой широкий тонкий торс, обтянутый мокрой майкой, над сеткой, и широким мощным округом руки-пращи с победным звоном вбивал мяч, поверх защитных ладоней в землю.

Па-бам — двойным разносильным разрывом лопался тягучий воздух, как будто самолет перешел звуковой барьер, и оранжевым комком мяч упрыгивал через головы стоявших зрителей на краткую свободу.

К концу августа резко похолодало, с утра зачинаялся и сутками, сильно и ровно, лил дождь. Погода явно сдала и как бы пошла на убыль. Гуляли, одетые в свитера, по зернистым мокрым дорожкам в просторном парке, посередине которого, параллельно линии моря, на черном шлаке насыпи лежали две полосы бархатно-белых рельсов, в Ленинград и обратно.

К вечеру Сергей приносил охапку огромных еловых поленьев в мокрой прогнившей коре, со стуком сваливал их на замызганный жестяной лист, затем доставал специально высушенное полено и кухонным ножом щипал с него кривоватые длинные волокна, составлял их в нежном от пепла зеве печи шатким шатром, внутри которого скомканный газетный лист, а снаружи шатер из поленьев, и с одной спички поджигал.

Накрывшись хозяйским ватным одеялом, прилебывая винцо и поглядывая на огонь — «ворожит ведь, а, Рита, как?» — учил очередной язык — для общего развития или, может быть, продвижения по службе, а вернее всего, по привычке. Рита споро вязала ему

лыжный шарф. Ира лежала на печи, высунувшись с книгой неизвестного автора на свет.

Перед сном он со стуком открывал небольшое окно, придерживая рвущиеся половины, и вместе с влажным ветром в комнату вривалась опьяняющая зыбь, расплывалась тревожная слабость, и Рита торопливо просила:

— Закрой, пожалуйста, у меня голова кружится.

Она плохо спала и, вставая ночью поправить на Ире сползшее одеяло, все время думала: вот сейчас наткнусь на Мишу и он скажет: «что же ты, милая, не видишь, где ходишь».

Она возвращалась, и Сережа сонно спрашивал, пытаясь обнять ее и приблизить к себе до родства: — я муж тебе, Маргарита, или не муж?

И, с трудом высвобождаясь из этого неловкого, но властного объятия, Рита прерывисто шептала: — спи, Сереженька, ты мне муж. Муж объелся груш. Смеясь, он засыпал.

Это хождение по влажному холодному полу за случайной мыслью в душном сне напоминало ей почему-то смутное многодавнее катание с кудрявым безымянным одноклассником, гением задней перебежки, на заснеженном льду огромного катка ЦПКО имени Кирова, исполняемой для нее под ужасающий звук резки жесткого льда новенькими коньками-канадами.

За два дня до отъезда в город, в стучащий толстым ветром вечер, приехали насквозь промокшие по дороге от станции товарищ Сережи по университету Самуил, в голых сильных очках, стремительно неорганизованный в движениях, с нагнутой вперед негибкой длинной спиной, как бы постоянно рвущий финишную цветную нить, и Миша.

Распознав его голос за неотпертой еще дверью, за раскатами ушедшего грома и за четким шорохом дождя, Рита, дрогнув, обнаружила в себе то, что врачи называют сердечной недостаточностью. Глядя на

его долгое узкое лицо с вдавленными щеками и средневековым тонким носом, она с несколько злобным ужасом и непонятым изумлением в очередной раз призналась себе, что «маленький рыцарь», как она слегка иронично называла Мишу, который не был ни маленьким и ни рыцарем, по выражению поэтической подруги, «совершенно и до отказа заполнил многоярусный стадион ее души».

Когда пришедшие отогрелись у остывающей печи, выпили по полстакана водки и все, кроме Иры, оставшейся с книгой, расселись пить чай с прозрачным малиновым вареньем со взвешенными янтарными крупинками ягод, Миша, полуобернувшись, спросил:

— Ира, что читаешь?

— Да так, — неопределенно сказала девочка, не отрываясь от книги.

— А кого?

— Что кого?

— Ну, кто написал?

— Не знаю, обложка оборвана.

— Хоть интересно?

— Жизненно, — ответила Ира, — корейские народные сказки.

Сема, скрестив худые ноги и часто поправляя указательным пальцем вольные очки, сел против Сережи за мерцающие шахматы, Миша — непроницаемый болельщик — сбоку, и Рита напротив, со скорым вяжаньем под бешеный стук сердца.

— Диагональ эта вызывает у меня определенные надежды, — бормотал Сережа, кувыряя в руках облупленную фигурку слона.

— Да, я поэт трагической забавы, — рассеянно продекламировал Самуил.

У Риты этот псевдознергичный ленивец вызвал в туманной памяти такой же пасмурный день прошлого года перед концертом пепельнокожего разухабистого американца, впрочем, изумительного джазового пиа-



ниста, настоящего виртуоза, которыми, как говорят, заполнены Американские Штаты.

Встретились у здания бывшей Думы. Рядом с Семей стояла глазастая еврейская девушка, очаровательно некрасивая, одетая в так называемое демисезонное пальто со слипшимся чахлым воротником из немолодой белки, поднятым к озябшему лицу.

— Моя невеста Рая, — сказал Самуил своим сиплым разящим голосом.

Энергичная рослая женщина возле них, при взгляде на которую вспоминались все народы Азии, щелкнула лакированной сумочкой с влажным поперечным бликом, посмотрелась в зеркальце, поочередно поджав нижнюю и верхнюю опавшие губы.

Вместе с поднимавшейся из станции метро «Невский проспект» на Невский проспект толпой нарастала популярная 40-я симфония Моцарта — у кого-то был включен транзистор.

И шел мгновенно таявший на мокром асфальте крупный снег.

— Дай мне, Миша, часы, я их остановлю, — сказал Сергей.

— У меня нет их, — в тон ему ответил Миша.

— Тогда без часов сдаюсь.

— А мы что, так играли, ни на что? — спросил меркантильный Сема.

— Не знаю, — серьезно сказал Сергей, — жену я тебе не отдам.

И Сема смутился. Да, Сема смутился. Он вынул из внутреннего кармана своего грубошерстного пиджака пачечку свернутых листов.

— Читать не будешь, конечно? — спросил.

— Прости, нет, это невозможно, — развел руками Сергей.

Диалог этот нуждается в пояснениях. Дело в том, что Сережа, настоящий ценитель, принципиально читал только книги, то есть все что угодно изданное,

но только не машинописное. «В глазах рябит», — жаловался он.

Сема, редактор отдела самотека толстого журнала «Невский вестник», влюбленный в свое дело, мечтающий открыть нового Платонова, молодой критик, в течение многих лет безуспешно пытался его сломать.

— Но почему нет? — отчаянно восклицал он.

— Потому что своевольны, потому что скрипят, потому что неловко родились, да мало ли еще почему, — возражал Сергей.

— А ты сам-то? Не своеволен?

— Зато и стихов не пишу, — ставил весомую точку Сергей.

С новым Платоновым тоже было не так просто. Платонов ходил по городу неопознанным. Но Сема не отчаивался — оптимизм с детства был его отличительной чертой.

— Давайте, друзья, проведем сегодня вечер за чаем, а то все водка, водка, даже скучно, право, — сказал Сергей, степенный русский человек из хорошей старой семьи.

— Конечно, ты прав, Сережа, — произнес Миша, поднялся, хрустнув суставами, и принес из распухшего своего портфеля, под вешалкой, скромную бутылку — украшение стола.

— Я думаю, что вы оба правы, — молвил Сема, не поленился и тоже сходил к портфелю — своему.

— Две бутылки — не одна бутылка, — отметил Сережа.

— Вы что, ребята, совсем с ума сошли? — спросила Рита.

— Думаю, дорогая, что мы с тобой невольные участники еврейского заговора, но русские не сдаются, — торжественно проговорил Сергей и из застекленного полупустого книжного шкафа из-за словарей своих и нескольких книг издательства «Академия» извлек то же.

— Голова будет болеть, — удовлетворенно сказал Сема.

На другой день гуляли в сторону Сестрорецка, по пустому пляжу, глубоко зализанному волной.

— Даже поговорить не удастся, вот ведь дура я какая старая, — подумала Рита, глядя на упрямое родное лицо Миши, мрачновато вышагивавшего против ветра.

— Все утро спать не давали, — жаловался Сема. — Бес какой-то машину заводил, а за стеной в теннис рублились.

— Это не за стеной, а в сарае, — поправил Сергей, — дети хозяйские упражнялись.

И тут же Рита вспомнила, как все утро безуспешно и сухо трещало зажигание и непрерывно и равномерно, как некий хронометр судьбы, покал теннисный шарик за стеной.

Их роман начался воскресным апрельским утром.

Ну, конечно, они были знакомы раньше. Однажды раскланялись в тесном зале кинотеатра «Титан» на последнем переполненном сеансе. В новогоднюю безумную ночь у общей подружки Лены Буферман станцевали, обсыпанные конфетти, тесное танго, с уходящим паркетным полом, сладким головокружением, сталкивались между неубранными дубовыми стульями с высокой спинкой с молодыми поэтами, которые танцевали друг с другом.

Но звонок ее был, конечно, неожидан.

— Вы знаете, Миша, — волнуясь сказала она в равнодушную трубку в половине девятого утра, — я к вам очень хорошо отношусь, пойдемте в Русский Музей.

Миша проснулся окончательно, присел на стылый пластиковый табурет, судорожно вспоминая, кто это и чем обязан. Из Мишиного окна виден был родной демократический двор с погибшими тополиными са-

женцами и загороженной спортплощадкой, в мелких лужах, затянутых по краям тусклым ледком.

— Посмотрим картины Александра Иванова.

Совсем она не звучала уверенной, красивой белолицей женщиной, ухоженной и любимой. У входа в филармонию взяла его под руку. Фланелевый капюшон надежно скрывал ее лицо.

Они быстро пересекли площадь с пустым разбухшим от воды сквером и по диагонали, от энергичной статуи Пушкина, вбежали в музей. В музее было неожиданно пустынно. Неделю назад счастливо закончились школьные каникулы, унося в тревожный март шепотливую насильную тишину детских экскурсий с окриками возбужденных учителей, суровой локтевой толкотней за место возле элегантно, неторопливо ожидающей внимания молодежьей экскурсоводши с безгливой складкой у длинного рта.

За душной темнотой южных ночей внимательно осмотренного Куинджи, за пропущенным Айвазовским, они остановились у неширокого пресного ручья художника Иванова, с каменистым умытым дном, по которому легко вызванивала ровно поблескивавшая водичка с редкой летящей травинкой или палым листом.

Свет в зале не горел. Невеселое утро через большое музейное окно скудно и уютно освещало Риту и Мишу, стоявших близко к картине и друг другу, тучную старуху-смотрительницу, вязавшую что-то бесконечно-длинное, зеленым гадом обвивавшее ее поджарые ноги в войлочных шлепанцах, ловко вырезанных из старых валенок.

Особый воздух музея, нежилой, с подстроенной температурой, с приглушенным ропотом стальных вентиляторов, отдавал разбавленным аквамаринном на белое свежее лицо Риты, с бледной краской намазанным ртом, трогательной линией щеки, уходившей за слабо рыжего цвета волосы, и нахмуренной самостоятельной бровью.

— Вы знаете, Рита, — сказал Михаил не глядя, — я не все понимаю.

— Нечего понимать, — дернула плечом Рита не оборачиваясь, — я просто...

— Что? — не расслышал Миша.

— Ничего. Проехало, — буркнула Рита, жена друга.

Смех их проскакал по обширной зале, по скользкому паркетному полу, по гулким стенкам и застыл у ног смотрительницы, заставив ту вскинуть снующий подбородок и уронить зазвеневшую неодобрительно спицу.

И затем в чужой квартире на стрелке Васильевского острова, где от проходивших трамваев дрожали стекла в полукруглых венецианских окнах, а по сумрачным стенам громоздились очертания мебели в бледных от пыли чехлах — ее протяженное тело поперек узкой кровати, над которой висел в дорогой ореховой рамке фотопортрет серьезного подростка в белой футболке с синим воротником и с синей же буквой «Д» на груди слева. Под фотографией было от руки написано: «Динамо» — это сила в движении. Максим Горький.

Мужа Ритинога Миша знал плохо, больше понаслышке от Семы, сдержанно похваливавшего Мишины упражнения словом и в слове. Двусторонний темпераментный друг говорил о Сереже часто.

— Понимаешь, это так редко сходится: лояльность и способности, древний род и счастливая карьера. Почти ничем не поступиться...

— Почти — не считается, — подмечал Миша. Ему не нравились такие судьбы.

— Как ты смеешь, — загорался Самуил (Миша был младше), — посмотрим еще на тебя, герой.

— Посмотрим, — соглашался Миша.

— Ну, а в городе-то что? А то мы здесь, как на луне, — спросил Сергей.

— Ничего, — сказал Сема, — повальный отъезд.

— Ну-у! Куда? Туда?

— Да. Меняют державу на историческую родину, — в голосе Семы были слышны кавычки. Он шагал, подавшись вперед, в своей обычной манере. Из-под его добротных башмаков взлетали шлепки мокрого песка. Свитер его был покрыт водяной пылью. Дождь все собирался и собирался, но никак не шел.

Все-таки в этой простудной прогулке висела сероватая рябь над чистейшим мелководьем, валялись по твердому берегу хлопья радужной оседающей пены; в дальнем конце пляжа, возле подводы с понурой лошастью, плечистый малый в ватнике поджигал гору мусора, от которой в воздухе крутился бумажный пепел между орущими пикирующими ласточками, и Ирина пыталась добросить до матери резиновый мяч, который из-за ветра относил в противоположную сторону.

— Так все естественно, — говорил Сергей, — здесь ведь с возрастом умирают от скуки, годам к тридцати жить уже невозможно, все кончилось, не успев начаться...

— На редкость легкомысленное заявление, я прошу тебя.

— И потом обидно, вроде бы все не по-настоящему, — продолжал Сергей, который всегда в принципе замечал и слушал только себя.

— Но ведь невозможно жить в государстве с отделенной религией? — закричал вдруг Сема с накопленной давно яростью.

— А ты не знаешь.

— И знать не хочу.

— Твое дело, но погляди, как, пардон, твои братья всё оживили, ввели слово отъезд, представляешь — оживить такую лексику... нет, милый, ты совершенно не прав.

И Сережа, внезапно остановившись, левой сухой громадной кистью мягко поймал слабо тренькнувший мяч, наконец-то почти доброшенный Ирой до матери.

— На, Ира, лови, — крикнул Миша, и, как давший волейбольный мяч, оранжевой дугой тяжело плюхнул в песок у Ириных ног невесть откуда взявшийся у Миши апельсин. Привез вчера, да позабыл, видно, вручить.

— Ну вот, пожалуйста, привет из Яффы, — показал рукой Сема, — как начнут друзья уезжать, тогда поймешь все.

— А что, уже есть кто-то? — рассеянно спросил Сережа, несколько дерзковато поглядывая мимо друга на безупречно морской вид Финского залива.

— Вот, Михаил, — сказал Сема.

Рита споткнулась.

— Это ты, конечно, ловко, — прищурился Сергей, — то-то я смотрю, он два дня рта не раскрывает, а он, оказывается, на шейха тренируется.

Мелко пошел, наконец, дождь, светло и часто штрихуя пряный воздух.

— Дождик, дождик, поливай, мы поедем к Богу в рай, — проверещала Ира и побежала от пляжа вон, к парку, увязая в темном сверху песке и обнажая резиновыми ступнями его беловатый испод.

Тяжело и ладно зашевелил развитыми плечами, сдвинулся Сергей; засуетился Сема; раскачивая полные красивые локти, пробежала три шага, остановилась и оглянулась Рита.

Миша стоял, закинув глубоко назад голову, остужая и омывая лицо.

— Это правда?

Голос ее звучал отчаянно и громко.

Не в лад хрустели по хвойному насту и посвистывали по парковой мокрой траве удаляющиеся шаги.

Миша кивнул.

— Ты прости меня, — сказал он, удивляясь, как складывается в слова это слабое движение в горле, шевеление сухого языка и не чувствительных губ.

— А как же я?

— Так же, как я, — проговорил Миша, глядя в сторону затухающей голой груди давешнего мусора, от которой крутым наклонным столбом уходила струя густого душного дыма, сливавшегося с небом и морем.

И тут она прижалась к нему, прилипла к нему, и на одном вздохе, очень быстро, боясь каждое мгновение разрыдаться, выпалила в лицо:

— Я понимаю, что у меня не так построено лицо, и вообще ты из особой секты, прости, касты, но я выясняла, Софья Абрамовна — ты помнишь, я тебе говорила, из техотдела, она очень в курсе, так вот, мой брак недействителен, не в счет, я перехожу в вашу веру, есть в Ленинграде старенький очень приличный раввин, он нас венчает, и мы живем с тобой там или здесь, где скажешь.

— А ведь накажет меня Господь за эту женщину, — подумал Миша.

— Прости, но я больше просто не могу так, — она всхлипнула; Миша обнял ее длинной рукой, и она заплакала у него на твердом плече, очень громко, отпуская себя совсем, обнажая десны, стуча зубами.

— Рита, обещаю ради тебя начать писать письма, — твердо сказал Миша.

— Жалко всех, сейчас, сейчас пройдет, — она вытерла скомканным платком свое и его лицо, судорога последнего рыдания пробежала по ней, и она прошептала: бедный ты мой, бедный.

Когда они подошли, Сережа мельком оглядел их, повернулся к Семе и закончил фразу:

— Дай мне твой документ, я исключу тебя из евреев.

— А ты кто такой? — кричал Сема.



— Пойми, чудак, это же полная и честная реализация человеческой жизни, посмотри, как все сошлось счастливо, из дома в дом, к смыслу, к солнцу, так сказать, — показывал рукой Сергей.

— Но как там все устроено неловко, как они сладились с клерикалами, с «тарабарщиной угрюмой»...

— Как смогли, так и устроили, свободные ведь люди, милый. Закон хранят.

— Закон, — попритих Сема.

— Эх, Сема, Сема, да я бы эту, как ты говоришь, «тарабарщину» за полгода бы, мне бы только... — сказал Сережа.

Они прятались от дождя на детской площадке: Сережа под синим фанерным грибом, Сема под красным, а Ира под желтым.

— Да куда тебе-то в калашный ряд? Чем тебе-то? Ты же счастливец от рождения.

— Я, Сема, дворянин, — надменно сказал Сергей, — и здесь, Сема, в этой стране, попрано и унижено мое достоинство.

— Ну хорошо, а там что, — устало спросил Самуил.

— А там демократия все же, а там посмотрим, верно, Ритуля? Может, и правда махнем, а?

— Пошли домой, Сережа, — попросила Рита.

— Погоди, у тебя ведь бабка тоже... — не мог успокоиться Сергей, — как бишь ее, Бовари?

— Бомарше, — сказала Рита, — Ревекка Гедалиевна Бомарше.

1980 г.

## ИЗ НОВЫХ СТИХОВ

*Авторизованный перевод с эстонского Александра  
Радашкевича*

### КАМНИ

Один, заснув  
в неверном серебре  
исландской длинной ночи,  
я вслушиваюсь в шепот —  
но ни души кругом,  
когда зову:  
Постыщающееся солнце,  
на камни Эстонии  
о оглянись.

### ТВОЯ ДУША ЕЩЕ ВОВЕК

Твоя душа еще вовек  
к моей не прижималась  
душе,  
лишь — тело,  
целуя меня  
жарко и крепко;  
но все же твое лицо  
тогда светилось  
и было в тени твоей  
исцеление,  
пока я оставался безмолвен —  
весь в цветах  
с головы до пят, —

и твое  
воздушное имя  
камнем  
метнулось ко мне  
из тебя.

#### МОЙ ТРОЙСТВЕННЫЙ АНГЕЛ

Мой тройственный ангел —  
прощение,

дружба

и стих.

Нет ни земли очумевшей,  
ни злобы.

Только серый янтарь  
твоих глаз,  
только серое небо  
в самых высоких кронах  
нашего малого  
кладбища.

Только трепет ушедшей строки.

#### ПТИЦА МОЯ

Птица моя,  
березка клонимая,  
спой мне.

Строки безгласны,  
печаль угасает,  
а вблизи  
тот Нищий из Ассизи —  
ломким голосом:  
«мой Брат Огонь».

Птица моя,  
мне случилось родиться  
снова.

#### СТРОКА

О да, я в молодости  
был смирен. И тоже  
рожден на Самосе;  
Рокос и Мнесикл —  
мой учителя.  
Однодневный жеребенок, бежал  
я к нашему ключу  
на мысе Кантáрион —  
омыть  
рожденья пену.  
Годовалому малышу, мне  
позволили совершить возлияние  
прозрачных смол  
из фляги на алтарное  
пламя владычицы Геры.  
Мечталось мне также  
завоевать последнее  
молчание строки,  
отраженной в металле  
иль камне — увы,  
уже закипел я *песней*.  
(Был ли я несожженным фениксом,  
что поет лишь  
одну ликующую строку,  
где нет ни недугов,  
ни смерти, ни слез?)  
Воистину,  
я жаждал восхвалить  
мужей великовластных, но  
не сумел создать  
ни единой строфы для

правителя Поликрата.  
Мне ни к чему была  
навязанная тема.

И долго, неторопливо  
я вынашивал мечту подарить  
жизнь  
чистой и твердой строке,  
мерцающей сквозь  
опрокинутый в зеркале гимн —  
как холодное юное солнце  
сквозь  
залитую мраком морскую раковину;  
и все-таки это —  
иная строка,  
строка невынужденной свободы,  
строка самосского паруса —  
шафран расшитый  
зеленью —: строка, столь с тобою схожая,  
Ланіке.  
Строка для тебя, Ланике —:  
простыни, взбитые мягко  
на наших проточных камнях  
и окрашенные низкоголосым  
пурпуром Тира.  
Разве ты удержала бы  
в своей руке  
округлую строку с Пáроса,  
искрящуюся дыханием  
свежего мрамора? —:  
прямую строку,  
стройную в своем величии,  
напоминающую вдохновенного  
фессалийского коня?  
Строку, тепло поющую  
в мрачной, бессмертной бронзе —:  
нагую, простую строку,

исполненную жестокой правды  
и заставляющую воинов  
плакать?

— Осень ложится, Ланике,  
и скорее слово,  
чем охота за ним,  
потеряет свою награду.  
Моей честолубивой  
четырнадцатиструнной  
коринфской кифары  
нет более со мною — только  
эта пастушья немая свирель.  
Я больше не желаю слышать  
шершавых строк  
нерасплавленного металла,  
широкоплечих и  
сильнобедрых — и даже  
блаженных строк,  
являющих нарумяненные  
груди флейтисток  
сквозь голубые, невинные  
финикийские ткани.  
Я больше не могу.

В незабвенной  
Великой Греции,  
в Панорме и Тавромении  
громадное  
восходящее солнце  
разражается ярким смехом  
вдоль моря (почему я не  
создал для тебя  
парящую строку  
из тех оброненных перьев  
моей, стрелой пронзенной  
сиканийской песни?).

Здесь, в этом крае,  
густое полуночное утро  
окурило меня.  
В нынешнем году  
пустынные месяцы синевы  
не тянутся уже подолгу, и я теперь — :  
покинутая  
летняя цикада.  
И мой учитель —  
седоватый шелест  
лавровой рощи  
у реки,  
мой самый верный друг — :  
полупроснувшаяся дорога  
в понуром лживом свете.

Съшишь ли ты самосский туман,  
плавно вздыхающий в лирах  
и чувственных обученных голосах? —  
Вот моя  
беззвучная строка  
для тебя, Ланике,  
отложенная так надолго,  
строка нашепченного обещания,  
уклончивая и хрупкая  
строка — опаденье  
высокой печальной ноты,  
строка — испуганный ребенок,  
цепляющийся за тебя.

— Разбитое сердце надгробного камня  
Анакреона  
у дорожной обочины,  
в черном дожде зимы: я  
склоняю нелегкую голову,  
призывая  
безмолвье.

## ПРИМЕЧАНИЯ АВТОРА К СТИХОТВОРЕНИЮ «СТРОКА»

1. В VI столетии до Р. Х. остров *Самос*, здесь воображаемое место рождения героя-автора, был домом знаменитых ваятелей, зодчих, поэтов и ученых. Некоторые из них, как, например, Рокос, скульптор по бронзе, и Мнесикл, архитектор Акрополевых Пропилей и, возможно, Эрехтейона, были самосцами; другие, как поэт Анакреон, творили на острове десятилетиями (автор настоящего стихотворения жил на Самосе в 1959 году).

2. Мыс *Кантарион*, с его священным источником, расположен на западном берегу Самоса.

3. В честь богини *Геры* самосцы воздвигли три больших храма, назвав этот ансамбль «Герайон».

4. *Поликрат*, правитель Самоса (ок. 540-522 гг. до Р. Х.), именовался «тираном». Это слово не предполагало в Древней Греции современного значения деспотического злоупотребления властью, но всего лишь ненаследственного главу государства. Поликрат немало содействовал обогащению и росту культуры Самоса.

5. *Ланйке* — любовное уменьшительное от *Нике*.

6. *Тирыйский пурпур* — Тир, финикийский островной город, был знаменит производством пурпура.

7. *Великая Греция* — юг Италии и восточная часть Сицилии носили в античности это имя, означая тем, что в архаический и эллинистический периоды Сиракузы (а не материковая Греция или Эгейские острова) были действительным центром греческой культуры.

8. *Панорм* — античное название Палермо; *Тавромения* — античное название Таормины.

9. *Сикания* — древнее название Сицилии, как ее именовали греческие колонисты, начиная с VIII века до Р. Х.



# Круг рассказчиков

Юрий Гальперин

## БОЛЕЗНЬ

*Рассказ*

— Только бы не сифон, — сказал Дмитрий Костомаров, испуганно улыбаясь большим ртом с недетскими, припухлыми губами.

— Брось сказать, — раздраженно успокаивал его Игорь Ольшань, двадцатидевятилетний студент. — В конце концов можно пойти к врачу и убедиться.

— Как бы не так, к врачу! Я полтора года без работы.

— Засекут?

— Нет, трудоустроят.

— Засекут, не засекут — зато вылечат.

— А что лечить-то? Прыщик плевый?

— Прыщик, знаешь, чем может быть?

— Ах, оставь, — Дмитрий отгородился от приятеля ладонью, растопырив пальцы с неровными по краям ногтями. — Что угодно пусть, — сказал он. — Все, что угодно, только не сифон.

У Тамары было бледное, как пастила, лицо. Она испуганно выглядывала из большого простроченного воротника своего замшевого пальто. Дмитрий разыскал в широком рукаве холодную руку без перчатки и, потянув на себя, уверенно и осторожно выдернул девушку из вечернего потока улицы, где только что выловил ее фигуру сначала взглядом, потом окриком, а затем и рукой, плавно вывел из суতোлки и поставил

перед собой возле слабо освещенной витрины книжного магазина.

— Где ты пропадал? — сказал она, возмущаясь и краснея от радости и от возмущения. — Я тебя разыскивать должна?

— Я сам нашелся, — сказал Костомаров.

— Случайность, — не поверила она.

— Я был болен.

— Прости, — холодной рукой она потрогала щетину на его мятом лице. — Что с тобой было?

— Почему было? — обиделся Костомаров. — Я и сейчас болен.

— Чем?

— У меня сифон.

— Не болтай, — легко рассмеялась она. — Жаль, ко мне сегодня нельзя.

— Вот и хорошо, — облегченно вздохнул Костомаров. — Просто погуляем.

— Можно к Свете, — не растерялась неверившая ему Тамара. — Я позвоню на работу, чтобы вынесла ключи.

— Света сегодня в ночь? — спросил Костомаров. — Мне бы хотелось так побродить.

— В такую холодрыгу! — Тамара проткнула его серым взглядом-обидой, и, уже обиженная, заметила странную сегодняшнюю неловкость его. — Что это ты сегодня какой. Можно подумать, у тебя и вправду сифон.

Лежа на спине поперёк неширокой стандартной тахты и касаясь голыми ногами холодного крашеного пола, удобно устроив голову на мягком животе женщины, Костомаров разглядывал в окне лепной карниз близкого дома напротив. Подсвеченные снизу зеленоватыми огнями уличных фонарей, автомобильными фарами, отблесками зеркальных витрин, гипсовые мускулистые мужики ложно-классического ба-

рельефа даже в сумерках предполагали в своем содержании полноценность и здоровье.

— Не может быть, — сказала Тамара. — Ты придумал. Я у себя ничего не нахожу.

— Никакого расстройтва? — переспросил Костомаров.

— А должно быть расстройство?

— Не уверен.

— Абсолютно никакого.

— Странно, — пробормотал он и добавил. — Это хорошо.

— А у тебя?.. Покажи?

Костомаров перевернулся на живот и уткнул лицо в крахмальную жесткую наволочку.

Он молчал.

— Дурацкие шутки, — сказала Тамара, вытягиваясь на простыне рядом. — Очередная блажь.

— А ты не боишься?

— Я тебе не верю, — сказала она.

— Ты хорошо ко мне относишься, — сказал он.

— Я не могу без тебя, — сказала Тамара, прислоня к его неподвижному, жесткому бедру теплый бок. — Мне холодно.

Распущенные, темные в темноте, волосы задели его плечо, и он приподнялся, приподнимая её, ласковую и податливую.

— Только бы не это самое... Только бы не сифон.

Молодая белокурая женщина-врач (днем к ней привел Дмитрия друг Ольшань) приветливо кивнула Игорю и отослала из кабинета сестру.

— Что случилось, малыши?

— Знакомься, — сказал Ольшань. — Дима Костомаров, мой приятель. Эта тетя будет тебя лечить.

— Что с ним? — спросила она.

— Думаю, ничего страшного, — уверенно произнес Ольшань.

— А если это... — сорвался Костомаров. — Если это, оно?

— Расстроенное воображение, — сказала доктор. — Но я хочу посмотреть. Обязательно, — добавила она, отметив понравившееся ей смущение Костомарова.

Игорь вышел в коридор, и Костомаров почувствовал себя уверенней, тем более, что первое оцепенение прошло.

— Интересный случай, — сказала милая доктор, рассматривая стеклышко на свет. — Не спешите одеваться, я бы хотела студентам показать.

Костомаров мгновенно вспомнил беспокойную стаю девиц в белоснежных коротких халатах, в кокетливых докторских колпаках перед дверью, и запротестовал с уверенностью, неожиданной для ситуации.

— Они ведь будущие врачи, — рассмеялась доктор. — Скоро примутся сами лечить.

— Только не меня, — пробормотал Костомаров. — Только не сейчас...

Негибкими от смущения пальцами он застегнул грубые пуговицы своих блеклых вельветовых брюк.

— Скажите, доктор, это...

— Надо попробовать кровь, — перебила она. — Сейчас пойдете в двенадцатый кабинет. Возьмите направление.

— Доктор! — взмолился Костомаров.

— До завтра я вам ничего не скажу.

— Но...

— И постарайтесь ничего не пить. Пиво особенно. Один день.

— Сделайте хоть укол, — неожиданно попросил он. — На всякий случай.

— На всякий случай избегайте контактов.

— А это излечимо?

— Что это! Что? — рассердилась она. — Идите, сдавайте кровь... Мы лечим всё.

Голубая игла воткнулась серьезно и опытно в видимую только пожилой сестрой вену. Сквозь тугую, несильную боль Костомаров ощутил, как из него потянули силу и болезнь, и увидел медленно поднимающийся в шприце красновато-черный столбик крови.

Ему сделалось нехорошо. И тогда, оттянув свободной рукой разношенный воротник свитера, он уколол щетинистым подбородком свою белую ключицу.

— Потерпи, — сказала сестра. — Потерпи, мой хороший. Ещё чуть.

Игорь ждал возле гардеробной, в коридоре, у выхода.

— Ты говорил с ней? — спросил Костомаров бледнея, и Ольшань поддержал его за острый локоть. — Она тебе сказала?

— Пока ничего. Успокойся. Кровь взяли на реакцию Васермана. Это делают в любом случае. Завтра будет результат.

По освещенной дневными лучами лестнице они спустились во двор. Костомаров глубоко вдохнул остывающий сентябрьский воздух. Осенние воробьи оглушили его.

— Надо будет отблагодарить, — сказал Ольшань.

— За лечение?

— Тебя уложат в больницу, если что. За осмотр.

— Сколько? — спросил Костомаров, запуская руку в пустой и непрочный карман.

— Она хотела бы пойти на американский балет, Баланчин приезжает. Билеты я достану, но их надо выкупить.

— Оба билета! — возмутился Костомаров. — Плати за себя сам.

— Наблюдательный мальчик, — сказал Игорь. — Не серди меня, не надо. И будь благодарным, ведь это я привел тебя к доктору.

— А ты не боишься заразиться?

— Брось сказать.

— Не сердись, Игорёха, — попросил Костомаров. — Я все ещё не могу опомниться... Если это сифон?

Старший брат Костомарова Толя, ещё молодой, но с глубокими залысинами выпускника физического факультета на загорелом лбу человек, возбужденно гремя многочисленными запорами, отворил обитую черным дерматином низкую дверь кооперативной квартиры и застыл на пороге удивленный и мало обрадованный появлением родственника.

— Проходи, — сказал он, одергивая мятую домашнюю куртку. — Какими судьбами, мимо шел?

— Нет, по делу, — отказался от предлагаемой формы Костомаров-младший.

Не разбирая замков, он захлопнул дверь и шагнул через коридор в комнату, из полумрака прихожей к свету и теплу.

— Не по погоде ты одет, — сказал брат Анатолий.

— А Маша где?

— В кино, — объяснил старший брат. — Мы по очереди ходим.

— А-а, сегодня, значит, очередь не твоя.

Лёха, трехлетний худенький ребенок, потрянув русыми кудряшками, не сводя с гостя голубых глаз, спрыгнул с дивана, и, прижимая к сердцу паровоз, кинулся на любимого дядю, застывшего в дверях.

— Не подходи, не подходи, — засуетился Костомаров. — Я с улицы. Простудишься ещё.

— Он закаленный мужик, — гордо пробасил Костомаров-старший. — Значит не в гости, по делу пришел?

— За деньгой.

— Так прямо и за деньгой, — не поверил старший брат неправдоподобной искренности младшего. — Если за деньгой, ты сначала бы чаю попил, телевизор посмотрел...

— Не-е, все точно, — сказал Дмитрий. — Десятка нужна. Выручай.

Во время разговора Костомаров-младший скромно жался у дверей. Не решаясь пройти вглубь комнаты, он стоял у притолоки, инстинктивно пригнувшись. Его угнетали расспросы брата и низкий потолок.

— Сколько ты уже не учишься, не работаешь? — спросил Толя, протягивая красную новенькую бумажку, с хрустом и легко поместившуюся в большой младшекостомаровский кулак. — Год?

— Больше... Но меня восстановят. Вот-вот... Я в деканат заходил.

— А если не выгорит?

— Уеду, — решительно сказал Костомаров Дмитрий, ощущая в ладони почти тепло. — В Краснодарский университет — там девушки самые клёвые в Союзе.

Дмитрий старался не дышать на брата и на племянника, сновавшего у ног.

— Дядя Дима, разверни конфету, — попросил ребенок, светловолосое чудо, Машкин сын Лёха, протягивая смятый трюфель. — Мама не разрешает мытыми руками.

Дрожа пальцами, Костомаров развернул вощенный фант и серебряную фольгу и, стараясь не коснуться осыпанной какао-пудрой конфеты, на раскрытой ладони протянул её малышу.

— Откуси, — предложил Лёха. — На пополам.

— А папе?

— Папе нельзя, он толстый.

— Ешь сам, Лёха, поправляйся.

— Непедагогично это, — возразил отец.

Лёха проглотил конфету и от радости доверительно укусил возлюбленного дядю за палец.

— Педагогично, непедагогично — дядя Дима решил.

Костомаров отдернул руку.

— Больно? — удивился Толя.

— Нет, не то... Я пойду.

Лёха удивленно смотрел вслед дяде, который сегодня был странным и малообщительным, разговаривал только с папой и не обратил внимания на новый паровоз.

Не брал я, не брал конфеты пальцами, — думал Костомаров, спускаясь в лифте, уперевшись лбом в створки автоматических дверей. — Не брал и не дышал. За что муки, а? Всё равно не поможет ведь... Что с ними со всеми делается, — он зажмурился от страха. — Сколько людей, сколько!.. Если у меня сифон.

Приятно утомленный и расслабленный, Дмитрий Костомаров обнимал уснувшую девушку Тамару. Её дыхание теплой струей растекалось по плечу. Знакомый аромат духов «Быть может...» смешивался с запахом лака для волос, подаренного им, Костомаровым, Тамаре ещё на 8-е марта, а также с кисловатым запахом её пота, с бедными запахами простого мыла и крахмала, — ими пахло, стиранное в механической прачечной, чужое постельное бельё.

Мы поженимся, — думал он. — Если это окажется у обоих. — И было странно решать что-либо за неё.

А Нина? Ведь я не могу жениться на двоих!.. А Натали? А эта немочка из Дрездена?.. У них ведь мужья. А у мужиков?.. Боже мой, сколько людей!

Ему вспомнился аналогичный случай в Риге (рассказывал Игорь Ольшань), когда из-за одной гастролерши влипли почти сто человек. Постель в тот момент показалась холодной Костомарову. Одновременно он почувствовал, рука затекла, и терпеть не стало сил. Не объясняя себе этой, неожиданно возникшей вдруг, потребности, он высвободил плечо, наполовину разбудив Тамару, и, укрывая её плотным одеялом,



успокоил теплой интонацией внезапно жесткого слова:

— Ухожу...

Не открывая глаз, она прошептала:

— Я с тобой.

— Спи, — сказал Костомаров, бесшумно одеваясь. — Спи. Утром Света придет.

На цыпочках он попятился к двери, глядя на спящую, глаз не в силах отвести от тела, закутанного в простыню.

— Я ведь на всё согласен. Пусть всё, что угодно, только не сифон.

Уже в метро, засовывая нагретый в пальцах зубчатый по краям пятак в узкую щель автомата, Костомаров услышал торопливые шаги за спиной и сбивающееся дыхание. Он шагнул, пересекая ногами луч света между фотоэлементами, но резкая рука легла на его плечо. Повернувшись, он узнал поэта Фиму Хорошего, упавшего грудью на автомат позади него.

Растерянный, Костомаров замешался и, получив лязгающими створками четыре удара по коленям, прорвался из автомата вперед, а затем мимо ошеломленной девушки-дежурной ринулся навстречу пассажиропотоку, нимало не обращая внимания на ее призывы не нарушать.

— Верните пятак, я передумал!

— Мы передумали, — поддержал его Фима, поэт и человек, способный оценить потерю пятака.

— Не будет вам, — сказала строго дежурная, скосив васильковые глаза в сторону приближавшегося милиционера.

— Делай ноги! — прохрипел Фима-поэт Дмитрию в ухо, проталкиваясь к дверям. — Скорее!

— Куда?

— К Натали, куда же ещё!

— Что стряслось? — задыхаясь, на бегу спрашивал Костомаров.

— Такое дело, — торопился поэт. — Полный сбор! Ей гудульскую керамику подарили, пивной набор. Кружечки — обалдеешь!

— Ну-у, — разочарованно протянул Костомаров, замедляя шаг в переулке. — Пиво я не могу.

— С ума сошел! Ведь ещё вчера...

— Не хочу я, не надо.

— Да как это не надо? Ты что?

Не сбавляя хода, Хороший распахнул тяжелую дверь старого подъезда и втолкнул Костомарова в полутемный вестибюль, где знакомые зеленогрудые кариатиды-русалки с завидной легкостью удерживали на длинных руках высокий прокопченный потолок.

Прыгая через две ступени пологой лестницы, они взбежали на площадку четвертого этажа и остановились перед массивной двустворчатой дверью с пыльным и недействующим почтовым ящиком — на нем ещё сохранились приклеенные когда-то вырезки с названиями газет — и старинным, на уровне носа, звонком с ручкой-ключиком и надписью в полукруге: «повернуть».

Дверь открыл моложавый капитан второго ранга в черном парадном мундире, с красными просветами артиллерии на жестких погонах.

— Знакомьтесь, — чирикнула Натали за его плечом, когда поэт и Костомаров, шумно дыша, ввалились в прихожую. — Это Алексей Сергеевич — виновник торжества!

— Что вы, Наталочка, — густо смутился подполковник и непривычно поправил ручку кортика, оперевшегося в бедро. — Вот, ведь заставила по полной форме... Праздник и парад!

— Ещё бы, — засмеялась Натали. — Сегодня пиво пьем!

Керамика, — зеленое на коричневом, — подаренная подполковником, показалась Костомарову симпатичной.

— Годится, — одобрил он.

Компания была легка и весела. Пили жигулевское пиво из пузатеньких кружек. В камине за чугунной решеткой трещали тонкие доски ящиков из-под болгарских помидоров, и светлое прозрачное пламя освещало большую, в три окна, комнату, похожую на зал антикварного магазина из-за обилия странных, необычных, иногда непонятных вещей, заполнявших пространство. А сама хозяйка — в шелковом гарнитуре, выполненном в ателье «Смерть мужьям», с копной светлых волос, обращенных в прическу стариком-мастером из отеля «Астория», веселым преподавателем школы парикмахерского искусства, — Натали казалась хрупкой, дорогой, умело поданной вещью. Её не терпящий возражений уговор заставил отхлебнуть из тяжелой кружки холодного пива, а не терпящий возражений жест увлек на пол, на ковер, к камину, заставил забыть среди прочих зараженную предполагаемой болезнью кружку и опуститься рядом, у ее ног.

Поклонник Натали, подполковник, настороженный непонятным ему значением костомаровского появления, старательно вертелся поблизости, наливал гостям пиво и гремел кортиком над головой.

Поэт Фима Хороший с аляповатым галстуком на шее под несвежим воротником вчерашней рубашки, с гривой каштановых волос, язвительно беседовал, взобравшись с ногами на тахту, с незнакомым молодым человеком, лицо которого бледнело в полумраке горбатым профилем, а руки нервно теребили ткань костюма.

— У Стравинского в «Черном концерте» столько иронии, — говорил молодой человек, упрямым ртом выдавливая точные слова, — что начинаешь сом-

неваться в элементарных вещах. Должен ведь быть предел?

Костомаров не дослушал его.

— Милый, — сказала Натали. — Эти дрова уже прогорели. Там, в прихожей, за комодом, должны быть ещё.

Дмитрий поднялся и, проходя мимо стола, не обнаружил своей кружки, отхлебнул пива из чужой.

Что же это делается, что делается... — думал он, прикрывая за собой дверь.

В темноте прихожей, распластавшись по стене, он искал на ощупь выключатель, когда, блеснув на мгновение алым светом, кто-то бесшумно выскользнул из комнаты в коридор.

— Не включай, не включай, — услышал он быстрый шепот Натали. — Протяни руку, где ты?

Он повиновался.

И она сама, обнаружившаяся рядом, приблизилась и, сбивая с толку пряными запахами, волнением и шелестом непонятных слов, ткнулась в его грубошерстное плечо.

— Я посылала Ефима найти тебя, — сказала она. — Почему молчишь? Ты даже не оправдываешься, негодник!

Что же со мной? Боже, что я делаю? — целуя ее глаза, думал Костомаров. — Только бы не это... Только бы не сифон.

Уже под утро, разменяв у шофера такси десятку и расплатившись по счетчику, плюс почти тридцать копеек на чай, Костомаров вошел в сумрачный подъезд родного дома, зябко оглянувшись в дверях на серое, затянутое утренней ватой небо, и по влажным ступеням неторопливо и как бы осторожно поднялся на самый верх. На цыпочках он приблизился к безликой стандартной двери своей квартиры и специально

заточенной монетой без особых усилий открыл хитроумный австрийский замок.

Раздевшись в темной прихожей до трусов и не зажигая свет, легко шлепая босыми ногами по паркету, он прошел в комнату, уже освещенную сентябрьским мутным рассветом, и мимо двуспальной высокой кровати с металлическими никелированными спинками и обилием аляповатых украшений — дуги и шишечки, — на которой спали родители (из-под одеяла высовывалась в голубом белье мохнатая отцовская нога), последовал к письменному столу. Там, в углу, белела на раскладушке заботливо приготовленная матерью постель. Отогнутый край пододеяльника манил призывно.

— Спать...

И уходя в прохладную пену простыней, накрывшую с головой, Костомаров ещё смутно припомнил, что завтра необходимо куда-то идти, кажется, к врачу... Ну, конечно, к врачу.

Сколько же я натворил сегодня, — подумал Костомаров устало, с бесстыдной ясностью и осознанием содеянного. — Но ведь я не хотел. Почему?

Качаясь лицом, по желтой шторе проплыло смутное, неясное, но укоризненное изображение Тамары в подвенечном платье, еще кого-то, брата Толи с Лёхой на руках — интеллигентный ребенок любопытно смотрел на любимого дядю, сжимая в белых пальцах паровоз; зазвенел, выхваченный из ножен, кортик подполковника; упала, разбилась кружка, рассыпались керамические брызги, — коричневое на зеленом, — вокруг спорили друзья; Натали улыбаясь сидела на полу возле прогоревшего камина; пиво плескалось, пенилось, его было не удержать. Оно заполняло комнату. Уже не пиво, а вода. Уже не комнату Натали, а костомаровскую утреннюю комнату. Грязная вода с хлопьями серой пены, она растекалась и топила...

Что же это со мной? — подумал Костомаров. — Что?

— Ну их всех к черту, — прошептал он, засыпая. — Что же со мной будет, а?.. Только бы не сифон, только бы.

Тщательно выбритый, выспавшийся и почти веселый, по солнечной улице, — ветер с севера к полудню разогнал облака, — Костомаров подошел к грязновато-желтому зданию диспансера. Игнорируя дверную ручку, избегая прикосновений, он брезгливо ткнул входную дверь ногой, по знакомой лестнице поднялся в светлый, оливковый коридор и, пройдя несколько шагов, присел у двери третьего кабинета, остановленный световой табличкой «занято».

Поерзав несколько минут на маленьком, почти детском белом стульчике, испытывая некоторую физиологическую потребность, сопутствующую нетерпению, но не решаясь воспользоваться местным санузлом, Костомаров принялся ходить по коридору, стараясь как можно более бесшумно ставить ноги на продавливающийся линолеум, дабы не вызвать нареканий сновавших мимо нянечек и сестер.

Дверь третьего кабинета отворилась, когда Костомаров по случайному совпадению проходил мимо, и вышедший в коридор кургузый мужичишка столкнулся с Дмитрием грудью, отчего Костомаров, вдруг испугавшись, отскочил, попятился, мгновенно вспоминая: коснулись они друг друга или нет. Мужичишка тем временем проследовал в лабораторию.

«Сифилитиков тут не держат, — успокоенно подумал Костомаров. — А триппер пустяк. Три укола и всё. Насморк».

Вчерашняя блондинка — врач — улыбнулась из-за стола призывно, заходите, мол. И Костомаров вошел в кабинет, прикрыв за собой дверь.

Её свежештукатуренное лицо не содержало выражения, загадкой оставалось, как и где она провела ночь. И Костомаров, отбросив предположения по поводу Олышаня, присаживаясь в кресло возле стола, указанное неторопливым жестом, весь обратился в слух, почти заискивающе изобразил на лице внимание, ожидая приговора из уст белокурого сфинкса.

Решалась его судьба.

— Как вы себя чувствуете? — спросила она.

— Спасибо, доктор, хорошо. Так что же со мной?

— Еще не знаю. Сейчас посмотрим.

Протяжной рукой, так что распахнулась верхняя пола халата и мелькнуло розовое кружево белья над смуглым телом, она взяла стопку голубых листков с результатами анализов и принялась разбирать их, поднеся близко к глазам.

— Сейчас посмотрим, что у вас... — произнесла она почти по слогам.

Притянутый, как дурным магнитом, теплым видом смуглой докторской груди, Костомаров придвинулся к столу, сжимая побелевшими пальцами острый угол ребра.

Какая она славная, — думал он. — Необыкновенно славная... Я ведь и сам достану билеты на нью-йоркский балет, если все будет хорошо, если обойдется... Боже мой, только бы не сифон.

## НОВЫЕ СТИХИ

### ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

I.

*Н.*

От кленовой разлапины,  
далеко перетлевшей во мгле,  
уцелевшие крапины  
на чужой полулевой земле,  
утопающей в зелени  
и слепящей в щелях жалюзи,  
— то к античной расщелине  
притулимся в замшелой грязи,  
то лекалом бездонного  
нас канала потянет под мост,  
где на клюве у лебедя сонного  
костяной громоздится нарост.

*4 марта*



## II.

В дни апреля, на сломе их  
я увижу, заснув вдалеке,  
как мы в шляпах соломенных  
в полдень с пляжа плелись в Судаке  
вкривь тропую подгорною  
к глинобитной хибаре Бруни.  
Будто музыку черную,  
все последние дни  
я в ветвях перекошенных  
слышу хрипы про милый предел...  
Словно русские гнезда, заброшены  
в них терновые комья ошел.

*8 марта*

## III.

Звезды южные в инее  
узнаваемом, но  
их не знаю по имени,  
ибо каждое странно, чудно.  
Лишь одно утешительно,  
что не сеять, не жать,  
а под ними решительно  
в черной яме лежать  
победителем-неучем,  
забывающим честно словарь,  
понимая, что не о чем  
говорить — сквозь трухлеющий ларь.

*8 марта 83*

ПЯТИКОНЕЧНОЕ...

*Кобе\**

1.

С бабьей рожей Щербаков,  
красной, как империя.  
С жабьей рожей Маленков,  
с бабьим задом Берия.

У Лысенко ананас  
к брюкве прививается.  
Хитроумный Анастас  
в коньяке купается.

Трепака сплясал Булган  
с трепачем Никиткою.  
Отойти б на задний план  
поскорей под пыткую!

Дачи кунцевской подвал,  
что на ней за жители?  
На ковер, хрипя, упал  
вождь в мышинном кителе.

2.

От Оби — до Иртыша  
под пятьдесят мороз.  
Словно в меду, душа.  
Солнце твердо, что воск.

---

\* К тридцатилетию со дня смерти.

Тряпку сорвать с лица.  
Лечь на железный снег.  
И вспоминать *о т ц а*  
хриплый марксистский сленг.

3.

Его Мандельштам обозвал осетином.  
И вдруг замелькали где ямой, где клином,  
зажатые между бездонных кулис,  
Нева и Воронеж, Москва и Тифлис,

и снежною шапкой слепил Арарат.  
А ты и того не сподобился, гад.  
Валяйся во прахе, моче и грязи,  
кремлевский кирпич до рассвета грызи.

4.

Таинственно хочется жить.  
По снежному лесу кружить.  
Лизать на морозе топор  
и, прежде чем щелкнет затвор,

всосаться в кремлевский гранит,  
где в стлевшем мундире дрожит  
с оспянкою прах старика...  
Чтоб по́нову, наверняка!

5.

В серебристом бору индевеют шинели  
на имперском ветру.  
Спи, тиран, в обгаренной шелками постели.  
Это нам по нутру.

Наконец захлебнулся акцент инородца,  
и не раз и не два  
заставлявший и твердых в застенках колотьяся.  
Оспяная сова,

ты ответишь еще и за то, что облапил  
всенародно девчурку из горстки живых,  
и за кровь убиенных — которую запил  
осетинских барашков своих.

*1979-82*

## МУХА У КАПЛИ ЧАЯ

4

Наконец Человек выкарабкался окончательно, так он решил. Галлюцинации больше не повторялись, головные боли почти полностью пропали. Он понимал, что рецидивы возможны, но верил, что кризис позади. Он физически окреп настолько, что решил даже восстановить прерванные болезнью связи с приятелями.

Была между тем уже зима, настоящая, серебряная, солнечная, с обжигающими морозами и красногрудыми снегирями на заснеженных ветках.

Как-то незадолго до Нового года Человеку позволил его приятель, инженер, и пригласил на новоселье. Инженер этот родился и вырос в старой Москве на Большой Полянке, ныне же переехал в Москву социалистическую, смявшую окрестные деревни и построенную по типовым проектам.

Общество на новоселье было интеллигентное, служивое, но песни блатные.

— Ой, мама, — пел под гитару доцент, специалист по радиоэлектронике, — ой, мама, ты совсем уже седая, зачем же ты у папы на груди... — а потом ударил по деке гитары и припадочно закричал: — прием меры против Веры, заявили милиционеры...

— Сулейман, — визгливо хохотала, перегнувшись через стол, крашеная блондинка, — Сулейман, налей между собой и Коганом коньяка, чтоб между вами протекал Суэцкий канал...

---

Окончание. Начало см. в № 35.

Кто-то рассказывал:

— Не знаю, пойдет ли она за меня в огонь, но в воду пойдет, конечно, морскую, и если это, конечно, Сочи.

Человек запоздал и приехал, когда уже не говорили, а кричали и хохотали. Ели и пили много. Вкусна чужая еда и выпивка. От сигаретного дыма и выпитой рюмки коньяка у Человека началось сердцебиение. Он невпопад совал вилкой, чтоб получше закусить, как вдруг увидел, что за противоположным концом стола сидит Сапожковский, делает ему какие-то знаки и улыбается. А рядом с Сапожковским Аптов. «Как нехорошо, — подумал Человек, — надо бы подойти, объяснить», — но не подходил, а пил рюмку за рюмкой, чокаясь неизвестно с кем. Какие-то лица лезли к нему в друзья, и он уже поцеловал в шею крашеную визгливую блондинку. Говорил он и с Сапожковским, но это был легкий пенистый разговор. Однако, когда Сапожковский появился в распахнутой дубленке, очевидно, чтоб проститься, и ведя об руку Аптова, одетого в пальто с бобровым воротником, Человек всполошился и вдруг предложил свою помощь. Аптов явно перепил, шел спотыкаясь и волоча трость.

— Да, да, — сказал Аптов, медленно подняв голову с груди своей, — пусть проводит... А то скрылся... — и он незаметно подмигнул Человеку.

Чем-то романтически-опасным повеяло на Человека, и воспоминание о несильной боли, которую причинил ему Аптов, ожило... Танцующие босые нимфы с одной грудью, слегка прикрытой, другой обнаженной, люди-кентавры с лошадиными бедрами, ангелочки с толстыми розовыми попками... «Надо все пережить, все испытать... античный человек понимал это... Не было ни гражданских, ни товарищеских судов, а было судилище в форуме. Там осуждали за богохульство, но не за наслаждение, совершенное по доброму согласию».

Страшен соблазн, когда все совпадает, все решается само собой и все боковые тропки ведут к нему... Когда все телесно... Когда коньяк обманул разум, вкусная еда возбудила желудок, когда все набухло, все разрыхлено... Когда привлекают не плоды дерева жизни, а его корни. Живые корни, подобно змеям, копошатся во тьме. Между змеей и сладким яблочком греха прямая связь. А погибель-изгнание за горизонтом, до которого еще надо дойти-дожить...

На улице, на освежающем морозе Сапожковский шепнул Человеку, перед тем как усадить его и Аптова в такси:

— Вот удружил. У меня тут дама червей, а я козырь. Надо покрыть, — потом он обернулся к Аптову, — ну как, Леон?

— Немного перебрал, — ответил Аптов, шумно дыша, — давно так не излиществовал. Но иногда надо...

Такси поехало, выбралось на шоссе и понеслось сквозь косую толщу снега.

— Обожаю поизлиществовать, — сказал Аптов, — но не всегда это возможно. Ограничен степенью изношенности сердца... Ну, как ваш проект памятника сердцу? — спросил он вдруг, — ваша скульптура на бумаге в стиле Жуковского. Надгробье юноше по имени Аноним?

— Давно в мусорной корзине, — ответил Человек, — чувствую я себя гораздо лучше.

Разговор волновал его, как и то, что они несутся во тьму, сквозь снег.

— Напрасно, — сказал Аптов, перебирая пальцами серебристую копию своей головы, — кое-что следует брать оттуда сюда, даже когда мы возвращаемся... Сердце — это бомба замедленного действия, заложенная в нашу грудь... Нет боли сильнее сердечной. Я испытал всякую боль. На фронте был четыре раза ранен. Два раза тяжело. Первый раз из крупно-

калиберного пулемета правую руку прострелили. Я в авиации был. Потерял управление, упал. Мне повезло, сбили свои по ошибке. Вылечили, опять повезло. Попал в ночные бомбардировщики. Это теперь приборы ночного видения и прочее, а тогда ночью сбивали гораздо меньше. Пока тебя прожектор поймает да звукоулавливатели расслышат... Все-таки был еще трижды ранен... Но сердечная боль гораздо сильнее... Настоящая сердечная боль... Вот сейчас тоже колет сердце, но это не то. Приму лекарство, пройдет. У меня дома хорошее лекарство... Но не для настоящей боли. Настоящая сердечная боль, настоящий инфаркт, это непередаваемо... Начинается в области сердца, потом в левой руке, потом в правой. Неимоверно сильно болит голова... Я возвращался с работы, поднялся на третий этаж по лестнице... Чувствую, кольнуло сердце... Принял валидол. Не проходит, принял опять. Вдруг кольнуло совсем сильно, тогда незнакомо... Я быстро к дверям, не позвонил, а позвал жену... Была у меня тогда жена, была пятилетняя дочка... Позвал жену... Она услышала, открыла... «Что с тобой, — говорит, — ты бледный». — «Что-то с сердцем», — отвечаю. Вдруг боль стала предельной. Я упал, потерял сознание. Три часа не могли снять боль, когда очнулся. Лежал много дней на спине, медленно шевелил руками... Вот что такое сердце... А мы не щадим себя, всё хотим острого соуса...

Этот разговор был гораздо неожиданней, чем если б Аптов вдруг залаял. То, что Аптов был летчиком, воевал, имел ранения, пережил инфаркт, был женат, сделало его менее интересным, точно разоблаченным, и Человек пожалел, что оставил ради него общество.

Когда приехали, Человек взял из рук Аптова буфаторскую трость и помог войти в лифт.

Аптов жил в маленькой, однокомнатной квартире, небогато обставленной. Единственная ценность — боль-



шой, цветной телевизор, тогда редкость в советской квартире. Не снимая пальто, Аптов взял из аптеки какие-то таблетки, принял.

— Сейчас станет лучше, — сказал он и улыбнулся жалкой больной улыбкой, — хорошо, когда в доме есть нужные лекарства...

Сняв пальто и положив его тут же, на пол, он уселся на диван.

— Вот, купил цветной телевизор, — сказал он, — радость одинокого... Нет, что-то я сегодня лишнее перепил, тошнит... Пойду в ванную...

Он ушел, а Человек уселся на стул и стал ждать. Где ты, серебряный сатир, где ты, ночь одуряющих ощущений? Человеку было обидно, ибо он считал, что уже согрешил, решившись... Но согрешил, не получив награды. Человек услышал стук в ванной, видно, Аптов что-то уронил. Прошла минута, другая. Аптов не возвращался. Он уже некоторое время корчился и хрипел на полу ванной, но разочарованному Человеку казалось, что это хрипит плохо закрытый кран. Потом, пытаясь вызвать по телефону «скорую помощь», Человек обнаружил, что не знает адреса... Пока бегал к соседям, пока приехала «скорая», Аптов уже затих.

Так умер бывший летчик, позднее сатир-психиатр Аптов, и так змея сама съела яблочко, перед самым носом у обманутого Человека. С этого момента Человек перестал верить в грех как в творчество, а начал искать в нем лишь забаву. Это значит, что он практически был здоров и способен выполнять свои обязанности перед обществом. Он обрел уверенность в себе, начал ходить на плаванье в бассейн, занимался гантельной гимнастикой и за черным кофе поучал: «Отношения в семье должны быть не психологической драмой, а опереттой».

Так вместе с чувством греха ушло и чувство святости, ибо грех есть тень, которую отбрасывает свя-

тость. Над античным миром солнце все время стоит в зените. Космогония античных чувств предельно ясна, и свет там отделен от тьмы. Вот почему возмущается император язычников Юлиан библейской версией о сотворении мужчины и женщины. «Бог говорит: «Не хорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему», — а эта «помощница» решительно ни в чем не помогла ему, обманула его и стала причиной того, что и он и она были изгнаны из рая и лишились райского блаженства». Причем под блаженством античный характер всегда понимает наслаждение красотой. Мир же современного «античника» — это мир, где гармоничная красота заменена негармоничным эстетством.

Человек наш на новой, нынешней спирали своей опять сошелся с «античником-эстетом» Сёмовым, приятелем, который появлялся в его жизни, когда он уставал от размышлений и чувствовал необходимость поглупеть. Сёмов, не очень красивый, бедный парень, привлекал женщин легкостью отношений, которых многие женщины жаждут как отдыха от бесконечных обязанностей. Сёмов понял: для того, чтоб не бояться жизни, надо над ней насмеяться. Собственно, Сёмов понял то, что в один из прошлых периодов общения ему подсказал Человек. Но он хорошо усвоил урок и развил это учение так, что самому учителю приходилось идти в подмастерья к бывшему ученику.

Они проводили дни, прогуливая друг друга по бульвару, особенно по Тверскому, лучшему бульвару Москвы. Они прогуливали друг друга и смеялись над немощными стариками и старушками на скамейках, растратившими силы за годы, деленные на пятилетки. Смеялись над некрасивыми, слишком тонкими, спичечными или слишком толстыми, рояльными ногами проходивших девушек, которые явно жаждали любви или хотя бы знакомства. Однако для знакомства существовали другие, волоокие, с распущенными волосами,

мелкозубые с маленькими носиками, цыганистые украиночки, татаристые уралочки и прочие дамы полутьмы, лучшего времени для знакомства на панели.

Май был очень теплый, и улица Горького, бывшая Тверская, стала вдруг похожа на южную набережную. В полночь она все еще была заполнена шумной, цветастой, сочинской толпой. Появилось много красивых полураздетых девушек и липких юношей. Похоть витала в теплом ласковом воздухе, особенно у фонтанов. Однажды Человек видел, как у фонтана стоял слепой с букетом белой сирени, видно, ожидая женщину, и этот образ запомнился, несколько утяжелив происходящее. Человек остановился неподалеку и стал наблюдать, отказавшись идти с Сёмовым, который познакомился с двумя литовскими циркачками. Сёмов махнул рукой и ушел. Они повздорили. Сёмову накануне отказала женщина, которой он давно добивался. Было и такое с ним. Теперь Сёмов планировал пустить в определенных кругах слух, что у женщины этой на спине большая бородавка. Но это удовлетворило его лишь отчасти, и он был раздражен. Человек в одиночестве просидел у фонтана и ушел при погашенных фонарях одновременно со слепым, выбросившим букет белой сирени в урну, которую нащупал палкой. Однако происшествие это промелькнуло лишь мимолетным облачком, вернее грозовой тучкой, дурным сном, давно не беспокоившим. Пришла покойная мать, начала мыть ноги из шланга в саду, потом полил сильный дождь (Человеку часто снился дождь), полил дождь, который, падая на землю, превращался в пар, потому что земля раскалялась сильнее и сильнее. Все заполнилось паром, и мать сказала: «Сынок, это конец света». Тогда материальное серое исчезло, и во сне возник цвет. Ярко и густо голубое небо.

«Нет, хватит Шопенгауэров, — вспоминая сон и жуя завтрак, думал Человек, — хватит диалогов с покойниками... Жить надо в другом жанре».

Он позвонил Сёмову, и они продолжали прогуливать друг друга, ища добычу. Вот что стало с «воздушным испанцем», когда лопнули его шарики, наполненные снами, и он опустился на бренную нашу землю, обманутый и истинной любовью и истинным грехом. А как же завернутые в тряпицу золотые овечьи глаза, вынесенные им из краткого проживания в веках давно минувших? О них он сейчас не думал, как бедняк не думает о золотых монетах, далеко запрятанных на случай последней беды. Однако до последней беды, как ему казалось, далеко, ибо он был практически здоров. Вернее, практически выздоровевшим, что не одно и то же. Кто хоть раз покинул нашу тучную кормилицу-землю, тому уж не вернуться. Он может выбраться рядом на зыбкую землю, он может существовать недалеко, на болотистой почве, но нога его более не коснется того, что дается один раз. Здоровый, целинный разум, здоровое бычье сердце, здоровый полнокровно-молочный инстинкт продолжения рода... А потерял — спасайся духовным... Это два берега. Один наш, близкий, людской, второй далекий, Божий... Но редкий смельчак отважится далеко заплывать. Большинство плещется на отмели. А бывает, доберется человек до середины, и силы оставляют его, и понесет течение, стремнина... Пропал, погиб человек...

— Погиб человек, — говорил Сапожковский, — талантливый, умный и погиб. Умер в 59 лет.

После смерти Аптова Сапожковский исчез надолго, и, когда вдруг позвонил, Человек уже отвык от его голоса и с трудом узнал. Они встретились в привилегированном ресторане, куда вход был по пропускам.

— Погиб Леон, — говорил Сапожковский, — до сих пор не могу поверить.

— Ты точно в чем-то меня упрекаешь, — сказал

Человек, — но я сделал все, что мог. Я даже адреса не знал.

— Нет, все мы виноваты, — вздохнул Сапожковский, — тем более, второй инфаркт. Врач сказал — если б даже вовремя «скорую» вызвали, все равно не спасти было. Погиб талантливый ученый, замечательный врач-психиатр, погиб много переживший и перестрадавший человек. У него, говорят, были слабости, дурные склонности определенного качества. Может быть. У нас вообще видят преступления там, где просто несчастье или слабость... Ах, Боже мой, Боже мой...

Сапожковский как-то уж слишком постарел и обабился. Говорил со вздохами, с причитаниями, прижимал ладони к груди и изрядно надоел Человеку, пока перешел наконец к делу, по которому, собственно, звонил. Оказывается, Леон Аптов незадолго до смерти составил завещание (знал, что тяжело болен, готов был к смерти), и по этому завещанию трость с серебряным набалдашником в виде головы предназначалась Человеку.

— Не пойму, почему, — говорил Сапожковский, — общался он с тобой мало. А я за эту трость готов любые деньги...

— Нет, зачем же нарушать волю покойного, — ответил Человек.

Трости у Сапожковского с собой, разумеется, не было. Поехали на дачу. Кабинет, где когда-то принимал Человека Аптов, опять был переоборудован Сапожковским для своих нужд. Над письменным столом висела большая литография, на которую Человек сначала глянул мельком, а потом остановился и долго ее разглядывал.

Была изображена дикая скалистая местность. Высокие орлиные места. Камни. Мускулистый, в одеянии античных времен мужчина стоял, крепко упираясь ногами, в боевой позе гладиатора, сжимая длинный

острый нож. Чуть выше его, тоже в боевой позе, приготовилось к прыжку существо, которое можно было бы назвать женщиной, если бы вместо рук у нее не было бы широко распростертых орлиных крыльев. Тело амазонки-орлицы было тоже мускулистым, но по-женски изящным. Одна нога согнута в колене, другая вытянута для толчка. Длинные, огненно-рыжие, почти красные волосы. Лицо не злое, ибо в злобе есть хоть какой-то контакт, а скорее безжалостное. Черты лица правильные, женские, но птичьи. Впрочем, такие женские лица бывают и в быту. На зеленоватой коже хищные, неподвижные, целеустремленные глаза. А вокруг другие орлы, обычные орлы, возможно, из одной стаи с этой женщиной, однако они заняты своими делами. Кружат, чистят перья. На смертельную схватку мужчины и женщины-орлицы не обращают внимания. Все напряжено, все за секунду до крови, до смертельного удара. Вонзится ли отточенный нож мужчины в упругое соблазняющее тело или, сбив врага ударом крыла, женщина полакомится его глазами и печенью?

— Что это? — спросил наконец Человек у Сапожковского, поднявшегося снизу с тростью.

— Ах, это, — улыбнулся Сапожковский, — не правда ли, символично? Но непонятно, что она защищает. То ли гнездо, то ли тело... Какой-то немецкий экспрессионизм... Немцы любят эстетизировать ужасное... Большие деньги заплатил...

Человек взял трость из рук Сапожковского и молча вышел.

И с тех пор трость стояла у него в углу комнаты, в специальной подставке, недалеко от ложа, и он вешал на нее трусики своих любовниц, самую, как он считал, прекрасную часть женского туалета. Легкие, как паутинка, шелковые, гладкие, как атласная кожа на животах и попках, с волнующими кружевами, телесного, голубого, розового цвета. Серебряный про-

филь исчезал под волшебной тканью, а когда появлялся вновь, едкий серебряный рот, растянутый в улыбке, был чуть-чуть более округл, как у насытившегося гурмана.

Так шло время, и Человеку все более и более нравилось жить. Казалось, еще немного, и он увидит над собой истинно античное солнце, застывшее в зените. Однако мешали происшествия с насекомыми. Надо сказать, что из прошлой, проклятой им жизни он унаследовал привычку разговаривать сам с собой. Привычку эту можно было бы считать не вполне здоровой и нормальной, если б ей не было подвержено слишком большое число людей разного возраста и звания. По крайней мере, в многомиллионной Москве можно часто встретить человека, идущего по улице и при этом беседующего с собой. Причем беседы эти иногда сопровождаются жестами, движениями рук, плавными или резкими в зависимости от темы.

Так вот, однажды, в довольно приятном настроении Человек шел по улице и беседовал с собой о своих взаимоотношениях с тростью, которая постепенно становилась все требовательней и не всегда удовлетворялась качеством повешенных на нее женских трусов, что видно было по форме рта, который вместо округлости приобретал линию острую, наподобие лезвия.

Кстати, творческая жизнь Человека, которая ранее подвергалась критике, теперь вполне удовлетворяла общество, ибо не все виды психического расстройства для общества опасны, а некоторые даже полезны. Когда Человек написал большую проблемную статью под названием «Без трусов», то ее мигом напечатала солидная газета, правда, под названием «Наращиванию мощностей легкой промышленности высокие темпы».

Постояв в короткой, приятной очереди к окошку кассы, где солидная газета выплачивала солидный го-

норар в надежные руки, и нанюхавшись денежных запахов, вопреки утверждению Маркса о том, что «деньги не пахнут», Человек вышел на улицу и затеял очередную беседу с собой. Сегодня вечером он надеялся повесить на трость высококачественные импортные кружевные трусики волнующего черного испанского цвета и тем помириться с серебряным партнером. Так беседовал он, идя полуденной, обдуваемой свежим ветром столицей, как вдруг неизвестная муха пулей влетела в его открытый рот и он ее мигом проглотил, от неожиданности не успев выплюнуть. Брезгливость, стыд, жалость к погибшему насекомому, которое прощекотало нежными лапками по гортани, тщетно пытаюсь удержаться, спастись, и теперь жадно заглатывалась его питоном-кишечником, весь этот сонм чувств овладел Человеком, заставил его остановиться и в усталости сесть на скамейку. Где прежняя легкость, еще минуту назад наполнявшая его? Где античное солнце в зените? Где овеваемая прохладой уютная Москва? Перед ним опять был город его недавнего прошлого, с нервными, дурно одетыми, усталыми прохожими, с громыхающими самосвалами, полными липкого грунта, с разрытыми, постоянно перестраивающимися улицами, где посреди мостовой нередко можно увидеть труп убитого животного, собаки или кошки, лежащий так же привычно на виду у прохожих, как и тела алкоголиков. Ему стало внезапно плохо до обморока, и он впервые за много дней полез под рубашку проверить, хранился ли неприкосновенный запас: золотые овечьи глаза, завернутые в чистую тряпицу. Они были на месте, и Человеку полегчало.

В этот вечер трость не получила обещанных ей кружевных, испанских трусиков, и, лежа без сна, Человек видел, как она скалится из темноты в углу комнаты.

— Перестаньте злиться, Аптов, — говорил Чело-



век, — вы обманули меня гораздо сильнее в тот вечер вашей смерти... И посмотрите, чем я стал теперь... Я растрочен мелкой монетой... Медью, которую раздают нищим... Можете вы мне помочь? Только без всякой философии... Нет или да?

— Да, — ответила трость.

— Как? — спросил Человек, — что мне делать?

— Завтра иди на рынок и купи себе груш...

— Груш? — удивленно переспросил Человек.

— Только хороших, дорогих, пахнущих медом груш...

— Это значит сорт «Бере-Боск»? — пожелал уточнить Человек.

Однако трость более ничего не ответила.

## 5

Было третье июля, сезон для груш в средней полосе России не совсем подходящий. Но можно было купить груши привозные, крымские, кавказские или из южно-мусульманских республик. Человек наш знал толк в грушах и, покупая, поедал их сознательно, то есть понимал, какой сорт употребляет.

Когда жива еще была его мать и Человек существовал далеко отсюда, в местах иных, на другой планете, в саду их возле дома было два грушевых дерева — одно породы «Бере-Боск» и второе породы «Сен-Жермен». Было и несколько сливовых и вишневых деревьев, росли кусты малины... Сад был маленький, в пределах допускаемой социализмом частной собственности, но ухоженный и любимый... Жив был и отец, агроном с загорелой лысиной и в вышитой рубашке. Мать тоже носила платье с вышивкой, домотканное, льняное...

Детство наше, пахнущее маринованными грушами. Почему мы не умираем пятилетними ангелочками?

Зачем нас изгоняют оттуда, где мы предмет для любви, туда, где мы предмет для потребления? Зачем идем мы по следам отцов своих? И почему, мама, ты укра-ла Божье яблоко, когда вокруг столько людских медо-вых груш?

Человек сразу увидел, что искал. Конечно, это не были те груши его детства, большие, мягкие — масло с медом... Да и не «Бере» пожалуй, а «Дюшес»... Од-нако в период вторжения мичуринской науки в при-роду и на том спасибо.

Груши продавала веселая баба с большим ртом, куда она клала, очевидно, ею по-хозяйски выпечен-ные и привезенные с собой блины. Загорелой рукой с темными бронированными ногтями она брала оче-редной блин из алюминиевой миски, макала его в алю-миниевую миску со сметаной и клала в рот, ловко отирая пальцами губы. Второй рукой она отгоняла ос, стаяй носящихся вокруг и садящихся на груши.

— Мелковаты груши-то, — вступил в торговые отношения Человек, также отгоняя ос, которые нача-ли виться возле его лица.

— Самые подходящие, — охотно отозвалась ба-ба, — вот тюрьма велика, а кому она в радость...

«К чему о тюрьме, — подумал Человек, — какое отношение имеет тюрьма к покупке груш?» И в этот момент он почувствовал сильный укол в затылок. Место вокруг укула начало тут же чесаться и пухнуть.

— Что, — засмеялась баба, — уже укусила?

Она сказала так, словно была хозяйкой не только груш, но и ос и гордилась их ловкостью и умением, как гордятся в хозяйстве хорошим сторожевым псом.

Человека давно не кусали осы или пчелы, он и не помнил когда, так что этим укусом он был удивлен и встревожен. Купив груш и вернувшись домой, он даже записал в блокнот: «Сегодня, 3 июля, меня укусила в затылок оса. К чему бы это?»

Он еще не знал, что третье июля — это день рождения его будущей жены, с которой он познакомится через тридцать три дня. Он не знал, что впереди его ждут не телесно-античные удовольствия, а новый труд и новая борьба. Неужели умрут и эти годы нашего Человека, последние годы, отпущенные ему перед старостью? Неужели вереница дней и ночей будет подытожена осой у капли меда или варенья? О том не знает и серебряный набалдашник Аптов, не простивший Человеку черных испанских трусиков Афродиты из кордебалета. «Чем окончится, неизвестно, но пусть теперь трудится, — злорадно думал Аптов, — пусть вместо солнца в зените горит над ним электрическая лампочка ночных семейных отношений, пусть выбежит он босыми ногами на ночной снег, как выбежал когда-то я вслед за женой, собравшей свой чемодан, пусть свалится он после этого в психозе. Но не в психозе неофрейдистов и экзистенциалистов, а в нашем советском психозе профессора Мясищева, изгнавшего из советской психиатрии буржуазные теории и считающего, что психоз есть результат пренебрежения человеком коллектива, каковым является и советская семья. И пусть после этого жена, пользуясь связями папы-генерала, сдаст Человека в привилегированную Кремлевскую больницу с черно-красной икрой к завтраку, в кремлевскую психлечебницу, где лечатся перенапрягшиеся на партийно-советской работе шизофреники. Пусть вылечат его там шведскими препаратами, после чего он с женой поедут туристами за границу на Олимпийские игры, где, дружно аплодируя, будут кричать «нашим парням»: — Мо-ло-дцы!»

Да, так оно произойдет, так свершится, как задумал злопамятный покойник. Что защитит, что спасет беззащитного Человека? Опять ничто, кроме зеленого стебля легенды.

Нет, не побежит он босыми ногами по снегу, унижаясь перед беломясой, грудастой, попастой генераль-

ской дочерью-сударыней, красавицей-барыней. Сам уйдет он в ночь, не взяв с собой ничего, с легкими руками, унося лишь на груди золотые овечьи глаза, завернутые в тряпицу. Будет искать он суженую свою повсюду и наконец найдет овечку свою, идущую мимо из-за слепоты своей. Тогда вытащит Человек тряпицу, развернет ее и вставит живые золотые глаза в пустые овечьи глазницы, в обглоданный волками овечий череп. Мигом покроется овца вновь мягкой шерстью и увидит его и скажет:

— Вот он, суженый мой. Пятнадцать веков я сидела у могилы твоей, где ты лежал удушенный, растерзанный на части за грехи твои и за беснование твое. Но разверзлась темница твоя, могила твоя, и пришел наш час. Вот солнце вечное, неподвижное горит над нами в зените...

Так шелестит зеленой листвою легенда. Мы, однако, знаем, что живем в мире, где восход солнца связан с его закатом. Удлиняются тени, кончается жизнь. Сдержим же и мы дыхание, глядя, как жизнь выходит за пределы вероятного, за пределы своего конца, туда, где затихают волны бытия и кроткая тишина нарушается лишь чудесным свадебным гимном в честь двух душ, мужской и женской, которые, пройдя через мучения, нашли друг друга.

*Январь — февраль 1982 года  
Западный Берлин*

# СТИХИ.

Александр Д о н д е

\* \* \*

Когда на исторической эмблеме  
Мы видим наши лучшие умы,  
Кто Маркс из них, кто Энгельс, Герцен, Ленин,  
Узнать уже не в состояньи мы.

Наш бородатый идол, верный счастью  
Всеобщему, свободный, как гранит,  
Другою обернувшись ипостасью,  
Сквозь Вену, Дрезден, Петербург летит.

В Сибирь, на поселенье, в шубе куньей,  
Где не гудят вдоль тракта провода,  
Что задремал, чем гредишь, друг Бакунин?  
Проснись в своем краю, раю, и сам тогда

Ты по-кошачьи на себя залаешь  
И с головою кинешься в метро,  
Когда на фильме ужасов узнаешь,  
Как русский царь родил политбюро.

\* \* \*

Зажгли огни термитники людей.  
Отцы семейств уткнули нос в газеты.  
Сегодня вбито миллион гвоздей,

Уложено сто дюжин кирпичей  
И дюжина покладистых парней  
Единогласно принята в поэты.

Исправно чистит сапоги айсор,  
Спокойно рыщет по квартирам сыщик,  
Завод изготавливает свой прибор,  
И бойко расширяет кругозор  
Родной газеты доблестный подписчик.

Ты погляди, как славно все течет,  
А если вдруг замедлится течение,  
Министр сейчас же это засечет,  
Виновного к ответу привлечет,  
Чтоб не повадно было — засечет,  
И все опять исправно потечет,  
Как и предполагает хозрасчет,  
И нет конца, и нету нам спасенья.

\* \* \*

Пристегнутые к чистому белью  
И проданные анонимным людям,  
Мы долго, сколько можно долго будем  
Тренировать задумчивость свою.

Нахмутив брови, губы тонко сжав,  
Глазам придав серьезность и вниманье,  
Мы будем подавлять свои желанья  
Во имя разума, который сыт и ржав.

Так, спинку к спинке кресла придавив  
И положив колени на колени,  
Сидит, как бог, все наше поколенье,  
Не знавшее ни рвот, ни рвов, ни битв.

В нас отдохнуть задумал человек,  
Устав от боен и других восстаний,  
Он в кресло сел не ради испытаний,  
А чтоб изобразить «сидящий грек».

Но сами греки! Вот забавная картина:  
В Караманлисе эллинская статья.  
Как видно, почитали Гельдерлина..  
Кого бы нам для пользы почитать?

\* \* \*

На палубе скользкой и шаткой  
Мы молча стоим как один,  
И держит нас мертвою хваткой  
Кольцо петербургских руин.

Следы европейских амбиций,  
Сломавших свои тормоза,  
Жилые руины столицы  
Нам колют, как правда, глаза.

Мы слышим далекие грозы  
Минувшего нас мятежа,  
И падают пыльные слезы  
В болотный бетон блиндажа.

#### КИНО

Во всеоружии раскрепощенных чувств  
И личных склонностей, вполне исправных,  
Я твердо верю, что в миру искусств  
Для нас кино — важнейшее из равных.

Бывало, только вспомню кинозал  
И жестких кресел длинные аллеи,  
Становится темно моим глазам,  
А на душе становится светлее.

Дом с привиденьями, кинотеатр,  
Где труд в досуге, а досуг в работе,  
Где все свои — Софи Лорен и Сартр,  
И я — все варимся в одном соку и поте.

Я так люблю: купить билет в кино  
И покурить перед совокупленьем,  
И страшно мне подумать, как давно  
Не предавался я киновиденьям.

Вот поутру, допив свое вино  
И в страшном страхе отворив газету,  
Я спрашиваю, что у нас в кино,  
И отвечаю сам себе, что нету.

Тогда я молча бью свое пальто  
И думаю, что все теперь пропало,  
Поскольку никогда и ни за что  
Мне не видать трех стенок кинозала,

Что мне отныне будет не до сна,  
Что не кино моим ответит планам  
И что моя четвертая стена  
Передо мною встанет не экраном.

\* \* \*

Вовек не счесть гостей Кавказа.  
Они грядут на поездах  
С истоков Лены, устья Таза  
При орденах и при звездах.



Карманы их не иссякают,  
Не соловеют очи их.  
Они садятся и икают  
За столиком на четверых.

Как молчаливы люди эти,  
Какая в лицах их печаль:  
Лишь звездочка сверкнет при свете,  
Да орден брякнет об медаль.

\* \* \*

Исполнится когда-нибудь и нам  
Волшебный тот тысячелетний возраст,  
И наш при жизни потускневший образ  
Даст волю к жизни новым именам.

А нам сегодня воли не дают  
Ни к жизни, ни к чему-нибудь иному.  
Из наших тел грядущее куют —  
Там прочный и отыщется приют  
Железных наших душ металлолому.

\* \* \*

Напишем стих о северянах.  
Они закрыты на засов  
На побережьях океанов  
В столпотворении лесов.  
Для них вода лишь в виде снега,  
Всегда готового лежать,  
И нет ни цели для побега,  
Ни просто силы убежать.

Их жены прочны, точно прачки,  
Торчком стоят их корпуса.  
Их дети хрупки и прозрачны.  
Их водят по земле собачки,  
Ликующие в час подачи,  
Их дни и ночи однозначны,  
И еле слышны голоса.

*Мурманск, 1971*

\* \* \*

На столе картофельный обед.  
За столом нечесаная кодла.  
И противно тарахтит мопед,  
Лесорубом в сапогах оседлан.

За окном виденье Олонца,  
Богом позабытые чертоги.  
В трех ступеньках книзу от крыльца  
Желтое подобие дороги.

Разогреюсь ягодным винцом,  
Проглочу картошку и консервы,  
Выйду на высокое крыльцо  
Прогулять прокуренные нервы.

Желтый лес трепещет вдалеке,  
Без дверей и окон. Как искусство,  
Желтый берег тянется к реке  
Окунуться и вернуться в чувство.

Жизнь мелькает, как кино во сне,  
Мимолетна, как вино в стакане.  
Рыжий Бродский вспомнулся мне,  
Ставший колонистом в Мичигане.

*Олонец, 1974*

\* \* \*

Опостылело быть острословом  
И закусывать красным словцом.  
Я хотел бы быть Индикопловом,  
А кружу Олонцом, Олонцом,

Этим маленьким городом финским,  
Ко всему, кроме смерти, готов,  
Я аллюром то конским, то свинским  
Все проделаю девять кругов,

Обойду олонецкие дали,  
Взвизгну, будто о камень коса,  
И, очнувшись у края спирали,  
Словно штопор, уйду в небеса.

\* \* \*

Слова, соединенные в поэмы,  
Являют только видимость системы.  
Под кожей их красивого лица  
Свирепствует предчувствие конца.  
И там, где будто торжествует fuga,  
Бушует вьюга, смерти центрифуга,  
И, как загар зимой,  
С продажной нашей шкуры  
Слезает золотой  
Налет культуры.

\* \* \*

Что такое эксплуатация?  
Спрашивает меня мой сосед.  
Час назад он приехал со службы  
В своем подержанном автомобиле,  
Принял душ в своей сидячей ванне,  
Переделся в пижаму не по сезону,  
Уложил спать единственного ребенка  
В детской площадке восемь квадратных метров  
И отправился посидеть ко мне.  
Мы сидим с ним вдвоем на кухне,  
На легких алюминиевых стульях  
И пьем из пластмассовых рюмок  
Недорогое, но подорожавшее вино.  
В прихожей стоит мой портфель,  
Купленный по блату за тридцатку,  
Ботинки за двадцать два сорок,  
На вешалке висит плащ болонья,  
Который я ношу четыре года,  
И приемник на транзисторах  
Оповещает нас о происходящем.  
Я отвечаю соседу:  
А что такое бедность?

\* \* \*

Он вышел и оделся в макинтош.  
За дверью бушевало безобразье.  
Когда б об этом думал он, то разве  
Он вышел бы? Но он, сказав «ну что ж»,  
Посеял семя недоразуменья  
Меж недругов и правнуков своих,  
Пустив в вояж свое стихотворенье,  
Единым духом выложенный стих.

Он вышел, и закрылась дверь за ним.  
Перед людьми стояли штатских двое,  
Чтоб не открылась образом никоим  
Та дверь и он бы стал глухонемым  
Для тех, кто оставался за дверьми  
И тщились тоже сделаться людьми,  
Не зная точно, что это такое.

*Ленинград, 1974*

\* \* \*

Тучки небесные, вечные странники,  
Что взгоношились, друзья и попутчики,  
Или в Париж захотелось вам, гаврики,  
Или в Нью-Йорк потянуло вас, субчики.

Чем недовольны, на что ваши жалобы,  
Морды жидовские, шпионы немецкие?  
Иль не просторны советские палубы?  
Иль не вместительны трюмы советские?

Нет, вам наскучили нивы бесплодные,  
Слепоучебники, глухозадачники,  
Как бы голодные, как бы свободные,  
Нету вам паспорта, нету вам мачехи.

\* \* \*

Навязчивые метры нам грозят  
Вторую строчку сделать пародийной  
И не настолько, как хотелось, дивной,  
Но шелудивой. Вялые висят  
С нее не обвалившиеся листья,  
Еще вчера зеленые, капуста,  
И вот засохшие, поросшие крапивой,

Растущей снизу, словно раком сад.  
Поэзия безбрежная, сплошная,  
Где строчка обреченная, вторая  
Торопится, как сука розыскная,  
Запевную и первую куснуть  
И не дает ей на ходу уснуть.  
Передо мной пустыня палимпсеста,  
Где каждый метр — срамное чье-то место  
И чей-то потный труд.  
Вранье и непотребство —  
Voilà ma route.

\* \* \*

Язык людей, природы ересь,  
Навеки взорванная гладь.  
Слова по свету разлетелись,  
И никому их не собрать.

То ржут, то лают, то стреляют,  
Но здесь и всюду строят мост.  
Гляди, как вольные гуляют  
Меж хижинами, в нас, средь звезд.

Без всяких принципов шатаюсь,  
Они живут то с тем, то тут  
И, как попало сочетаюсь,  
Нет-нет да взрыв произведут.

Как продуктивны взрывы эти,  
Они рождают языки.  
Как много их на этом свете,  
Мы носим их, как пиджаки.

Пусть Божий мир стал свет безбожий,  
Похожий более на гладь,

Он все равно уже не сможет  
Всех в камеру одну загнать.

Но если даже и случится  
Такой безумный оборот,  
Нам стоит всем соединиться,  
И тут же взрыв произойдет.

И горы загудят, и доли  
К расколам будут призывать,  
И будут вольные глаголы  
Пустоты пыльные взрывать.

\* \* \*

Не тешь себя надеждами пустыми,  
Пойди поговори с людьми простыми,  
Лишенные продуктов и одежд,  
Они тебя излечат от надежд.  
Дадут тебе всё, что имеют дать,  
И ты не будешь в будущем страдать.  
Нагим и сырым свой пошли привет,  
Коль скоро хочешь получить ответ.  
Не думай гордо, что они молчат,  
Они, как ты, по-своему кричат.  
И пусть неповторимый голос твой  
Вольется в неозвученный их вой.  
Попробуй встать на этот верный путь  
И правила грамматики забудь.  
Быть может, эти правила важны,  
Но в данном деле вовсе не нужны.  
Был в нашем языке существенный изъян:  
Ведь стал же он добычей обезьян  
И в их неосторожной болтовне  
Угас и исчерпал себя вполне.

Кто слышал эту обезьяно-речь  
И ощутил в ней признаки абсурда,  
Тот должен бечь немедленно отсюда  
И смыслом слов, слов, слов навеки пренебречь.  
Назад наш путь, к началу всех начал:  
Уйди из языка, теперь чужого.  
Но унеси с собой идею слова  
И камнем стань, чтоб камень закричал.

\* \* \*

Обыденной иронии добыча,  
Высокий слог осмеян и забыт.  
Лишь в виде торжествующего клича  
Теперь его использует бандит.  
Рокошет, как церковный бас, преступник,  
И под ножом хихикает отступник.

Мы проиграли право на язык,  
И он от смысла своего отвык.  
Избиты мы в мучительных сраженьях,  
И наше слово, наша твердь, наш гимн,  
Бесславно употреблено другим,  
Теперь лежит в избитых выраженьях.

Преступники бросают вызов нам.  
Вернемся же к торжественным словам,  
Произнесем их против преступлений.  
У трех, по крайней мере, поколений  
Гулявшее по спинам помело  
В спинном мозгу оставило занозу,  
Но нужно встать. В трагическую позу,  
Чтоб показать, какое это зло,  
Всем тем, которым больше повезло,  
И пусть им тоже будет тяжело.



\* \* \*

Какую Вы знали — на той же, беспутной и древней, мы жили за совесть, случалось когда — и за страх. Ах, Анна Андревна, душа моя, Анна Андревна! Какая там осень в заоблачных Ваших краях?

Как милует Бог там? Легко ли царится, царевна? Но Вам это скучно, а мне, соглашусь, все равно. Когда б заглянули, душа моя, Анна Андревна, — мы свечи зажгли бы и рейнское пили вино.

Войдите, присядьте к столу, поведите плечами, оставив на вечер блистательный звездный разброд. Ведь звезды — звездами, а свечи — а свечи свечами, те там, эти здесь зацветают огнем в свой черед.

К тому же не знаю, как в Ваших пределах Вас жалуют, а здесь и земля Вас носить почитала за честь. И я об заклад, и большой бы, побилась, пожалуй, что этот огонь Вам случалось тому предпочесть.

И Вы мне расскажете, где это хитрое древо, поют ли осанну там, и если да — хорошо ль? Кого же и звать мне, душа моя, Анна Андревна, — мой ангел, и тот в день рожденья ко мне не зашел.

Другим уж и вовсе никак, и подумать-то странно — им разве по водам случится дойти до меня — но Вы-то свободны? свободны, душа моя, Анна? А то что за радость на тот этот свет мне менять.

Одна и надежда, одна незабытая ревность. Напрасна — скажите: в аду заживем как в саду.

Но если и осени нет там, Анна Андревна —  
сбегайте сюда — хоть на день, в листопад, раз в году.

1979

\* \* \*

Ночь — она и всегда-то была беспокойна,  
а ночи здесь и вовсе ни на что не похожи,  
а то еще туман — хоть отводи рукой, но  
не тут-то было. И хоть бы один прохожий.

Ко всему тому — этот город, такой чужой,  
что, конечно, он должен быть обманом чувств,  
как и любой дом, где огонь зажжен  
в окне, в которое я не постучусь.

Пожалуй, только снег признать могу,  
галочки крестики на снегу,  
скользкий асфальт, зависть паркетных зал —  
да еще собачьи глаза.

Но асфальт подходит к дому, в котором свет зажжен —  
куда, как я уже сказала, мне хода нет.  
Во дворе, где живет собака, снег под окнами желт,  
и свет, как снег — на что мне такой свет.

И значит, остается только снег,  
да кресты — неловкий птичий разбег,  
одна звезда, оттуда, издалека,  
да еще, не забыть, река.

Но галки по ночам спят, а ночь — вот она, ночь.  
Звезда, хоть и не спит, да дороги к ней не найду,  
ветер ворошит снег, потерявший душу давно,  
во сне, в ночь, как падал, засыпая на лету.

Подведем итог — итак, река.  
Помню дворцы по берегам,  
и шпиль в огне, силуэт в окне  
и еще один — на коне.

Как ни странно, река действительно есть  
в этом городе, которого или быть не должно,  
или мне здесь не быть бы — это уж как ни расчесть,  
выбор неважен, лишь бы что-то одно.

А так как и спор долог, да и тема смешная,  
то к реке — а здесь это уже не в счет.  
Берега обманут, но воду несомненно узнаю,  
и если ошиблась — течением перенесет.

7/2/80

\* \* \*

Время теснит,  
забываю свое, кто я.  
Неспешная жизнь  
дни разделяет бегло  
и не считая.

Недавно смотрела,  
на утренней площади стоя,  
как тучей свивалась над нею безумная стая:

Птицы — над собором Святого Петра.  
Столько —

едва пробивается просинь,  
неба не видно.  
Может быть, знак —  
а кажется, просто осень,  
осенние игры, и улетать пора.

Мой город, легко ли терять свое имя,  
примерить другое?

Как пришлось?

Все ли таблички по площадям перевесили?  
Ангел случайно остался,

приопустил крыло.

Над дворцом,

над Невою

холодно и невесело.

Дороги сошлись на Риме.

У собора Святого Петра, одноимёнца,  
я твержу твое имя.

Я сохраню твое имя.

Видно, время измерить дороги,

вглядеться в их лики —

незнакомые, иноплемёнцев.

И еще обернуться перед концом —

и найти у небольшой базилики

Мадонну с тихим русским лицом,

с беспечальной улыбкой.

Как она здесь, почему она здесь, такая —  
и откуда, мой Бог, с этим тонким венцом,

да у Римской стены?

Будто слушает что.

Или птиц по ночам окликаая,

ждет весны.

И наверно, дождется весны.

А тогда, от груди отнимая сведенные руки,  
оттолкнет постамент да пойдет не спеша  
на восход, по водам —

да по гребню волны.

Как не знала разлуки,  
всё улыбкой дыша.

А за Нею и я потянусь, провожу до прибоя.  
И спокойной воды Тебе, Мать, спокойной воды!  
Где-то царство Твое,

от небес и цветов голубое,  
где к утру зацветают Твои небеса и цветы?

Где-то царство Твое,  
где и дом мой...

Но все не о том...  
Начались карнавалы,  
отошло Рождество,  
и, пожалуй, пора.

А собратъся недолго —  
не из дома —  
и то ли бывало.

Поклониться собору Святого Петра,  
Да дойти до вечерней воды —  
отсюда, наверно,  
приходили ко мне виноватые сны.

Таверна на черном песке.  
Полинявший лоскут над таверной.  
Тонкая линия по песку —  
след волны.

1978

### ТРИ НЕБОЛЬШИХ ПИСЬМА ДОМОЙ

*Надежде Вилько*

1. По черному песку, да ломким тростником  
я напишу о том, что я по Вас тоскую,  
что здесь я не нашла и не ищущу свой дом.  
Да не пошлет Господь и Вам печаль такую!

По черному песку свивается волна.  
Я здесь давно живу, и плача, и ликуя —  
как я ждала того, — как я сейчас одна!  
Да не пошлет Господь и Вам печаль такую.

А то, о чем пишу Вам ломким тростником,  
о чем так горячо, бессвязно Вам толкую —  
по черному песку, по солнцу, босиком —  
да не пошлет Господь и Вам печаль такую.

А то, что плач мой — Вам, а ревности — дождю,  
который плачет сам, и голубем воркует —  
на черные пески — о, нет, я Вас не жду:  
да не пошлет Господь и Вам печаль такую!

2. Чуть скучновато и неторопливо  
пишу про то,  
как шли валы, ломая гребни с пенной гривой —  
и на пальто  
летели брызги...

Виноград подсох.

Оливы

снимают по садам.

Я пью вино последнего разлива,  
допью — стакан отдам,  
и муж нальет еще, и не последний.

Потом, одна —  
украдкой выпью и без позволений  
еще вина!

От моря брызги — крепче царской водки —  
шалит Эол! —  
на каменный, на белый, чистый, звонкий —  
летят на пол.

**И** мне легко смеяться и нелепо  
твердить, мой свет:  
«Есть только солнце, только море, небо —  
другого нет!»

3. (Римская поэма)

Пенная линия по песку —  
след волны.  
Солнце в водах омывает усталые очи,  
воды светом полны...

Тихо.

Я скоро себя обреку  
молча глядеть, как горят мои свечи и ночи.

Показалось — прощаюсь,  
но я не простилась с землей.  
Уходя, оставила горстку земли,  
горсточку снега.  
Не отпускает, болит.

Тирренский прибой  
беспечен:  
здесь время бесплотно —  
здесь ему введома нега.

Я случайно вошла, и я ненадолго.  
Разбираю небрежные выплески пены,  
волхвую, конечно.  
Всё пытаю судьбу —  
о чем? Я не хотела обмена.  
Так и вышло.

Ниточку бус —  
янтарные смолки, и только,  
мамин подарок —  
взяла с холодного моря.

А в Риме, под сводами арок  
время гостит,

да я иногда прохожу,

вспоминаю чужое:

глядеть, как кровь приливает к ножу,

сбегались римские жёны,

спешили мужи...

## «РУССКАЯ МЫСЛЬ»

Крупнейшая русская еженедельная газета на Западе

Главный редактор Ирина Иловайская-Альберти

Редакция и контора: 217 rue Fb. St. Honoré,  
75008 Paris

Стоимость подписки во французских франках:

*Обычной почтой*

	3 мес.	6 мес.	12 мес.
Франция	70	130	250
Все остальные страны	97	184	357

*Воздушной почтой*

Европейские страны,			
Северная Африка	107	203	396
США и Латинск. Америка	126	242	474
Австралия, Япония, Китай	136	262	513
Иран, Израиль	113	215	419

Давнишним подписчикам (свыше 10 лет)

по-прежнему делается скидка.

В цену подписки входит выходящее 6 раз в год

«Обозрение»,

аналитический журнал «Р. М.»

под редакцией А. М. Некрича.



## СТАНСЫ БЕЙРУТСКОГО ПОРТА

Еще я вспомню этот порт,  
где над заливом запах серы,  
где сладко жмурится сефард  
на остов итакской галеры.

Ей рак морской отъел корму  
нос губы щеки и команду.  
Сефард — купец, вольно ему  
злорадствовать, негоцианту!

А над галерою второй  
не чаек, но ворон летанья.  
На юте надпись над дырой:  
«Метафора». Чего — зиянье.

\* \* \*

Когда их бросили на мол —  
цвет, спешенных, младобородых —  
все и легли. Не все, но — пол:  
был греческий огонь на водах.

А пол уселись на молу  
и в жабры дым пустой толкали.  
Прибой нес легкую золу,  
и черным был осален камень.

И рыба битая как дичь  
качалась щекотала пятки.  
О чем и думали — опричь  
бессмертия — что все в порядке.

\* \* \*

Что поражает на войне  
обиле тварей интересных —  
нас — огонь, а рыб? уже вдвойне  
по убиению бессловесных?

А поражает на войне —  
что нагулявшись на свободе  
назад приходит смерть извне  
чтоб нас своей вернуть природе.

\* \* \*

Течет веселие в крови —  
чужой! — вот наш и задал пирсу:  
на! иноверец, на! лови!  
вечер обжаренную крысу!

Италик в рот жару хватал —  
как — увидел ее горячей!  
А я — я страшно хохотал  
давясь похлебкою горячей.

А хохотал я потому,  
что стань за честь кокарды воин —  
я кошку кинул бы ему,  
чем счет гармонии удвоил.

\* \* \*

Вода приснилась — тоже где  
нашла присниться и успела.  
Она держала на воде  
что плавало и что хотела.

Держала дом, держала дым,  
и дамы дум на ней лежали,  
сирены голоса, как льды —  
высоко над собой держали.

Я — утопая, навсегда,  
как девки — зря, как слепо — дети,  
я — Арион был, но звезда  
моя был — «О» — в сирен дуэте.

Как голоса сирен низки,  
как фальшь слышна при всякой вторе —  
проснуться — рано, что ни зги,  
что страшно близко носит море.

\* \* \*

Их выносило по утрам,  
а мы не подбирали падаль —  
вдали, что каждый выбирал —  
читали, дабы взгляд не падал.

А в ослепительной дали —  
зачеркнутой по ходу действия —  
в залив вмерзали корабли  
спаленного Адмиралтейства.

Волненья голубая муть  
прекрасна, небо — дело птичье,  
но в воду не гляди — взглянуть —  
на грудь кидается обличье!

\* \* \*

С поверхности портовых вод  
снять розу с ароматом рыбы  
и розовую — скажем — род  
поступка скользкого пошиба.

Но финикийскую луну  
мы пережили — а бросала  
не лапа ль старика в волну  
цветок конечно же тот самый.

И об отчизне мы впервой  
поразмышлявши — глянем: Боже!  
в пролет небес над головой,  
и — каску отстегнув — отложим.

И нам откроется — не твердь  
отчизна нам — не мать-землица,  
а небеса над ней — как смерть —  
они легки, и — крестик птицы.

И бросим розу на броню,  
а нас — у вод чужой столицы  
запомним — белый крестик птицы —  
запомним — и в петлицу дню.

*Зап. Бейрут, порт,  
сентябрь 82 г.*

ГЕНРИХУ АЛТУНЯНУ

Как таинствен путь над бездной  
Через мрак и сквозь туман!  
Жил на свете рыцарь бедный,  
Рыцарь Генрих Алтунян.

Верен рыцарским законам,  
Честь которых так строга,  
Он мечом своим картонным  
Насмерть поражал врага.

Словом, рыцарь был как рыцарь,  
Описала, как смогла!  
За обиженных сразиться,  
Коркой хлеба поделиться —  
Вот и все его дела.

И за эти приключенья,  
Непостижные уму,  
Получил он назначенье  
В чистопольскую тюрьму.  
Вы спросили: «Почему?»

Потому что, как ни пробуй,  
Как ты там ни выбирай —  
Только так ведет дорога:  
От порога до порога,  
Через тюрьмы — прямо в рай.

\* \* \*

О Родина-Мать! Что за страсть у тебя — убивать  
Детей самых лучших своих, самых храбрых и самых  
красивых,  
И, не схоронивши, бросать в лопухи и крапиву  
И самую память о них навсегда предавать?

Безумная! Разве он был на мученья зачат  
И создан тобою — бойцом, крикуном, тамадою,  
Затем чтобы в тюрьмах, на нары склонясь головою,  
Из мрака вылавливать солнечных робких зайчат?

Он сам — твое солнышко, плоти твоей торжество  
И южный размах твоего вознесенного духа.  
О Родина-мать! Ты, наверно, и вправду старуха...  
Опомнись! Спаси же! Верни на свет Божий его!

\* \* \*

Вы, государственные люди,  
Вы, охранители границ!  
А что с державой вашей будет,  
Когда повергнете вы ниц  
Всех честных и отважных, кроме  
Льстецов, глупцов, продажных шкур,  
И воцарится в этом доме  
Одна лишь серость, страх и дурь?

\* \* \*

О чем тут речь ведется,  
О чем я вам пою?  
Что вспомнить мне придется  
У жизни на краю?

Обрывки строк забытых,  
Не взятые в музей,  
И загнанных, забытых,  
Замученных друзей?

Как через ложь и дурь мы  
Шагали тяжело?  
Нужду, труды и тюрьмы,  
И больше ничего?

О, нет! Запомнят стены  
И вам расскажут вновь,  
Что не было измены  
И что была любовь!

Нет тайны — от подушки,  
Нишка — от тюфяка.  
Металл тюремной кружки  
Все помнит на века,

И сам вельможный ветер  
Вам пропоет из тьмы,  
Как жили мы на свете  
Среди лихой зимы.

\* \* \*

Семь долгих лет, как Иаков за Рахиль,  
Послужим за тебя перед Всевышним.  
Семь лет — и ни один не будет лишним.  
Семь долгих лет — и это просто быль.

И это просто будничны́й рассказ:  
В который раз уверенно и четко  
В пейзаж наш бедный впишется решетка!  
Семь лет — мы за тебя, а ты за нас.

А ты за нас... И ветер стороной,  
И гром умолк, и песенка пропета,  
И высоко стоит твоя победа,  
Твоя победа — ровно в жизнь ценой.

Публикуя полученные нами по самиздатским каналам новые стихи Марлены Рахлиной, мы пользуемся случаем, чтобы исправить ошибки и опечатки нашей предыдущей публикации («Континент» № 30). В стих. «А прошлое, как старый дом...» 3-я строка читается: «Но все привычно и уместно»; в стих. «Ну что, брат Пушкин...» в 19-й строке вместо «сон» следует читать «сок», и в нем же, видимо, во время путешествий по самиздату или из самиздата в тамиздате потерялась последняя строфа: «И, может, то и нужно наперед, / Чтоб жизнь была полна, а смерть — кровава, / И тех, кто мутен был, забвенье ждет. / А тех, кто точен был, венчает слава».

**Валерий Тарсис**

## **Недалеко от Москвы. Роман**

Новый роман В. Тарсиса — о молодежи шестидесятых годов и ее поисках. Книга вышла к 75-летию автора.

Большой формат                      350 с.                      28 н. м.

Possev-Verlag, Flurscheideweg 15, D-6230 Frankfurt/M.-80



# Россия и действительность

Андрей Сахаров

## ФРАГМЕНТЫ ИЗ АВТОБИОГРАФИЧЕСКОЙ КНИГИ

*С. Л. ЗИВС: «АНАТОМИЯ ЛЖИ»*

В начале 1970 года мне позвонил Я. Б. Зельдович. Он сказал, что со мной очень хочет встретиться профессор-юрист Самуил Лазаревич Зивс, он сотрудник Института государства и права, и хороший человек, оказавший ему, Зельдовичу, большие услуги. Я согласился на встречу; вскоре Зивс пришел ко мне. Он начал с того, что с очень большим уважением относится ко мне и к тем взглядам, которые выражены в моей работе «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе». Зивс также кратко рассказал о работах своего Института, подчеркнув ведущиеся там исследования в пользу отмены смертной казни (потом я подумал, что ему были известны мои взгляды по этому вопросу). Затем Зивс перешел к изложению своего дела. Предстоят выборы в Академию наук. Очень важно, чтобы был выбран директор Института государства и права Чихвадзе — крупный ученый-юрист, человек весьма демократических, прогрессивных взглядов, юристы и философы хорошо знают и ценят его заслуги и несомненно выберут на Отделении, тем более что его кандидатуру поддерживает отдел науки ЦК, но на общем собрании возможны осложнения, ведь физики и математики плохо информированы и легко могут стать жертвой

инсинуаций. Зивс просил меня поддержать кандидатуру своего начальника Чихвадзе. Я ничего ему не обещал, сославшись на то, что не могу выступать по делу, о котором совсем ничего не знаю. Во время разговора я невольно смотрел на новый добротный костюм Зивса, явно не советского производства, и думал — где это он такой «отхватил».

На выборах 70-го года Чихвадзе не прошел. Перед следующими выборами мне опять была передана просьба Зивса поддержать Чихвадзе (который вновь не был избран). А вскоре стало известно, что эта проблема потеряла свою актуальность: за какие-то махинации с недвижимостью Чихвадзе сняли с поста директора и (кажется) исключили из партии, во всяком случае он лишился поддержки ЦК, и Институт перестал выдвигать его кандидатуру.

Что же касается Зивса, то его фамилия стала мне встречаться в новом качестве — автора статей и книг против «антисоветчиков», в том числе и против меня. В 1982 году вышла в свет его книга, повторяющая многое из предыдущих публикаций. Она называется «Анатомия лжи» и действительно хорошо демонстрирует анатомию той лжи, которой пользуется официозная пропаганда. В частности, поэтому стоит остановиться на этой книге подробнее. Основная цель автора — опорочить Эмнести Интернейшнл, чтобы уменьшить опасный для репрессивных органов СССР моральный эффект от публикаций Эмнести в той их части, которая касается СССР. Характер использованной автором информации — например, многочисленных цитат из передач западных радиостанций, часто с указанием точного момента выхода их в эфир, неопубликованных данных советских учреждений, материалов судебных процессов и следствия по делам инакомыслящих, конфискованных на обысках документов и т. п. — показывает, что эта информация не могла быть доступна частному лицу-одиночке и

предоставлена автору КГБ. Несомненно, что вся его книга написана по заданию КГБ. Имевшаяся в распоряжении Зивса информация использована в высшей степени недобросовестно и тенденциозно, в результате книга представляет собой хитроумное сплетение ядовитой лжи и клеветы, скрепленное тонкими нитями полуправды. В книге об Эмнести Интернейшнл Зивс не пишет, что эта организация выступает за освобождение узников совести во всем мире, что это ее главная цель. Он вообще не упоминает этого термина, поскольку точная позиция Эмнести — выделение тех, кто, не прибегая к насилию и не призывая к нему, страдает за убеждения, за их распространение, — не должна быть известна читателю, так как в противном случае, аргументация книги разрушается. По той же причине он скрывает от читателя общемировую ориентацию деятельности Эмнести, ее политическую беспристрастность, тот факт, что бо́льшая часть защищаемых Эмнести узников репрессирована вовсе не в социалистических странах; скрывает принципиальную борьбу Эмнести против смертной казни и пыток. В свое время Валерий Чалидзе говорил, что для советского читателя существуют не одна, а две различные организации — хорошая Международная Амнистия и плохая Эмнести Интернейшнл. Зивс пишет только об этой плохой. Даже из четырех генеральных секретарей Эмнести он упоминает только трех — тех, которые не нравятся советским властям. Бо́льшая часть книги Зивса — клевета на защитников прав человека и других инакомыслящих в СССР, на тех, кто стал жертвой жестоких и несправедливых репрессий. Среди них — Щаранский, Орлов, Пяткус, Гаяускас, Бегун. Делу Анатолия Щаранского (осужденного на 13 лет заключения якобы за шпионаж) в книге Зивса уделено 6 страниц. Повторяются формулировки приговора об измене Родине. Но если очистить текст от словесной шелухи, то выясняется, что Щаранский опрашивал некоторых

евреев, которым было отказано в выезде за границу под предлогом секретности, хотя их учреждения и предприятия не числились секретными, и сообщил о результатах опроса американскому корреспонденту, опубликовавшему их в газете (хорош шпионаж при помощи публикации!). Ни один из опрошенных Щаранским не был привлечен к ответственности за разглашение секретной информации, поскольку они и не могли это сделать. Ясно, что действия Щаранского не носили противозаконного характера. Тем не менее, они были квалифицированы как шпионаж, и он был осужден на 13 лет заключения. На самом деле приговор Щаранскому — это попытка запугать евреев, заставить их отказаться от мысли об эмиграции, попытка отделить еврейское движение за свободу эмиграции от общей борьбы за права человека в СССР (Щаранский — член Московской Хельсинкской группы). Во время следствия (13 месяцев) Щеранскому угрожали расстрелом, но сломить его не удалось. Ту же стойкость он проявляет в заключении. Первые три года заключения он находился в тюрьме — по приговору. После недолгого пребывания в лагере он вновь переведен в Чистопольскую тюрьму, подвергается непрерывным жестоким репрессиям — заключению в карцер, т. е. пытке голодом и холодом, конфискации всех его писем и писем к нему, лишению свиданий. Доведенный до крайности, 27 сентября 1982 года Анатолий Щаранский объявил бессрочную голодовку, требуя разрешения переписки и свидания с престарелой матерью и братом. Здоровье его и жизнь в крайней опасности. Я надеюсь, что международная общественность поддержит трагическую борьбу Щаранского за его элементарные человеческие права, я надеюсь также, что политические деятели Запада потребуют от советских властей удовлетворения его требований.

В книге Зивса делается попытка опровергнуть

утверждения о тяжелом положении заключенных в тюрьмах и лагерях СССР, о психиатрических репрессиях. Но никогда ни одна международная комиссия — ни Красного Креста, ни ВОЗ, ни какой-либо другой авторитетной и беспристрастной организации — не была допущена в места заключения в СССР, и это лучше любых слов показывает несостоятельность попыток опровергнуть эти утверждения. Много пишет Зивс о клеветническом якобы характере «Хроники текущих событий» — самиздатского журнала, содержащего информацию о нарушениях прав человека. Я считаю подлинным чудом 13 лет выхода «Хроники»\*, считаю ее выражением духа, нравственной силы правозащитного движения в СССР. Та ненависть властей, которая проявилась в бесчисленных репрессиях и в книге Зивса, только подтверждает эту оценку.

Целых пятнадцать страниц в книге Зивса уделено делу Сахарова. Здесь мне не обойтись без обширных цитат. «Болезненное тщеславие и самовлюбленность сочетались у Андрея Сахарова... с претензией на иммунитет. Принцип законности, мол, на него не распространяется ввиду «исключительности» его личности». «Как известно, в январе 1980 года в отношении Андрея Сахарова была проявлена снисходительность — вместо уголовного преследования за его действия, содержащие признаки государственных преступлений, учитывая его прошлые заслуги и по гуманистическим соображениям, ему было предложено (!?) поселиться... в городе Горьком. Это решение было принято высшим органом государственной власти в точном соответствии с его прерогативами и правовыми нормами». Зивс не пишет в явной форме, каким высшим органом принято решение о моей высылке. Это не случайно. Президиум Верховного Совета СССР при-

---

\* Написано в 1981 г. Сейчас «Хроника» вступила в 16-й год издания. — Ред.

нял лишь решение о лишении меня правительственных наград. Какой орган, кто персонально принял решение о моей высылке и незаконном режиме изоляции — мне не сообщено, несмотря на многократные требования. В «Известиях» говорится о решении «компетентных органов», под этим, видимо, надо подразумевать КГБ. Если Зивс считает КГБ высшим органом государственной власти, все становится на свое место (не законное). Что же касается «признаков государственных преступлений», то юристу следовало бы знать, что говорить о совершении кем-либо преступлений можно лишь при установлении этого открытым судом в соответствии с законами страны и ее международными соглашениями. Я отмечал полную законность своих действий, так же, как действий других узников совести — Орлова, Щаранского, Ковалева и всех других, о которых я пишу в этой книге. Они подвергались незаконным и жестоким противоправным репрессиям, моя же известность до поры до времени заставляла власти воздерживаться в отношении меня от нарушения международных обязательств о правах человека и Конституции СССР — именно в этом заключалась моя так называемая «исключительность» — только непонимание или провокация могли выставлять ее как нечто вечное. Продолжаю цитаты. «...В течение ряда лет Сахаров фактически оказывал противодействие проводимой Советским Союзом политике мира, борьбы за разрядку международной напряженности и ограничение вооружений... Призывы Сахарова, обращенные к США, в которых он требовал наращивать вооружение ради обеспечения позиции силы... нетрудно было бы квалифицировать как измену национальным интересам своей страны... Сахаров в чисто американском духе недоволен тем, что в Западной Европе не всегда проявляется достаточно энтузиазма... подчиняться диктату «заокеанской демократии»... Он совершенно определенно исхо-

дит из необходимости вооруженного противостояния Советскому Союзу и начал с того, что призвал США совершенствовать вооружение...» «Что же касается избранного народом общественного строя, то Сахаров обосновывает и допустимость, и целесообразность, и необходимость его насильственного свержения (любыми средствами, в том числе и путем внешнего воздействия)».

Зивс нагромоздил целую гору сознательной и опасной лжи, полностью исказив мою позицию. По Зивсу, я — сторонник насильственного свержения существующего в СССР строя, сторонник интервенции, войны! Я же многократно заявлял, что являюсь убежденным эволюционистом, противником насилия. Зивс полностью скрывает от своего читателя основные защищаемые мною идеи: конвергенции — сближения — социалистической и капиталистической систем, с сохранением лучших сторон каждой, как *альтернативы* вооруженной конфронтации, необходимости открытого общества с соблюдением прав человека, стратегического равновесия с постепенным отказом от термоядерного взаимного устрашения. Да, я говорю о необходимости восстановления и сохранения равновесия в области обычных вооружений — но ради устранения угрозы термоядерного уничтожения человечества. Да, я говорю о необходимости восстановления ядерного равновесия в Европе — но именно восстановления, когда нет другого пути добиться стратегического равновесия. Да, я говорю о необходимости плюралистических реформ в нашей стране — ради ее процветания и ради международного доверия и безопасности.

Столь же тенденциозно и все остальное изложение Зивса. Я предупреждаю, например, об определенных опасностях прогресса, а Зивс изображает меня сторонником неких мрачных биологически-кибернетических утопий. Но наибольшего накала и яда дости-

гает Зивс, когда пишет о свободе информации, в особенности информации о нарушениях прав человека в СССР. При этом предметом нападок и опасной провокационной лжи Зивса становлюсь не только я, но и члены моей семьи. «Дезинформатор, клеветник, подстрекатель, защитник антиразрядки... который пытается воспользоваться, как зонтиком, Заключительным Актом». Конечно, Зивс не приводит примеров, когда я обнаруживал ложные факты. «Вся его деятельность была ориентирована на Запад... В качестве эмиссаров он использовал членов своей семьи, в частности жену Елену Боннер, которая во время проведения в 1977 году в Риме очередного «Сахаровского слушания» находилась под видом лечения глаз в Италии». Фамилия моей жены пишется через «э» обратное, но Зивс явно умышленно пишет через «е» простое, чтобы было больше похоже на еврейскую фамилию. Моя жена находилась в Италии для лечения и операции глаз, а не «под видом лечения». Она вернулась в СССР до начала «Слушаний». «Муж и жена Ефрем и Татьяна Янкелевич, выступающие в роли «законных представителей Сахарова за рубежом», не брезгают самыми низкопробными средствами для того, чтобы подливать масло в пламя антисоветской истерии». «Седовласый старик в клобуке митрополита склонился к маленькому мальчику лет четырех. Подпись под снимком гласит: Кардинал Иосиф Слипый почтительно ласкает маленького Матвея, внука Сахарова». «...Что бамбино — не внук Сахарова, а внук его теперешней жены, не столь существенно. Фамилия мальчика Янкелевич (т. е. еврейская. — А. С.). И вот тот самый Слипый, руки которого обгажены кровью жертв Львовского гетто, благословляет Матвея Янкелевича. А его родители — дочь Елены Боннер Татьяна и ее муж Ефрем Янкелевич — ради дешевой сенсации подставляют его под благословение 'кардинала'».

Тут опять искажение. Во время Слушаний Таня и



Ефрем оставили Мотю на попечение одной девочки, он отбежал от нее и подошел к Слипому, ожидавшему своего выступления. Слипый был арестован Сталиным за отказ санкционировать переход униатов в православие, вместе с ним аресту подверглись десятки тысяч его паствы. Долгие годы Слипый и его единоверцы провели в заключении, многие из них погибли. Цитирую дальше: «Немало целенаправленных усилий прилагается средствами массовой информации Запада для того, чтобы нарисовать картину «страхов и ужасов», в которых вынужден пребывать Сахаров в Горьком». «Надо сказать, что фабрикация домыслов об «ужасах заточения в Горьком» способствуют и провокационные заявления, которые регулярно делают сам Сахаров и в особенности его жена Е. Боннер. Эти заявления представляют собой хорошо продуманные легенды «об отвратительных преступлениях» должностных лиц, легенды, которые сознательно рассчитаны на компрометацию органов государственной власти. Таковы были версия о том, как Сахарова, сбитого с ног, избивали в Горьком милиционеры, побасенка о том, как у него украли черновики и рукописи, рассказы о том, как с пистолетами в руках должностные лица не разрешили ему на платформе вокзала проститься с матерью Е. Боннер».

Я рассказал, как мою жену и меня повалили на пол милиционеры, когда мы добивались ответа, где находится приехавший к нам гость, задержанный у нашей двери, и как при этом мою жену (а не меня) ударили по глазу, рассказал и о других фактах, о которых с такой иронией и издевательством пишет Зивс. Я писал о них максимально точно и полно, моя жена по моему поручению передала эти заявления. Зивс называет «побасенкой» мое заявление о краже сотрудниками КГБ 13 марта 1981 года сумки с моими рукописями — научными, дневниками и воспоминаниями, плодом многих меся-

цев, даже лет работы, с личными письмами и документами.

11 октября 1982 года сотрудники КГБ вновь украли сумку с восстановленной рукописью воспоминаний — 900 страниц рукописи и 500 страниц машинописного текста, со многими невосполнимыми документами, имеющими важное значение для нас. Разве все это не «отвратительные преступления должностных лиц»? Или это, по Зивсу, опять «побасенка»?

Я не стал бы вообще писать о своих воспоминаниях о Зивсе, выборно-академические его интриги мало меня сейчас интересуют. Но книга Зивса, попавшая мне в руки в дни нанесенного кражей сумки удара, с ее клеветой и дезинформацией против международного движения в защиту прав человека, Эмнести Интернейшнл, против меня и членов моей семьи, против моих репрессированных друзей, против Толи Щаранского, трагически борющегося в Чистопольской тюрьме за право увидеть мать и писать ей, — не могла быть оставленной без ответа.

*Биографическая справка (из книги «Анатомия лжи»).*

Самуил Лазаревич Зивс — видный советский юрист и общественный деятель — доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР, вице-президент Ассоциации советских юристов. За 30 лет работы в Институте государства и права им опубликовано свыше 130 научных и научно-публицистических работ по теории права, критическому анализу современного буржуазного государства и права. В 1981 году вышли в свет книги «Источники права» и «Права человека — продолжая дискуссии» (издана на нескольких иностранных языках).

### *ВСТРЕЧА СО ЗБИГНЕВОМ РОМАШЕВСКИМ*

В начале 1979 года ко мне неожиданно пришел неизвестный мне ранее посетитель. Когда я впустил его в дом, он осведомился, Сахаров ли я, и сказал,

что мой адрес дал ему W. и что он — Збигнев Ромашевский, из Польши, из Комитета обороны рабочих, и хотел бы со мною поговорить. У меня было с ним две встречи, вторая на другой день. Одновременно с Ромашевским, я не помню, случайно ли, пришла Таня Великанова. Вторая беседа проходила в ее присутствии. Мы разговаривали со Збигневом Ромашевским частью в нашей с Люсей комнате (Люся в это время была, к сожалению, за рубежом), частью на кухне за чашкой чая. Это был человек выше среднего роста, стройный, подтянутый, в по-европейски хорошо сидящем костюме, с резко очерченными чертами энергичного лица. По-русски говорил он не очень быстро, но совершенно правильно, четко построенными ясными фразами. Ромашевский интересовался нашими диссидентскими делами, проявляя в них осведомленность, которой обычно так недостает иностранцам (да он и не был для меня иностранцем). Со своей стороны он кратко, но содержательно рассказал о положении в Польше, о настроениях в стране и целях КОР. Он сказал, что рабочие в массе настроены очень решительно, часто приходится слышать фразы такого рода — теперь, когда вы (т. е. интеллигенты) пришли к нам, мы вместе «им» (т. е. партийной верхушке) покажем, добьемся правды (или порядка), не помню точно. КОРовцам постоянно приходится удерживать рабочих от слишком поспешных действий, предупреждать возможные эксцессы. Одним из направлений работы КОР является расследование событий 70-го года, действий органов власти, материальная и юридическая помощь рабочим — жертвам репрессий властей, — сказал Ромашевский. Однако расследование часто встречается с большим сопротивлением. Он рассказал о случаях давления со стороны властей на жертв произвола милиции и свидетелей, запугивания и даже убийства свидетеля, который присутствовал при избиении рабочего, приведшем к его смерти. Ромашевский сказал,

что рабочие в Польше с большим уважением относятся к интеллигенции, гордятся ею. Он также сказал, что понимает, что в СССР в силу ряда причин положение сильно отличается от положения в Польше и соответственно цели и возможности движения в защиту прав человека другие, но в основе все же лежит, по его мнению, нечто общее (а может, это я сказал, а он согласился). Ромашевский предложил мне написать статью для журнала «Культура», обещая, что она обязательно будет напечатана. Я ответил, что подумаю, но, к сожалению, в 1979 г. не осуществил этого. Я вообще с трудом пишу, и мне не было ясно, что я могу тут написать, не пережевывая давно известное моим читателям. А потом обстоятельства изменились, и мне тем более было трудно. Збигнев Ромашевский очень понравился и мне, и Тане Великановой своей интеллигентностью, умом, чувством ответственности, информированностью. Благодаря этой встрече, я лучше понимаю истоки «Солидарности».

Сейчас (я пишу это в октябре 1982 г.) я знаю, что несколько месяцев назад Збигнев Ромашевский арестован вместе с другими активными участниками славных событий 1980—1981 годов и ждет суда. Мои симпатии, глубокое уважение — на их стороне, вместе с пожеланием стойко вынести то, что несет им судьба.

© А. Сахаров

Михайло Михайлов

## ДОСТОЕВСКИЙ ПРОТИВ КАНТА

В 1963 году, во время максимального либерализма хрущевской эры, в издательстве Академии наук СССР была напечатана маленькая книжечка Я. Э. Голосовкера «Достоевский и Кант», прошедшая сравнительно мало замеченной в потоке лагерной литературы того времени и полемики, вызванной «Одним днем Ивана Денисовича» Солженицына, напечатанным в конце 1962 года. Так как в то время я готовил докторскую диссертацию по Достоевскому, то внимательно следил за всеми литературоведческими новинками, связанными с творчеством Достоевского, и поэтому как-то добрался до маленькой книжечки Голосовкера. Она меня настолько заинтересовала и настолько показалась необычной среди большого числа крупнейших литературоведческих трудов о Достоевском, которые захлестнули советский книжный рынок после 1956 года и XX съезда партии, что, попав в Москву летом 1964 года, я долго и безуспешно пытался отыскать автора. Свои попытки я впоследствии описал в одной главе книги «Лето московское». После этого в зарубежных русских журналах появилась пара статей о книге «Достоевский и Кант», а потом и на Западе и в Советском Союзе, судя по литературоведческим журналам, об этой книге Голосовкера забыли. Книга же «Достоевский и Кант» является лучшим, глубочайшим исследованием идеологической основы творчества Достоевского, когда-либо напечатанным в СССР. Перепечатку работы Голосовкера на Западе

издательством «Серебряный век» можно только приветствовать. Я глубоко уверен в том, что только это второе издание позволит широкой публике, а также и специалистам, ознакомиться с оригинальнейшими мыслями и идеями малоизвестного русского философа. Величайшая же ценность труда Голосовкера состоит в том, что он наглядно показал возможность точнейшего сравнения и «перевода» языка художественной литературы на язык чистой философии и наоборот.

Тираж издания Академии наук СССР 8.500, что для советских условий, конечно, очень мало. Книги других советских «достоевсковедов» печатаются в тиражах в 5 или даже в 10 раз больше. После двадцатилетнего вынужденного молчания о Достоевском, в 1956 году сразу же начали появляться книга за книгой, анализирующие творчество великого русского классика. Большинство книг советских исследователей, таких, как Ермилов, Гус или Кирпотин, главным образом занимались произведениями Федора Михайловича, придерживаясь или делая вид, что придерживаются, марксистско-социологической точки зрения, и доказывали, что все беды героев его романов являются результатом несправедливого общественного строя. На фоне таких многочисленных «исследований» второе издание книги М. Бахтина «Проблемы поэтики Достоевского», появившейся в том же 1963 году, и его теория о «полифоничности» романов Достоевского явилась, конечно, большим событием. После долголетнего обязательного марксистского подхода к художественным произведениям, структурализм и формализм не могли не казаться спасительной отдушиной. На Западе же книга Бахтина попала во времена поголовного увлечения структурализмом, формализмом в подходе к литературному тексту и логическим позитивизмом. Книги о Достоевском, написанные блестящими мыслителями русского религиозно-философского ренессанса: Бердяевым, Розановым, Лосским, Шестовым и

другими, — четверть века тому назад — в Советском Союзе все еще не были прочитаны, а на Западе — главным образом, лишь горсткой русских эмигрантов. Поэтому прошло практически незамеченным появление замечательной книги Георгия Мейера «Свет во тьме» с глубочайшим анализом «Преступления и наказания» в издательстве «Посев» в 1966 году. Надо думать, что одну из причин, по которым книга Голосовкера тоже осталась незамеченной и была переведена, кажется, только в Югославии, и то пару лет тому назад, надо искать не только в маленьком тираже и полном молчании советской критики, но и в модном почти что до наших дней стремлении западной критической мысли к литературной критике и анализу, который якобы должен быть предельно «научным» и заниматься исключительно «материей и структурой словесного материала» художественного произведения. К счастью, не только в новейшей физике, но даже и в литературоведении в наше время можно наблюдать отход от всякого «научного позитивизма». Конечной точкой такого отхода является русская философская мысль Льва Шестова, Николая Лосского, Семена Франка, Николая Бердяева, Сергея Булгакова и других, менее известных русских философов. В этом и состоит значение русской мысли для будущей культуры всего человечества. Путь от марксизма и научного позитивизма они прошли на полвека раньше западных мыслителей. «Открытие» русской мысли на Западе явится таким же значительным духовным событием, каким было открытие советской диссидентской литературы. Можно сказать, что Солженицын, Надежда Мандельштам, Андрей Синявский и теперь уже десятки и десятки других писателей подготовили почву для понимания и восприятия русской философской мысли и что их произведения — эмпирическое для нее доказательство. Книга же Голосовкера «Достоевский и Кант» является замечательным и пока что единствен-

ным мостом между научно-позитивистским догматизмом и русской философской мыслью, несмотря на то или, лучше сказать — благодаря тому, что работа эта написана отнюдь не языком русской философии и в ней, конечно, не упоминается по имени ни один русский мыслитель.

И, тем не менее, это книга о борьбе между атеистической мыслью и наукой — и религией, причем Голосовкер недвусмысленно показывает, что в конце концов побеждает религия и что человек становится жертвой не только душевно, но и физически, когда вместо «голоса сердца» следует «голосу разума». Думается, что причины, почему советская Академия наук напечатала такую книгу, следующие: во-первых, такое было время «либеральное»; во-вторых, чистая философия и Кант не так уж привлекательны и опасны для широкого круга читателей; в-третьих, хотя это нигде не указано, но, по словам племянника Голосовкера, С. О. Шмидта, сказанным мне в Москве в 1964 году, напечатана лишь маленькая часть большого труда; в-четвертых, сам автор все время оговаривается, что его труд является анализом лишь одной стороны творчества Достоевского — «интеллектуальной трагедии», а совсем не касается «общественных корней» творчества Федора Михайловича. Да и кто в Советском Союзе может читать Канта? Любопытным фактом является то, что, как пишет академик Н. К. Гудзий в коротеньком предисловии к книжечке Голосовкера, все цитаты из Канта взяты из издания «Критики чистого разума» в переводе Николая Лосского, напечатанного в Петрограде вторым изданием в 1915 г. Самоочевидно, что после этого издания Канта больше не печатали. Кстати, это единственное упоминание в книге имени одного из русских мыслителей, так много писавших о Достоевском.

В наше время многое изменилось уже и в Советском Союзе. Именно из Самиздата несколько лет то-



му назад попала в Тамиздат интереснейшая попытка «преодоления Канта» молодого философа Игоря Ефимова «Практическая метафизика». В 1980 году в издательстве ИМКА-Пресс в Париже напечатана замечательная книга «Мысли перед рассветом» Виктора Тростникова, все еще живущего в Москве, в которой подвергнута критике сама идея позитивистской науки. Думается, что, появившись книжечка Голосовкера в наше время, отклик на нее был бы несравнимо сильнее. Поэтому второе издание книги появляется в самый нужный момент.

В Большой Советской Энциклопедии Голосовкеру посвящено 18 строчечек. Оказывается, Яков Эммануилович Голосовкер родился в 1890 году в Киеве, где он и окончил историко-филологический факультет Киевского университета. В двадцатые годы читал лекции во 2-м МГУ. Печатался с 1913 года и является автором книг о греческой мифологии «Сказания о титанах» (1955), «Сказание о кентавре Хироне» (1961). Голосовкер также переводил Гельдерлина «Смерть Эмпедокла» (1931), Горация «Избранные оды» (1948) и античную поэзию «Поэты-лирики древней Эллады и Рима» (второе издание, 1963). Умер в Москве в 1967 г. Я узнал от его племянника, что Голосовкер провел «только» пять лет в лагере, а также, что когда-то о нем очень похвально писал Анатолий Луначарский. Вот и все, что известно об авторе замечательной книги.

Однако книга сама говорит о своем творце.

Основная идея Голосовкера состоит в том, что Достоевский совершенно сознательно в романе «Братья Карамазовы» полемизировал с Кантом, причем с Кантом, символизирующим всю атеистическую и критическую философию нового времени и, конечно, научный позитивизм. При этом Голосовкер показывает, что полностью возможен перевод языка художественной литературы на язык чистой философии и что полемика со стороны Достоевского

ведется отнюдь не высказываниями его положительных героев, а всей структурой романа. В этом отношении можно сказать, что Голосовкер соглашается с тезисом о «многоголосности» романов Достоевского Михаила Бахтина. Однако добавим от себя, что в этом смысле вся художественная литература «полифонична», а там, где герои литературного произведения выражают только мысли писателя, — просто нет художественной литературы.

Начиная со скрупулезного анализа «авторского» и «читательского» планов романа, Голосовкер приходит к выводу, что настоящий убийца Федора Павловича Карамазова — не Смердяков, не Иван Карамазов, а «черт» критической философии, скрывающийся в четырех знаменитых антиномиях произведения Канта «Критика чистого разума», во второй книге «Трансцендентальной диалектики», в главе «Антитетика». В этом произведении, определившем на столетие пути философской мысли, Кант сформулировал четыре известных антиномии, на которые разум человеческий не может дать ответа. Это антиномии о том: 1) сотворен ли мир и конечен во времени или же не сотворен и вечен; 2) есть ли бессмертие или его нет; 3) существует ли свобода воли или же одни законы природы; и 4) есть ли Бог или существует один материальный мир. По Канту, человеческий разум не может вынести правильного решения этих четырех антиномий и, как пишет Голосовкер, осужден вечно качаться «на коромысле антиномий между религией и наукой». Выход из этого коромысла Кант нашел в утверждении, что существует «врожденная Иллюзия разума» о якобы непримиримых антиномиях, так как в разуме нет ничего, чего не было бы в опыте, а, по Канту, для нас доступен только опыт мира внешнего («мира для нас»), путь же познания внутреннего мира («мира для себя»), в котором базируется тезис антиномий (мир сотворен и конечен, бессмертие существует, так же, как свобода

воли и Бог), по Канту — для нас навсегда закрыт. А так как во внешнем мире, «мире для нас», нет Бога, а есть только полный детерминизм в законах природы, то логически, как это указал Достоевский, выходит, что для человека нет никакой ответственности (ответственность возможна только там, где есть свобода), нет ни в чем виновных, и из этого тоже последовательно логически выходит формула Достоевского «все позволено», против которой он всю жизнь боролся. Кант же, понимая, что во внешнем мире, «мире для нас», нет и не может быть никаких истоков морали, ввел «категорический императив», в сущности заменяющий «голос сердца», то есть голос совести. Совершенно очевидно, что вся философия Канта построена на догмате о том, что существует непреодолимый разрыв между «миром для нас» и «миром для себя» и что человеку недоступен опыт внутреннего мира, так как он сам полностью принадлежит миру внешнему. Несомненно, что Кант блестяще разработал и сформулировал основные положения атеистической мысли нового времени, на которых основывается вера в безграничное познание мира и жизни (правда, познание только внешнего мира, «мира для нас») и вся наука. Поэтому Достоевский, полемизируя с Кантом, однако ни разу по имени его не упомянув, по существу полемизирует со всей философией новейшего времени, с наукой и познанием как целью жизни человечества на земле и, конечно, с социализмом, который является просто производным из основной догмы нового времени об отрыве внутреннего и внешнего миров. В гносеологии этот отрыв именуется распадом на «субъект» и «объект» познания.

Как известно, вся западная мысль до нашего времени не может выпутаться из кантовских антиномий, и ныне настолько популярный в западных университетах «логический позитивизм» все еще занимается уточнениями; «верификацией» данных опыта о внешнем

мире, то есть находится в плену у основной догмы кенигсбергского философа. Говорить же о псевдорешении проблемы в марксизме, с его «теорией отражения» в познании, — нет смысла.

Не будучи профессиональным философом, Достоевский, тем не менее, гениально уловил то, что проблема познания, то есть гносеология, является краеугольным камнем духовной жизни нового времени. Голосовкер в качестве эпиграфа к своему труду поставил слова Достоевского об Иване Карамазове, что он «из тех, которым не надобно миллионов, а надобно мысль разрешить». Иван Карамазов, как это убедительно показывает автор книги «Достоевский и Кант», — жертва Иллюзии разума и диалектический герой кантовских антиномий. Его трагедия — это трагедия ума, «тщетно жаждущего познания всей истины бытия и жизни, абсолютного познания до самого конца (и непременно сейчас же, в этот момент) и бессильного этот конец ухватить, невзирая на все успехи своей познавательной деятельности» (стр. 95). Настоящие герои романа — это, по Голосовкеру, тезис и антитезис кантовских антиномий, воплощенные со всевозможными вариациями в «мыслеобразах героев романа».

Прав Голосовкер в том, что у Достоевского «идеи дышат кровью и покрывают трупами сцену» (стр. 92) и что «не множество человеческих трупов, а только один труп — труп, плавающий в крови, «идеи самоубийцы» хочет положить перед читателем торжествующий автор Достоевский: труп антитезиса... И убийцей всех этих самоубийц и убитых (в романах Достоевского. — М. М.) является формула «все позволено», которая, по замыслу автора, должна в их лице убить самое себя, — свою же собственную идею» (стр. 43).

Если признание антитезиса (мир не сотворен и вечен, бессмертия нет, свободы и Бога тоже нет и существует один материальный мир и вечные законы

природы) логически приводит к формуле «все позволено», то, наоборот, признание верным тезиса так же последовательно приводит к утверждению, что «все за всех виноваты» и что существует неразрывная связь между людьми, *потому что* существует связь между внутренним и внешним мирами (по-латыни «религио» и означает — связь). Жажда познания, мучающая Ивана Карамазова и, по существу, представляющая ту же жажду познания внешнего мира, на которой основывается современная наука, уже является *последствием* какого-то внутреннего раздвоения человеческой личности. Желание познать появляется только тогда, когда человек уже «отчужден» от мира и жизни, которые претворяются в объект познания. Когда истинный смысл жизни в результате разрыва внутреннего и внешнего миров потерян, тогда единственным смыслом человеческого существования становится жажда познания, то есть овладение всем миром (конечно, внешним миром). Поэтому у Достоевского, как это подчеркивает Голосовкер, именно черт в кошмаре Ивана Карамазова говорит: «Ежечасно побеждая уже без границ природу волею своею и наукой, человек тем самым ежечасно будет ощущать наслаждение столь высокое, что оно заменит ему все прежние упования наслаждений небесных» (стр. 50). Голосовкер ясно показывает, что Достоевский «черта — науку поставил перед судом читателей в романе 'Братья Карамазовы'» (стр. 91). Противопоставление жизни и разума, жизни и науки, жизни и жажды познания, лаконичнее всего выражено в «Записках из подполья» в словах подпольного мыслителя: « $2 \times 2 = 4$ , господа, но это уже не жизнь, а начало смерти». Вот поэтому, по словам Голосовкера, Достоевский «вступил в смертельный поединок с Кантом — в один из самых гениальных поединков, какие остались запечатленными в истории человеческой мысли»... Кант как автор «Критики чистого разума»... оказался чертом... Вот по-

чему Достоевский против Канта. С диалектическим героем антиномий, с Иваном, на арене романа вступил в бой достойный противник — «рыцарь страха и упрека»: с «наукой» вступила в бой совесть и победила» (стр. 87). Так, по Голосовкеру, в своем творчестве «Антикант» Достоевский вступил в поединок с Кантом и «рассекретил его». «'Ад ума' был тот великий опыт, который Достоевский запечатлел и передал человечеству в своих романах-трагедиях» (стр. 92). Замечательно верны слова Голосовкера, что «рядом с «Божественной Комедией» Данте — адом моральным, с «Человеческой комедией» Бальзака — адом социальным, стоит многотомная «Чертова комедия» Достоевского — ад интеллектуальный» (стр. 93). И все же совершенно верно автор книги замечает, что под «наукой» Достоевский подразумевал лишь веру в то, что существует один материальный мир, лишь веру в кантовский антитезис, веру в познание как цель человеческой жизни. То есть Достоевский имел в виду нынешнюю догматическую науку, отрицающую даже существование мира духовного. Поэтому Голосовкер прав, что «Достоевский неустанно... жадно и упорно выпытывал тайны страдающей мысли, как наука выпытывает у нее тайны материи, порой подразумевая под этим и тайны духа» (стр. 94).

Самое оригинальное в книге Голосовкера то, что он показывает, что Достоевский видит решение не в снятии кантовских антиномий, как это сделал Кант, провозгласив Иллюзию Разума, не в отрицании антитезиса, а в принятии антиномичности жизни. Это по существу значит: в отрицании суда над жизнью со стороны разума. «'Все противоречия вместе живут', это осуществленное противоречие, усмотренное Достоевским в основе бытия и жизни, легло в основу романа», — пишет Голосовкер (стр. 89). По Канту, Иллюзия Разума врождена человеку, по Достоевскому — никакой иллюзии нет, а сама жизнь и реальность

противоречивы. Достоевский видит ответ отнюдь не в приятии одного тезиса: Ивана Карамазова к сумасшествию приводит антитезис (Бога и свободы нет), князя Мышкина в «Идиоте» — тезис. По Голосовкеру, для Ивана Карамазова противоречие двоemiрия является бесовским хаосом (жизнь для разума в самом деле — хаос). Однако «совсем по-иному двоemiрии представляется старцу Зосиме: для него «мимоидущий лик земной» и «вечная истина» соприкасаются. Перед правдой земной совершается действие вечной правды... Дуализм старца Зосимы и есть, по сути, преодоленный дуализм Канта, так как мир потусторонний и мир посюсторонний неразделимы: они соприкасаются, объединены, один переходит в другой, горе снова сменяется радостью» (стр. 83). Цель и смысл жизни отнюдь не в познании.

В книге Голосовкера существует, однако, одно важное утверждение, с которым я ни в коем случае не согласился бы. Голосовкер считает, что «Достоевский не только был знаком с антитетикой «Критики чистого разума», но и продумал ее. Более того, отчасти сообразуясь с ней, он развивал свои доводы в драматических ситуациях романа» (стр. 38). Автор книги «Достоевский и Кант» пишет, что «читателю незачем даже прибегать к изучению биографии писателя, чтобы убедиться в его знакомстве с Кантом. Текст романа и текст «Критики чистого разума» — здесь свидетели достоверные» (стр. 39). Также и академик Гудзий, редактор книги, говорит о «роли, которую сыграло для Достоевского при писании романа «Братья Карамазовы» знакомство с трудом Иммануила Канта», и о том, «насколько проницательно читал Достоевский Канта» (стр. 3). По Голосовкеру, Достоевский не изменил даже кантовской терминологии в устах старца Зосимы: «Доказать тут ничего нельзя, убедиться же возможно...» (стр. 54). Из книги Канта Достоевский якобы взял название для глав романа

«Контраверза» и «Про и контра». Голосовкер даже отыскал упоминание о произведении Канта в письме Федора Михайловича к брату, датированном 22 февраля 1854 года, в котором он просил выслать ему: «историков древних и новых (Вико, Гизо, Тьерри, Тьера, Ранке и т. д.), экономистов и отцов церкви... Коран, «Критику чистого разума» Канта... непременно Гегеля, в особенности Гегелеву 'Историю философии'» (стр. 97).

Никаких других упоминаний о Канте в письмах или черновиках Достоевского мы не находим. Как известно, Достоевский вышел из омского острога 23 января 1854 года, то есть за месяц до написания письма, в котором он просил брата выслать ему множество книг, по которым он изголодался в остроге. Прочел ли он толстенный труд немецкого философа, требующий для понимания подготовку в области школьной философии, — весьма сомнительно. Во всяком случае думается, что следы чтения автором «Братьев Карамазовых» книги Канта остались бы в биографии писателя и в записках современников. Тем более, что «Братья Карамазовы» написаны незадолго перед смертью. Символом атеистической науки для Достоевского всегда был французский ученый Клод Бернар: «Бернары проклятые». Канта же Достоевский нигде и ни разу не упомянул. Надо думать, что гений Федора Михайловича интуитивно отыскал краеугольную духовную проблему века, которую со своей стороны на языке философии сформулировал Кант, и попробовал ее по-своему разрешить. Противостоянием морали и религии мучались не только Кант и Достоевский, но и все духовно чуткие люди XIX и XX веков. Об этом нехотя написал сам Голосовкер, что «если полагать, что — по Канту, — речь в тезисе антиномии идет о «краеугольных камнях» морали и религии, а в антитезисе о «краеугольных камнях» науки, то о тех же «краеугольных камнях» идет речь и



в романе. Стоит только вывести первые две антиномии из космологического плана науки и перевести все положения антиномии на язык морали и религии, чтобы полное совпадение стало очевидным» (стр. 39). Голосовкер, сам показавший возможность перевода с языка философии на язык художественной литературы, очевидно, приписал способности такого же перевода и Достоевскому. На это нет никаких оснований. Более вероятно, что некоей способностью интуитивного перевода из одного духовного плана в другой обладал Альберт Эйнштейн, писавший, что чтение Достоевского расширило его духовное зрение и тем самым способствовало его открытиям в физике.

Задолго до Голосовкера один из величайших русских мыслителей Лев Шестов, по существу, высказал ту же самую идею, которую так убедительно доказал Голосовкер в своей книге, то есть что настоящую критику разума можно найти не у Канта, а у Достоевского, Кант же разум не критикует, а, наоборот, ставит на пьедестал человеческого духа. В истории русской философии существует одна работа, по духу очень схожая с книгой Голосовкера, однако написанная в переводе на язык социально-политический во время Первой мировой войны: «От Канта к Круппу» В. Ф. Эрн.

Русская философская мысль, все еще так мало известная на Западе, уже в начале века, особенно между двумя мировыми войнами, поставила важнейшие вопросы нашего времени и, конечно, «проклятый» вопрос Достоевского: «На чёрта мне познание добра и зла», — совершенно по-новому, и совершенно по-новому на него ответила. Можно сказать, что только в трудах Франка, Лосского, Шестова, Бердяева, Булгакова и других *мыслителей наступающего времени* преодолены знаменитые антиномии Канта и создана совершенно новая гносеология. Некоторые из этих мыслителей называли свою философию «идеал-реализ-

мом», некоторые — «интуитивизмом», некоторые — «пнеумотологией» (пнеума — дух). Время «открытия» и приятия этой философии только подходит. Книга Голосовкера «Достоевский и Кант», напечатанная в том странном 1963 году советской Академией наук, об этом свидетельствует и новому духовному ренессансу прокладывает дорогу. Вот в этом ее неопределимое значение.

1982

Единственная ежедневная русская газета  
за рубежом

## «НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО»

выходит в Нью-Йорке, США, с 1910 г.

Главный редактор **Андрей Седых**

«Новое русское слово» регулярно печатает документы самиздата, протесты из СССР, произведения лучших эмигрантских писателей, публицистику и прочее.

Подписная цена 70 долларов в год,

35 дол. — 6 месяцев

Воскресное издание — только 35 дол. в год

Годовая подписка воздушной почтой

(пачками по 6 номеров) — 150 долларов в год

Подписку с платой направлять по адресу:

461 8th Avenue, New York, N. Y., 10001 USA.

NOVOE RUSSKOYE SLOVO

Гилберт Докторов

## РЕФОРМА ЦАРСКОЙ ЦЕНЗУРЫ\*

О царской цензуре существует ряд работ. Некоторые из них были написаны до 1917 года<sup>1</sup>, другие появились в последние годы<sup>2</sup>. Но эта богатая тема еще далеко не исчерпана, и в нашем представлении о царской цензуре остается ряд серьезных хронологических и тематических пробелов. С одной стороны, исследования концентрировались, главным образом, вокруг реформы цензуры 1865 г., информация о которой стала общедоступной в 1870 году. С другой стороны, исследователи цензуры периода после 1865 г. ограничивали свои архивные изыскания одной коллекцией, материалы которой освещают действия цензуры одно-сторонне<sup>3</sup>.

В своей работе о реформе цензуры 1904—1906 гг. я попытался учесть оба эти пробела. Эта реформа заслуживает нашего внимания по той причине, что она

---

<sup>1</sup> М. Лемке. Эпоха цензурных реформ 1859—1865 гг. Санкт-Петербург, 1904.

В. Розенберг и В. Якушин. Русская печать и цензура в прошлом и настоящем. Москва, 1905.

<sup>2</sup> И. Оржеховский. Администрация и печать между двумя революционными ситуациями. (1866—1878 гг.). Горький, 1973.

П. Зайончковский. Российское самодержавие. Москва, 1970, гл. 6.

<sup>3</sup> Министерские циркуляры и досье, относящиеся к административным наказаниям, налагаемым общей отечественной цензурой в отдельных случаях. ЦГИА, фонд 774.

---

\*Публикуется в сокращенном виде.

дала России гораздо больше, чем реформа 1865 г. и поставила русскую печать в условия, почти аналогичные условиям западноевропейской печати. Если бы не несколько произвольных факторов, русская печать могла бы оказаться в условиях, полностью аналогичных условиям западноевропейской печати. В своей работе я подробно останавливаюсь на том, что могло бы быть и что действительно имело место после проведения реформы.

Реформа 1904—1906 гг. интересна еще и потому, что она породила большое количество документов. Наиболее примечательны 700 страниц протоколов Особого Сопещения государственных чиновников и частных лиц, которые принимали участие в выработке нового устава о печати. Участники Сопещения занимали высокое общественное положение, и материалы по выработке нового устава поражают полнотой и откровенностью сделанных ими заявлений о царской цензуре во всех ее проявлениях. Ниже я останавливаюсь на разборе этих документов.

## I. ЦЕНзуРА НАКАНУНЕ РЕФОРМЫ

Можно сказать с уверенностью, что на рубеже столетия русское законодательство в области печати отставало от времени. Главный государственный закон, который регулировал издательскую деятельность, а именно «Устав о цензуре и печати» в «Своде законов», состоял в основном из статей, написанных в 1828 году, когда юридические стандарты были на довольно низком уровне. Этот объемный и сложный документ был посвящен, главным образом, методике общей цензуры отечественных и зарубежных изданий. Указания устава трактовали с одинаковым вниманием как тонкости стилиа и контекста произведений (с точки зрения возможности публикации), так и их содержа-

ние. Касательно последнего следует отметить, что официальные определения богохульства и оскорбления Императорского Величества были настолько расплывчатые, что устав запрещал материалы лишь за то, что они имели тенденцию подорвать доверие к личностям, законам и учреждениям, находившимся на службе Церкви и государства.

Второй государственный закон, Уложение о наказаниях, совмещал предостережения и определенные запрещения (по уставу) с драконовскими уголовными санкциями<sup>4</sup>. Правительство понимало необходимость изменения казуистического языка закона. В 1903 г. его должен был заменить новый уголовный кодекс, лучше составленный и проникнутый более современными юридическими понятиями. Однако этот кодекс вступил в действие лишь в 1905 году.

Устав о цензуре и печати требовал срочной замены, но в течение ряда лет он подвергся лишь незначительным изменениям. Так, в 1865 г. в него был внесен ряд исправлений, а в 1870—1880 гг. добавлено несколько новых, которые лишь усугубили логические противоречия устава. Главная несообразность состояла в том, что устав узаконивал два взаимно исключających друг друга метода контроля над ответственными изданиями: предварительную и карательную цензуру. Предварительная цензура, применяемая к большинству отечественных изданий, осталась с николаевских времен. Карательная цензура была введена в 1865 году и применялась только к «привилегированным» изданиям: большинству журналов обеих столиц и ряду газет и журналов, которые выпускались в других местах, но имели специальные разрешения; оригинальным книгам объемом свыше 10 печатных

---

<sup>4</sup> Ссылкой или длительным тюремным заключением наказывались преступления против веры, против государства, против правительства и против установленных норм поведения.

листов (160 страниц) или переводным сочинениям объемом свыше 20 печатных листов (320 страниц), которые выпускались в двух столицах, а также печатным трудам, издаваемым правительственными учреждениями и научными обществами Российской Империи.

В уставе о цензуре и печати ни один метод контроля не был представлен в чистом виде — скорее каждый заключал в себе элементы другого. Главным отличием являлась степень цензурного вмешательства. Публикации, подлежащие предварительной цензуре, прочитывались должностными лицами в рукописном виде или в гранках. Цензор мог тратить на рассмотрение журнальных номеров весь период между выпуском номеров, на рассмотрение книг или брошюр — до трех месяцев. Несмотря на то, что он сам не мог делать исправления, он отмечал нежелательные параграфы, которые необходимо было изменить перед отправлением сочинения в печать.

Публикации, не подлежащие предварительной цензуре (по закону о карательной цензуре<sup>5</sup>), перед рассылкой также подвергались официальной проверке, но вмешательство было весьма ограничено. Ежедневные газеты поступали к цензору перед отправкой в типографию, то есть на один-два часа. Другие печатные материалы инспектировались после окончательной публикации. В этом случае у цензора было семь дней, чтобы принять решение относительно книг и брошюр и четыре дня — относительно периодических изданий. Работы, публикуемые при таких благоприятных условиях, могли не пройти цензуру только целиком или в больших отрывках.

Существенная разница между привилегированным

---

<sup>5</sup> Термин «карательная цензура» в уставе не употреблялся, вместо этого эвфемистически говорилось о публикациях, «освобожденных от предварительной цензуры», или бесцензурных.

и непривилегированным секторами печати заключалась в степени ответственности. За материалы, подлежащие предварительной цензуре, существовала ответственность только перед администрацией, за материалы, не подлежащие предварительной цензуре, — только перед судом. В реформе 1865 г. это отличие стало менее очевидно и позже совсем исчезло. Но, когда в 1904 г. встал вопрос о реформе цензуры, оно явилось центральным пунктом.

Предварительная цензура происходила в административных рамках. Когда цензор находил, что сочинение неприемлемо для публикации, его мнение поступало на утверждение в более высокие инстанции. Более того, автор освобождался от личной ответственности; если публиковалось криминальное сочинение, к ответу призывали цензора. Однако редакторы и издатели периодики могли подвергнуться наказанию за издание того, что позже было определено как недозволенный материал, и это уже независимо от виновности цензора.

Публикации, освобожденные от предварительной цензуры, несли первичную ответственность перед судами. Обычно, если цензор считал, что данная работа нарушила закон, он должен был представить дело судье с целью воспрепятствовать распространению этой работы и наказать нарушителя. Обвинения могли быть выдвинуты против автора, издателя, редактора, типографа и всех лиц, которые способствовали подготовке и распространению работы. Несообразность заключалась в том факте, что официально имелась возможность конфискации этой работы в строго административном порядке. Согласно реформе 1865 г. это было применимо только по отношению к журналам. Министр внутренних дел имел право сделать официальное предостережение журналам и газетам за «пагубное направление». После третьего предостережения издание временно прекращалось, но на срок не более

шести месяцев. Если после этого издание не меняло своего направления, министр имел право снова наложить временный судебный запрет и запросить Сенат об окончательном прекращении издания.

Позднейшие поправки усовершенствовали и расширили механизм административного давления на работы, освобожденные от предварительной цензуры. Министр внутренних дел мог издать приказ об аресте любой книги или любого журнала и, по требованию, исходящему от Комитета Министров (еще одна административная инстанция), приказ об уничтожении данного печатного материала. Министр мог выразить свое недовольство данным печатным органом, запретив в нем рекламные объявления на срок от двух до восьми месяцев. Он мог запретить печатному органу касаться определенных вопросов, считающихся рискованными, и имел право приостановить на срок до трех месяцев те издания, которые нарушали этот запрет. По возобновлении издания печатного органа, закрытого после трех предупреждений, от издателя могли потребовать представить экземпляр на цензуру не в общем порядке, а раньше, в условиях, аналогичных условиям предварительной цензуры. И последнее: право закрыть печатный орган было передано из Сената совещанию четырех официальных лиц на уровне министров.

С расширением административных санкций по отношению к сектору печати, «освобожденной от предварительной цензуры», власти обращались в суд реже и реже. Действительно, после 1860 г. судебные процессы по делам печати были связаны почти исключительно с обвинениями в клевете и обычно возбуждались частными лицами. Но не следует спешить с заключениями и отождествлять причину и результат.

Безусловно, важную роль в прекращении использования правительством карательной цензуры играло историческое решение Сената от 14 мая 1869 года.



В выводах по делу Павленко Сенат определил, что автор или иные лица, ответственные за издание литературы, нарушающей закон, могли быть обвинены лишь в сборе информации для совершения преступления, если они должным образом представили экземпляр издания цензору и издание было остановлено до распространения. *Приготовление* не влекло за собой заключения автора в тюрьму и было наказуемо лишь уничтожением недозволенного материала. Таким образом, юридическое наказание перестало быть угрозой, и власти потеряли к нему интерес...

## II. ПОДГОТОВКА РЕФОРМЫ

Насколько эффективны были методы правительства по искоренению подрывной деятельности, поощряемой печатью? Можно предположить, что в общем правительство преуспело в поддержании благопристойного тона в официальной прессе. Если же запрещенная литература все же проникала нелегально, ввозимая из-за границы или печатаемая в подпольных типографиях, то этим уже занималась полиция, а не цензура. Принимая во внимание то, что за сорок лет правительство никак радикально не изменило систему, можно предположить, что оно было удовлетворено результатами.

В 1904 г. положение изменилось. Шла русско-японская война, неудачная для царского правительства. В печати появлялось все больше материалов с резкой критикой действий правительства. Эти статьи отражали растущие революционные настроения в стране. Обычно осторожные представители дворянства и земские деятели начали критиковать самодержавие, и степенные до этого газеты и журналы тоже начали показывать зубы. Однако правительство истолковало эти признаки по-своему. Явное снижение

эффективности цензуры во время войны и растущее требование свободы печати и других конституционных свобод были восприняты правительством как знак того, что старая система изжила свою полезность и должна быть заменена.

В самом правительстве инициатива реформы законов о печати принадлежала Петру Дмитриевичу Святополк-Мирскому, умеренному генерал-губернатору Вильны, которого Николай II с целью снискания доверия либеральной части русского общества назначил министром внутренних дел. С момента своего назначения Святополк-Мирский в необычно откровенных интервью с журналистами дал понять, что намеревается покончить с репрессивной политикой предшественников и провести реформы во всех областях, включая и печать.

Была подготовлена и 23 ноября 1904 г. представлена на рассмотрение царю программа реформ. Раздел о цензуре был подготовлен при участии Главного Управления по делам печати, работники которого критически охарактеризовали существующий закон. В докладе указывалось несколько решений. Первое — отменить предварительную цензуру или свести ее к минимуму. Второе — дать более точные определения, что дозволено по закону к печати и что не дозволено. Третье — установить единую ответственность для всех нарушений закона о печати: либо перед общими уголовными судами, либо перед специальными административными судами, способными обеспечить беспристрастное рассмотрение дела.

Наиболее известным пунктом доклада Святополк-Мирского был план ввести выборных представителей в высшие законодательные органы власти. После обсуждения доклада с другими министрами и высшими государственными сановниками именно это условие и было отвергнуто царем. Однако остальные предложения программы, включая рекомендации о печати,

были одобрены. Пункт 8 Указа от 12 декабря 1904 г. подчеркивал, что главной целью закона служит ликвидация «излишних ограничений» на печать и введение печати в строгие рамки закона.

Согласно закону, вся дальнейшая работа по реформе печати передавалась Кабинету Министров. Кабинет, возглавляемый энергичным графом С. Ю. Витте, бывшим министром финансов, обсуждал первые восемь пунктов проекта закона на заседаниях 28 и 31 декабря 1904 года. Участники обсуждения выработали единую резолюцию, призывающую к немедленной отмене, изменению или тщательному пересмотру цензурных правил, особенно тех, что были добавлены после 1865 года. Еще более важным выводом Комитета было решение в течение следующих двух лет выработать новый, всесторонний закон о печати. С этой целью рекомендовалось создать Особое Сопровождение и в качестве участников пригласить высших чиновников, ученых, ведущих писателей и издателей. Председатель Сопровождения имел бы право для получения всесторонней картины привлекать к работе Сопровождения представителей провинциальной прессы и других докладчиков. Проект закона, выработанный Сопровождением, отправлялся бы на утверждение в Государственный Совет. Хотя Кабинет Министров постановил создать Особое Сопровождение, он не определил рамок работы Сопровождения. Единственным определенным указанием Кабинета участникам Сопровождения было создание постоянного кассационного органа, не подчиненного министерству внутренних дел, в задачи которого входило бы разбирательство тех дел, которые правительство не желало направлять в суд. Это вневедомственное учреждение должно было состоять из юристов и административных работников, «чье положение уже гарантировало бы правильный и беспристрастный разбор всего происходящего в области печати». Эта по-

правка предполагает дальнейшее применение административных санкций против печати.

\* \* \*

Царь согласился с рекомендациями Кабинета Министров и 23 января 1905 года назначил Дмитрия Фомича Кобеко председателем Особого Совещания. Кобеко в то время занимал пост директора Императорской Публичной Библиотеки. Он занимал важные государственные посты с середины 1860-х годов. На вершине своей карьеры он работал в министерстве финансов в качестве близкого сотрудника Витте, с 1901 г. был членом Государственного Совета. В 1860-х и в 1870-х годах он был активным участником и членом правления Литературного Фонда. Его собственная библиотека считалась одной из лучших частных библиотек в России. Нельзя забывать о нем как о писателе. Он был автором исторических сочинений, в том числе известной монографии «История императора Павла Первого». Ходили слухи, что царь был удовлетворен изображением императора и способствовал назначению Кобеко председателем Особого Совещания. Первыми членами Совещания были выбраны представители министерств, наиболее заинтересованных в цензуре. От министерства внутренних дел был избран князь Н. В. Шаховской, член Совета этого министерства и бывший директор Главного Управления по делам печати. Будучи главой цензуры с 1899 по 1902 год, он изъездил Россию с целью лично убедиться в положении печатного дела на местах. Он был также известен своей попыткой внести некоторый порядок в работу департамента и систематизировать кипу циркуляров, скопившихся за годы. До того как он был назначен директором Главного Управления по делам печати, он проработал пять лет цензором

в Московском цензурном комитете и год — директором Санкт-Петербургского цензурного комитета.

Министерство образования представлял И. Л. Радлов, редактор журнала министерства и философ по образованию. Он публиковал статьи и читал лекции по философии. Министерство юстиции представлял консультант министерства В. Ф. Дерюжинский. Святейший Синод был представлен епископом Нарвским Антонином и о. А. П. Рождественским, профессором Ветхого Завета в Санкт-Петербургской Духовной Академии. А. П. Рождественский был автором работ по богословию и по древнееврейским текстам.

По своему выбору Кобеко назначил еще двух участников. Это были В. А. Верещагин, чиновник государственного казначейства, он стал секретарем Совещания, и барон И. Ю. Нольде, правая рука Витте в Кабинете Министров и эксперт по составлению проектов. Остальные участники Совещания были назначены Николаем II. Членов Совещания, в зависимости от их участия в обсуждении и принятии резолюций, можно разбить на несколько групп.

Н. А. Зверев был выбран благодаря его заслугам и опыту государственной службы. Сенатор и член Государственного Совета, в период 1898—1901 гг. он был товарищем министра образования, а в годы правления Плеве возглавлял Главное Управление по делам печати. Другим членом этой группы был В. М. Юзефович. При Сипягине он был цензором в Киеве. Он пользовался сомнительной известностью как агент полиции. Позже он сделал карьеру в «Черной сотне».

П. В. Никитин, филолог и вице-президент Академии Наук, выступал от имени ученых. К этой же группе можно отнести доктора медицины и администратора С. М. Лукьянова. С 1894 по 1902 год он был директором Санкт-Петербургского института экспериментальной медицины, с 1903 по 1904-й — заместителем министра образования. Позже он стал обер-

прокурором Святейшего Синода. Математик Н. Я. Сонин, заслуженный профессор в отставке, и В. О. Ключевский выступали от имени научной общественности.

Литературу представляли несколько хорошо известных в петербургских кругах литераторов. Поэт и переводчик князь Д. Н. Цертелев был бывшим редактором «Русского Обозрения». Князь Д. П. Голицын, который позже стал активным участником Союза Русского Народа, был автором романов из светской жизни, которые издавал под псевдонимом Дмитрий Муравлин. Почетный академик князь А. А. Голенищев-Кутузов писал стихи, которые в 1904—1905 г. были опубликованы в трех томах. В 1890-х годах он служил директором дворянского и крестьянского земельных банков, а в 1905 г. возглавлял канцелярию вдовствующей императрицы Марии Федоровны.

Членами Совещания были многие хорошо известные в России издатели — например, А. С. Суворин, занимавшийся издательским делом свыше 50 лет. С 1876 года он издавал консервативную газету «Новое Время». Он основал целую империю по изданию и продаже книг, которая носила его имя. Кроме того, он писал романы и пьесы. Другими членами Совещания были издатель и редактор умеренного журнала «Вестник Европы» М. М. Стасюлевич и редактор-издатель консервативного журнала «Гражданин» князь В. П. Мещерский. Экономист и профессор Киевского Университета Д. И. Пихно принял участие в работе Совещания как редактор «Киевлянина». И наконец, членом Совещания был К. К. Арсеньев, юрист, специалист по правовым вопросам, литературный критик и почетный академик литературы.

Принимая во внимание необычайную преданность К. К. Арсеньева русской литературе и центральную роль, которую он играл в работах Совещания, стоит сказать о нем несколько слов. Он стал известен

с 1860-х годов, с того момента, как выступил защитником на нескольких судах по делам печати, а в литературу вступил автором очерков, регулярно печатаясь в «Вестнике Европы». Арсеньев принимал активное участие в работе Литературного Фонда и в 1880-х годах был его председателем. Позже он редактировал «Вестник Права», а в 1891 г. стал соредактором Энциклопедического Словаря Брокгауза и Эфрона. В 1903 г. статьи Арсеньева о цензуре были изданы отдельной книгой.

Среди участников Совещания — специалистов по правовым вопросам, безусловно, самым видным являлся А. Ф. Кони. Разнообразная деятельность Кони в качестве прокурора, профессора уголовного права, чиновника в министерстве юстиции превратила его в одного из самых опытных юристов в России. Он принимал участие в многочисленных, специально созданных комиссиях, разбиравших такие вопросы, как суд присяжных поверенных и введение нового уголовного устава. За свое ораторское искусство он был удостоен звания почетного академика литературы.

А. Л. Боровиковский, бывший адвокат, профессор права, занимал важные посты в Сенате. Он был автором комментариев к законам процедуры гражданского суда и своду гражданского права. И, наконец, В. К. Случевский, юрист, автор ряда работ по юриспруденции, опубликованных в 1870-х годах, служил в прокуратуре. В 1905 году он был сенатором.

В своих воспоминаниях граф Витте поясняет, что разнообразие состава Совещания объясняется стремлением создать форум с самыми разнообразными политическими взглядами. Возможно, это и так, но при внимательном рассмотрении обращает на себя внимание преобладание добросовестных и известных защитников существующего социального и политического порядка. Таковыми были Юзефович, Голицын, Пихно, Цертелев, Мещерский и Суворин. К сторонникам

гражданских реформ относились Кони, Стасюлевич и Арсеньев.

С момента начала работы Совещания положение изменилось. Либеральные голоса возобладали и одержали победу во многих важных вопросах. Конечно, этому можно найти ряд причин. Немаловажной было частое отсутствие консервативных участников Совещания. Но отсутствовали и члены с иными политическими взглядами, что объясняется затяжным характером Совещания и беспокойными временами. Работы Совещания, продлившись 10 месяцев, совпали с началом, развитием и кульминационным моментом революционных беспорядков. Однако лица, мало заинтересованные в подготовке и проведении реформы, прекратили посещать заседания вскоре после начала работ. Например, Пихно перестал приходить на заседания после первых четырех сессий. Другие отпали после 15-й сессии, в апреле 1905 года. Количество активных участников сократилось с 26 до 16.

Другим фактором была интеллектуальная ограниченность более консервативных членов. Их вклад не шел дальше отрицания. Если они брали слово и старались убедить своих коллег быть более осторожными, как, например, неоднократно делал князь Цертелев, они выказывали непонимание закона и были неспособны убедить своих коллег.

Третий фактор — произвол и суровость царской цензуры — способствовал превращению даже консервативных людей в ее открытых критиков. Возьмем, например, Суворина. Он уже почувствовал жало закона, когда в 1866 году был приговорен к трем неделям тюрьмы после наложения ареста на его сборник сатирических статей «Всё и все». Любопытно отметить, что коллега Суворина по Совещанию Арсеньев был тогда его адвокатом.

Преклонный возраст Суворина не мешал ему проявлять горячий интерес к вопросу о свободе печати.



Во время дебатов и голосования он поддерживал либерально настроенных участников Совещания. Более того, он был одним из самых яростных критиков стремления официальных властей создать монополию на истину и заставить замолчать врагов.

Князь Мещерский — другой пример представителя печати, чья преданность режиму значительно слабела, когда вопрос шел о его собственной профессии. За 30 лет его газета неоднократно штрафовалась за «вредное направление». Он не забыл урока и вместе с остальными членами Совещания голосовал за ряд важных либеральных реформ.

В значительной степени направление, которое приняло Совещание, можно приписать влиянию председателя. С самого начала Кобеко указал, что целью Совещания является хотя бы возвращение к положению 1865 года: не только ликвидировать наслоения разного времени, но также исключить расхождение в законах, особенно в юридических и административных мерах контроля печати.

Повестка работ тоже вырабатывалась под руководством и влиянием Кобеко, и это предрешило результат. В первую очередь Совещание занималось вопросами основных принципов, считая остальное менее важным, и в последнюю очередь механизмом цензуры, который претворял эти принципы в практику.

Успеху реформы угрожали не консервативные члены Совещания, как могло бы показаться, а позиция, занятая министерством внутренних дел, представленным на Совещании князем Шаховским. На его выступлениях стоит остановиться. Судя по ним, министерство внутренних дел твердо защищало концессионную систему на всех этапах издательского дела, т. е. для типографов, редакторов, издателей, книгопродавцов и библиотек. Оно также старалось сохра-

нить существующую систему предварительной цензуры, хотя и в меньшей степени.

Шаховской настаивал на необходимости сохранить предварительную цензуру на ввозимые печатные материалы. К ним он относил произведения беллетристические, научно-популярные, религиозного содержания, карикатуры, сочинения, касающиеся событий в России за последнее столетие, иллюстрированные открытки, а также все сочинения на русском языке или на языках других народов и племен, населяющих Россию. Что касается отечественных публикаций, то Шаховской предлагал сохранить предварительную цензуру рисунков, драматических произведений, детских и народных изданий, провинциальной прессы и всех изданий на нерусских языках.

Он предлагал освободить от предварительной цензуры все журналы, издававшиеся в обеих столицах, а также уменьшить объем книг, освобожденных от предварительной цензуры, до 10 печатных листов для переводных сочинений и 5-ти для оригинальных. По мнению Шаховского, эта мера сделала бы бесцензурность скорее правилом, чем исключением.

Главная уступка Шаховского совпадала с ранними предложениями министерства, которые были изложены в докладе князя Святополк-Мирского: «привилегированный» сектор печати был бы ответственен лишь перед судом. Шаховской отказался от термина «вредное направление» и наложения административных мер наказания, поскольку они «действуют деморализующе на прессу и на цензуру».

Мы рассмотрели многочисленные препятствия, поставленные режимом на пути желающих злоупотребить печатным словом. В ходе Совещания многие из них становились опорными пунктами для Шаховского и других сторонников крепкого государственного контроля над печатью. Однако взаимосвязанность этих

препятствий означала, что ликвидация одного из них делает уязвимыми остальные.

Первая баррикада, предварительная цензура журналов, пала с обманчивой легкостью. Шаховской добровольно согласился на прекращение предварительной цензуры периодической печати в столицах, но заметил, что сделать то же самое в провинции не представляется возможным по причине отсутствия подготовленного персонала для ведения контроля. Барон Нольде лишил Шаховского этой опоры, заявив, что если министерству внутренних дел требуются дополнительные средства на новых цензоров, то пусть оно представит требование: вопрос об улучшении положения печати не должен зависеть от финансов. Тем временем Арсеньев начал наступление и призвал к ликвидации предварительной цензуры повсеместно и немедленно. Речи, одобряющие радикальную реформу предварительной цензуры, были произнесены Дерюжинским, Радловым и даже Голенищевым-Кутузовым. Со своей стороны, князь Мещерский ставил под сомнение целесообразность существующих ограничений, так как, заявлял он, провинциальная пресса все равно находится в хаотическом состоянии. Совещание не поставило вопроса на голосование, но занесло в протокол пожелание об отмене предварительной цензуры для всех периодических изданий.

Это решение сильно ослабило позицию Шаховского по защите предварительной цензуры книг. Несмотря на то, что князь настаивал, что непериодические издания представляют большую опасность, издатели, возглавляемые Сувориным, не соглашались. Другие отмечали, что ничто не может помешать напечатать книгу, не прошедшую предварительной цензуры, в ряде номеров журнала или газеты.

Интерпретация Шаховским термина «отеческое попечение», определявшего отношение правительства к печатным работам небольшого формата, вызвала

горячие возражения. Епископ Антонин призвал проявить больше доверия к здравому смыслу народа и его умению отличать истинное от ложного. Случевский высказал предположение, что правительство лучше сделает, если открыто признает существование зла, которое распространяется тайно, и таким образом сумеет противостоять ему более эффективно. Дерюжинский, кроме того, заявил, что предварительная цензура придала характер официального одобрения многим сомнительным сочинениям, прошедшим цензуру, и таким образом ввела общество в заблуждение. Когда, наконец, Совещание провело голосование, 19 членов голосовали против предварительной цензуры книг и брошюр, и двое — за ее сохранение (Шаховской и Юзефович).

Оба решения относились лишь к печатным текстам — вопрос об иллюстрациях вызвал много споров. Мнения участников резко разделились. Некоторые — например, Кони — согласились с мнением министерства внутренних дел, что, с политической точки зрения, рисунки особенно опасны, производя более сильное впечатление, чем любой печатный текст. Необходимость помешать распространению порнографии привела других членов — например, Суворина и Сони́на — к аналогичному мнению. Однако Арсеньев и Боровиковский продолжали настаивать на ликвидации предварительной цензуры во всех областях. Совещание приняло компромиссное решение, освобождая от предварительной цензуры иллюстрации, включенные в печатный текст, а не выпущенные отдельными листами.

Хотя Совещание проголосовало за прекращение предварительной цензуры большинства отечественных изданий, члены Совещания сочувственно отнеслись к желанию правительства воспрепятствовать проникновению в массы запрещенных материалов. Арсеньев был единственным, кто настаивал на необходимости

поступления книг и журналов к цензорам одновременно с их поступлением в продажу. Он старался убедить более консервативных членов заседания, что лучше представлять суду совершённые преступления и сделать ответственными истинных нарушителей закона, а именно авторов. Даже коллега Арсеньева Боровиковский, известный своими левыми взглядами, был осторожнее Арсеньева и предложил последовать австрийскому закону, т. е. установить между выпуском и распространением печатных материалов промежуток в 24 часа.

Другие члены не проявили особого интереса к подобному нововведению. Суворин оспаривал возможность применения западных методов к хаотическому миру русской прессы, а Кони настаивал на необходимости дать правительству возможность изъять сочинения, «сеющие смуту, оскорбляющие нравственность или призывающие к преступлениям». Перед лицом такой важной обязанности, заявлял он, будет довольно легко определить нарушения закона. Со своей стороны, Кобеко также считал, что нет особого вреда, если появление книги или журнала отсрочится на несколько дней. Путем голосования Совецание одобрило существующие сроки проверки всех печатных материалов до поступления их к публике.

При обсуждении цензуры специфических печатных материалов Совецание рекомендовало в некоторых случаях полностью отменить цензуру, в других — внести незначительные изменения. Духовная цензура оказалась в первой категории и пала почти без борьбы. Оба представителя Синода появились на Совещании в феврале с целью заявить о своем отказе от всех цензурных обязанностей, которые они осудили как постороннее и недостойное Церкви вмешательство. Их отказ совпал с публикацией 17 апреля 1905 г. Указа о религиозной терпимости. По мнению епископа Антонина и священника Рождественского, Указ сделал

бесплодными все усилия Синода заставить замолчать старообрядцев и сектантов, не говоря уже о лицах других исповеданий. Князь Шаховской был поставлен в незавидное положение, защищая духовную цензуру против желания самой Церкви. Его попытки сохранить предварительную цензуру религиозных работ размером менее 5 печатных страниц закончились неудачей.

Специальная цензура депеш, направленных в газеты их местными корреспондентами, была единогласно отвергнута СовеЩанием. Но единодушие нарушилось, когда зашел вопрос о медицинской цензуре, главным образом из-за ее роли в изъятии порнографической литературы. Профессор Н. П. Гундобин, медицинский консультант Санкт-Петербургского цензурного комитета, высказал свое мнение об угрозе, которую представлял подобный материал:

«Сочинения, трактующие о половой жизни, являются крайне опасными для юношей и для всех лиц со слабой нервной системой, а таких лиц весьма много в современном обществе. Благодаря отсутствию литературной конвенции с иностранными государствами, нередко труды, чисто научные, появляются в переводе изложенными популярно, с пропусками именно научных объяснений и с сосредоточением всего содержания на соблазнительных примерах неестественного отношения полов».

Выступление Гундобина выявило предрассудки века, присущие умеренным или либеральным членам СовеЩания. Кони особенно горячо настаивал на необходимости подавления того, что он называл «необходимости подавления того, что он называл «необходимой грязью и вредной гнилью». Кони утверждал, что суды неспособны справиться с задачей и что тут необходимы административные меры. Когда Суворин заметил, что цензура не смогла помешать проникновению этой грязи в Россию, Кони ответил, что без нее положение было бы еще хуже.

Боровиковский напомнил собравшимся не забывать о первоочередной задаче СовеЩания и предложил

ликвидировать медицинскую цензуру на том основании, на каком собравшиеся решили отказаться от остальных видов предварительной цензуры. По его словам, медицинская цензура напоминает стрельбу из пушки по воробьям и ради одной книги тысячи будут задержаны. Епископ Антонин сказал иначе: если мнение Кони восторжествует, «то нам придется вывезти все статуи из Летнего сада». Совещание проголосовало за отмену медицинской цензуры 11 головами против 9.

При обсуждении цензуры драматических произведений члены Совещания также выказали заботу о соблюдении викторианских приличий. В этом случае положение сторонников отмены цензуры осложнилось тем фактом, что многие европейские государства имели аналогичные цензурные ограничения. Тем не менее, Совещание заслушало выступления в защиту свободного театра. Среди выступавших были ведущие представители театральной профессии, включая Немировича-Данченко, директора Московского Художественного театра. Совещание приняло петицию от Общества драматургов и оперных композиторов с доводами в пользу отмены драматической цензуры. В конце концов, Кобеко путем бюрократической уловки избежал принятия решения по этому вопросу. Под тем предлогом, что правила о положении в театре не на месте в законе о печати, он исключил статьи о драматической цензуре из проекта закона и предложил рассматривать этот вопрос в отдельной комиссии министерства внутренних дел. Совещание согласилось на такое отсутствие решения.

Цензура, проводимая министерством Императорского Двора, была единственным видом цензуры, которую участники Совещания не изменили. Наоборот, в этом случае правительство укрепило свои позиции. Собравшиеся уступили пожеланиям представителя министерства генерал-майора А. А. Мосолова

и одобрили изменения, которые сделали закон более отвечающим времени: внесли в него все ранее изданные циркуляры.

При обсуждении концессионной системы дебаты и голосование дали перевес сторонникам реформы. В первую очередь рассматривался вопрос о разрешении на издание журнала. По этому вопросу Шаховского, который отстаивал существующий порядок, поддержали Пихно, Мещерский, Голенищев-Кутузов и Голицын. Ключевский, обычно молчавший во время заседаний, начал активное наступление. Он заявил, что право публики на выражение своего мнения не должно ущемляться и что любые ограничения на основе лишь возможных нарушений противоречат общепринятым принципам закона о правах. Боровиковский и Дерюжинский присоединились к дебатам и выступили с критикой концессионной системы как неэффективной на практике. Кобеко, чье выступление было последним перед голосованием, указал на 40 лет произвола как на главную причину того, что право выдачи концессий должно быть у властей отобрано. Большинство 15 против 8 Совещание высказалось за явочный порядок, т. е. выдачу разрешений на открытие периодических изданий всем желающим.

Дебаты приняли особенно острый характер, когда зашла речь о сохранении концессионной системы для редакторов. Цертелев и Мещерский поддержали консервативную точку зрения Шаховского. Боровиковский возглавил попытки либерально настроенных членов Совещания лишить министерство права утверждать редакторов. Кобеко и Кони пытались найти компромиссное решение, как, например, установление явочного порядка для редакторов, но при наличии определенной образовательной нормы — среднего или высшего образования. В конце концов, путем голосования 13 против 7 Совещание согласилось на про-



верку гражданского состояния редакторов (неопороченности).

После этого Совещание выслушало просьбы об отмене существующих правил со стороны нескольких издательств и книготорговых организаций. Шаховской и Зверев высказали опасения, что такой шаг преждевременен, но Кони возразил, что правительству придется на него пойти, если оно намеревается действовать последовательно. Если каждому желающему будет дозволено открыть и редактировать повременное издание, то он должен иметь право нанимать соответствующих наборщиков. Это вовсе не означает, что правительство предоставляет прессе полную самостоятельность. Боровиковский внес предложение о предоставлении возможности открывать типографии в любом месте, но оно не встретило у Совещания поддержки. Участники одобрили резолюцию, призывающую к отмене концессионного порядка только в городах.

Аналогично шло обсуждение концессионной системы для книгопродавцов. Снова Совещание заслушало обращение от представителей профессии. И снова Шаховской возражал. Но Кони ответил, что если будет предоставлена свобода издателям, редакторам и печатникам, то нелогично сохранять концессионную систему для книгопродавцов. Другие участники Совещания привели убедительный довод, что недозволенная литература может с таким же успехом продаваться в овощном магазине и неразумно налагать специальные ограничения на книгопродавцов. Числом голосов 15 против 2 (Шаховской и Цертелев) Совещание одобрило право на открытие книжной торговли для всех желающих.

На той же сессии был решен вопрос о предоставлении права на открытие явочным порядком библиотек и общественных читален. Стремясь продемонстрировать добрую волю, Шаховской заявил, что его ми-

нистерство разрешит этим учреждениям приобретать и выдавать читателям все книги, прошедшие общую цензуру. И даже больше, он пообещал, что министерства образования и внутренних дел вынесут специальное постановление, отменяющее все прежние ограничения на библиотеки.

Кроме общей системы контроля, Совещание рассмотрело отдельные ограничения, присутствовавшие в Уставе о цензуре и печати. Некоторые из них — например, о необходимости для журналов, освобожденных от цензуры, оставлять залог — остались без изменений. Другие, особенно касающиеся ограничений при освещении вопросов государственной важности (статьи 140 и 156), были подвергнуты обсуждению.

Шаховской изложил консервативную точку зрения. Он заявил, что необходимо передать право классифицировать информацию Кабинету Министров, тогда все нарушения будут ликвидированы. В то время это право принадлежало министерству внутренних дел. Но Суворин возразил, что пока существует ст. 140, свободы печати в России не будет. Издатель «Нового Времени» нарушил молчание пассивных участников, заявив, что война с Японией и Кровавое Воскресенье — два примера трагических событий, которых можно было бы избежать, если бы в печати открыто обсуждались общественные события, без оглядки на интересы того или другого министерства. Но во имя соблюдения государственной тайны печать заставили замолчать. Совещание приняло компромиссное решение, предложенное Арсеньевым; понятие «государственной тайны» будет относиться только к предметам военного характера, как это записано в германском императорском законе.

Рассмотрев основные вопросы цензуры печати на русском языке, Совещание перешло к обсуждению прессы других языковых групп империи и ввозимых печатных материалов. Обсуждению прессы на нерус-

ских языках было посвящено три сессии. Выступали представители польской, еврейской и латышской печати, а также цензоры, ответственные за проверку изданий на нерусских языках.

Некоторые из представителей национальных меньшинств пользовались трибуной для выражения своего патриотизма в надежде обеспечить изданиям на своем языке положение, одинаковое с русскими (по новому закону). Так, Гинзбург, редактор-издатель «Дер Фрайнд», подчеркивал стремление еврейской прессы способствовать делу ассимиляции евреев, уводя их от «прежней фанатичной ортодоксальности». Чаксте, редактор-издатель газеты «Тэхвия», заявил, что цель латышской прессы — противостоять немецкому влиянию в Прибалтике.

Но поляки отнеслись к форуму иначе и посвятили свои выступления подробному изложению несправедливостей, которые польская пресса терпела от жестокой цензуры. Гадамский, редактор «Газеты Польской», заявил, что после проверки газеты цензором редактору остается для помещения в газету лишь светская хроника и сообщения о литературных собраниях.

Но все эти попытки представителей иноязычной прессы ввести ее в рамки реформы и нового закона о печати встретили самое яростное сопротивление со стороны цензоров. Председатель Варшавского цензурного комитета Х. В. Эммаусский, отвечая на критику работы его отдела, сказал, что во всех недоразумениях нужно винить самих поляков, так как они пользуются любой возможностью дискредитировать русских. По его мнению, необходимо и впредь продолжать предварительную цензуру польской печати.

М. П. Гаккель, председатель Кавказского цензурного комитета, был настроен более либерально, но и он потребовал сохранения строгого концессионного порядка и предварительной цензуры ряда пуб-

ликаций, особенно тех, которые предназначались для массового читателя. Слова Гаккеля об осторожном отношении к мусульманской прессе нашли подтверждение в выступлении профессора В. Д. Смирнова, цензора сочинений на восточных языках. Он считал мусульманских издателей фанатиками, преданными панисламизму и мало симпатизировавшими христианской России.

Шаховской перенес вопрос о нерусской прессе из сферы действия местных цензоров в сферу действия общегосударственную. Незадолго до этого был принят важный шаг по уравниванию состояния всех национальностей — создание Государственной Думы (6 августа 1905 г.) с участием всех национальных меньшинств. Исходя из этого, Шаховской считал необходимым предоставить все новые права, которые будут утверждены для русской прессы, и иноязычной: польской, немецкой, эстонской, латвийской, литовской, армянской, грузинской и прессе на восточных языках. Он исключил лишь прессу на еврейском языке, который он не считал самостоятельным. Но, по требованию Арсеньева, Совещание проголосовало против этого исключения. Министерство внутренних дел, по предложению Шаховского, сохранило бы концессионный порядок открытия новых журналов, чтобы их количество не могло расти быстрее возможностей правительства назначать новых цензоров. Срок между выходом из печати изданий на нерусских языках и поступлением их к читателям предлагался длиннее, чем для русских изданий: две недели для книг и три часа для газет.

Принцип равноправия вызвал почти единогласную поддержку со стороны участников. Они выразили надежду, что великодушные правительства будет вознаграждено. В вопросе о концессионной системе для периодических изданий Совещание приняло компромиссное предложение Арсеньева: явочный порядок,

но трехмесячный интервал между подачей прошения и началом издания.

Решение вопроса о зарубежных изданиях было предложено Шаховским. Он считал необходимым продолжать применение административных мер к ввозимым материалам, но на упрощенной основе. Он хотел, по его словам, освободить от предварительного просмотра все ввозимые сочинения по медицине, физике, математике, философии, археологии, промышленности и технике, искусству, специальным наукам, праву, политической экономии, этнографии и зарубежной истории. Другие материалы будут проверяться ускоренным способом, с применением тех же критериев, что и для отечественных изданий.

Этот план не всех удовлетворил. Меньшинство хотело отнять у цензоров право запрета на иностранную литературу и передать его судам, как это было сделано с отечественными изданиями. Однако в ходе обсуждения обнаружился недостаток этого предложения: очень часто иностранные книги поступали в таких малых количествах, что ни один иностранный издатель или отечественный книготорговец не стал бы тратить средства на защиту в суде. С другой стороны, если какая-либо иностранная фирма или ее агенты в России начнут судебное дело, это может поставить нацию в неловкое положение. Как отметил Кобеко, «судебное преследование в России книг, не запрещенных за границей, может послужить для иностранной печати поводом для издевательства над нашим правосудием». В конце концов, участники согласились оставить предварительную цензуру, но для более ограниченной категории печатных материалов, чем желал Шаховской: сохранялась предварительная цензура всех работ на русском языке, иллюстраций, почтовых открыток и произведений художественной литературы.

В заключение Совещание занялось юридической системой и дисциплинарной ответственностью цензо-

ров. Частично эти вопросы уже разбирались в подкомиссии Совещания по пересмотру законоположений о судебной ответственности по делам печати. На семи заседаниях подкомиссии обсуждались предложения Шаховского о сохранении определений преступлений печати, данных в существующем законе. Но подкомиссия отвергла эти предложения и в качестве основы закона о преследовании преступлений печати взяла еще не утвержденное новое Уголовное Уложение 1903 года. В октябре все предложения подкомиссии были утверждены. Но к этому времени вопрос утратил свое значение, так как 16 июня 1905 г. царь издал декрет, по которому важный раздел Уголовного Уложения 1903 года — о государственных преступлениях — стал законом.

Участники Совещания оставили в силе решения Правительствующего Сената от 1869 года о категориях ответственности. Намерением Совещания было оставить в неприкосновенности контрольные сроки проверки отечественных материалов до их поступления к публике, и это означало, что в большинстве случаев написание и издание сочинения криминального содержания в легальной типографии было наказуемо лишь конфискацией этого сочинения. Безусловно, если писатели, типографы и издатели предпочтут пренебречь требованиями закона и не представят властям сочинение, которое, как окажется позже, носит преступный или богохульственный характер, они будут подвергнуты судебному преследованию по всей строгости закона 1903 года.

По поводу вопросов процессуального характера Совещание рассмотрело предложение Арсеньева о применении к проступкам печати специфических понятий о преступлении. Арсеньев заявил, что преступление, совершаемое печатным словом, отличается от других видов преступления, так как лицо, его совершающее, не всегда действует злоумышленно, часто руко-

водствуется искренним, пусть ошибочным, желанием добра. Поэтому важно представить общественности в лице присяжных право быть арбитром.

Большинство отклонило предложение Арсеньева о том, чтобы разбор дел о преступлениях печати был предоставлен суду присяжных с повышенным образовательным цензом. Некоторые участники предупреждали, что мнение о большей снисходительности суда присяжных на процессах по делам печати ошибочно — присяжные чаще выносят более суровые приговоры, чем судьи. Другие опасались, что присяжные будут равнодушны к клевете и государственный порядок окажется незащищенным против злостных измышлений врагов. Ряд участников выразил сомнения в том, возможно ли найти достаточное число компетентных присяжных, способных оценить преступления печати. Однако члены Совещания признали исключительный характер дел по печати и одобрили поправку, позволяющую проявлять в приговорах исключительную снисходительность. Таким образом, если будут найдены смягчающие обстоятельства, судьи смогут налагать менее суровые наказания на осужденных авторов, издателей и типографов.

Совещание рассмотрело и отвергло предложение об изъятии цензурного надзора из министерства внутренних дел и передаче его вневедомственному учреждению, как это было предложено Кабинетом Министров в декабре 1904 года, а также о ликвидации цензурного ведомства и передаче надзора за печатью прокуратуре. Боровиковский и Арсеньев доказывали, что такая передача была бы единственной возможностью контролировать нарушения, но большинство с ними не согласилось, заявив, что литература не выиграет от того, что над нею будут поставлены иные чиновники, в то время как прокуратура проиграет в общественном мнении, которое ассоциирует ее с полицейскими функциями цензуры.

Собравшиеся задали князю Шаховскому вопросы о планах Министерства внутренних дел после проведения реформы печати, на что князь ответил, что, безусловно, количество цензоров и расходы значительно возрастут, так как с ликвидацией концессионной системы предвидится повсеместное увеличение числа изданий. Следовательно, число цензоров и мест, где необходимо образовать цензурные комитеты, должно соответственно вырасти. Во всех университетских городах, т. е. в Киеве, Харькове, Казани, Томске и Вильне, потребуется создать полные цензурные комитеты. В тех городах, где можно ожидать разрастания печатного дела в будущем, министерству нужно будет создать должность цензора. Используя разработанные им самим показатели интеллигентности, Шаховской считал необходимым учредить должность цензоров в 49 городах.

Чтобы не быть застигнутым врасплох быстрым ростом печати в той или другой местности, Главному Управлению по делам печати надлежало бы увеличить число чиновников особых поручений в каждой губернии от двух до десяти. Эти лица смогут приобретать должный опыт и знание законов при Петербургском цензурном комитете, а после получать назначение в другие города. Персонал цензурного надзора можно увеличить, приглашая на повременную работу местных чиновников других ведомств или университетских профессоров. Шаховской подчеркнул, что для привлечения в цензурный комитет образованных работников следует улучшить их материальное положение. Описываемые Шаховским прогнозы вызвали скептическое замечание Кобеко, который повторил своим коллегам немецкую остроту: «Каждая новая реформа в России оканчивается появлением еще двух чиновников». Однако он не рекомендовал обсуждать детали проекта, представленного Шаховским, заявив, что любые изменения в уставе гражданской службы или в бюджете



министерства будут учтены и введены в закон обычным законодательным путем.

\* \* \*

По иронии этого революционного года, как только Совещание Кобеко представило свои проекты, снова введение Указа было поставлено под угрозу, на этот раз со стороны реакции.

Имеющиеся документы не дают никаких доказательств того, что Кабинет Министров собирался для обсуждения проекта Указа. Однако, судя по переписке непосредственных участников, большинство разделяло отрицательное отношение к проекту. Военный министр Редигер и министр юстиции Манухин критиковали проект за отсутствие статей о забастовках, оскорблениях армии, нелегальных собраниях. Такие статьи были включены в закон от 24 ноября 1905 года. Обер-прокурор Синода князь Оболенский выразил недовольство статьей, предусматривающей свободное распространение зарубежной религиозной литературы. Министр земледелия Кутлер нашел, что недостатком проекта является то, что нарушения закона о печати не подлежат суду присяжных и что цензура не передана прокуратуре.

Когда были собраны эти предварительные, не очень серьезные критические замечания, оказалось, что Кабинет решил на время отложить проведение реформы прессы. Он предпочел заняться разбором жалоб министерства внутренних дел на недостатки, обнаруженные при практическом применении закона. В своих объяснениях премьер-министру 16 января 1906 г. министр П. Н. Дурново сказал, что временные правила, дав «пряник», не достигли своей цели успокоения деятелей прессы и не предоставили правительству достаточного «кнута» для достижения покорности.

Он перечислил те нарушения, которые вызвали особое беспокойство Главного Управления по делам печати. Проблемой оказалось получение контрольных экземпляров периодики от издателей. Несмотря на то, что лица, нарушавшие закон и не представлявшие контрольные экземпляры, наказывались по суду, это не оказывало никакого действия на их дальнейшее поведение, так как штраф в 300 рублей (указанный в законе) был относительно небольшим. Другое официальное требование — заполнение декларации при желании открыть периодическое издание или публикация библиографических сведений в каждом номере издания — тоже игнорировалось. В результате власти не знали, что издавалось в стране и кем. Для борьбы с этими нарушениями министр предложил переложить основную ответственность с издателей на типографов, так как их ограниченные средства облегчали надзор за ними, а также конфисковать печатные работы, изданные без соблюдения формальностей, а с лиц, нарушающих правила вторично, взимать гораздо более высокие штрафы, вплоть до 3000 рублей, и лишать их права заниматься издательским делом на срок до пяти лет.

Другую проблему представлял тот факт, что издания, закрытые временно или постоянно, незамедлительно открывались под новым названием, но с прежним штатом сотрудников, программой, форматом и шрифтом. Эта вызывающая эксплуатация смягченной правительственной системы концессий делала безрезультатными все усилия правительства держать прессу в рамках закона. Выходом из положения, по мнению министра, было изменить закон и ввести статью о запрещении издателям и редакторам журналов заниматься издательской деятельностью, пока суд разбирает их дело, или же на период, установленный судом и указанный в приговоре. Для тех, кто, несмотря на

постановление суда, продолжает свою деятельность, должны быть установлены строгие наказания.

27 января 1906 г. Кабинет Министров заслушал предложения Дурново. К этому моменту министр внутренних дел обратил внимание своих коллег еще на одно осложнение, возникшее в связи с законом от 24 ноября: быстрое увеличение количества иллюстрированных сатирических журналов, направленных на подрыв общественного уважения к царю, правительству и армии при помощи бесстыдных карикатур. Дурново сообщил, что за два месяца лишь Санкт-Петербургский цензурный комитет отдал приказ об аресте 23 выпусков различных иллюстрированных журналов за их «чисто революционный характер». Суды постановили прекратить издание семи журналов временно, до вынесения приговора, а несколько других были закрыты совсем. Однако, по мнению министра, этого было недостаточно. Арест и конфискация недозволенных выпусков происходили недостаточно быстро и не могли остановить распространения заразы в сельской местности. Единственным выходом было потребовать представления карикатур властям на проверку до поступления выпусков в продажу.

Кабинет Министров в значительной степени согласился с анализом Дурново недостатков временного устава и с его рекомендациями по их исправлению. 6 февраля 1906 г. Николай II согласился на принятие второго временного устава. После этого вопрос о новом временном уставе был передан в Кабинет Министров, где он встретил серьезное сопротивление со стороны членов, сгруппировавшихся вокруг Кобеко.

Эта группа утверждала, что временный закон от 24 ноября может быть заменен лишь новым постоянным уставом, и никак не меньше. Если же правительство желает издать новые правила о печати путем декрета до введения нового полного устава, то эти правила должны служить расширению свободы прес-

сы, а не возвращению к условиям, осужденным Манифестом от 17 октября (как, например, предложенное восстановление срока проверки иллюстраций). Эта группа из 16 человек считала, что исправление временного устава, действующего всего лишь несколько месяцев, подорвет общественное доверие к постоянству закона и поколеблет уважение к законодательным актам. Все это явно нежелательно, так как до созыва Государственной Думы и пересмотра постоянного устава о печати осталось только два месяца.

Они утверждали, что предложенное дополнение к временному закону не своевременно и не обязательно. Если правительство будет осуществлять свою власть надлежащим образом, то в его распоряжении имеется достаточно средств для борьбы с нарушителями закона.

Большинство членов Государственного Совета, включая Витте и его министров, возражали, говоря, что нельзя с точностью предсказать, когда временные правила будут заменены полным уставом, так как, безусловно, Дума в течение некоторого времени будет заниматься более неотложными делами. Тем временем, правительство не могло позволить себе игнорировать серьезные недостатки, которые стали очевидны даже за несколько месяцев действия временного закона.

Не удивительно, что подобные недостатки обнаружались, поскольку реформа проводилась в трудных обстоятельствах, когда не представлялось возможным предвидеть все последствия, все возможности обхода и нарушения закона. Теперь обязанностью правительства было исправить положение, чтобы не поколебалось уважение к закону из-за повторных и повсеместных нарушений, остающихся безнаказанными. В конце концов, победило мнение большинства, а именно: новые предложения сводились к обузданию нарушений,

а не к сужению границ свободы, провозглашенной 17 октября.

В проекте Указа, перед завершением его рассмотрения в Государственном Совете, были сделаны и текстуальные изменения. Были уменьшены все виды наказания. Должная судебная процедура была гарантирована владельцам материалов, подлежащих уничтожению. Право властей на конфискацию было ограничено положением, что экземпляры, уже оказавшиеся в третьих руках и предназначенные для личного пользования, не могут быть отобраны. В этом виде проект Указа 18 марта 1906 г. был подписан и стал законом.

Возможно, сыграло роль мнение меньшинства в Государственном Совете о том, что желательно превращение в закон дополнительных глав Указа. Возможно, все более крепнущее убеждение в Кабинете Министров, что Первая Государственная Дума, которая вот-вот должна была собраться, будет по своему характеру оппозиционной, если не радикальной, и, безусловно, не будет настроена благожелательно к Указу о печати, представленному правительством. Нам теперь трудно судить о мотивах, но остается фактом, что через неделю после утверждения второго временного закона о печати Кабинет возобновил рассмотрение Указа. Теперь он сконцентрировал внимание на отечественном книгоиздательстве.

На заседании 24 марта Кабинет проголосовал за новый ряд временных правил, запрещающих применение административных санкций против книгопромышленности. Также отменялась предварительная и духовная цензура для отечественных книг и брошюр, независимо от размера, как это было сделано по отношению к периодическим изданиям.

Но на этом и кончается все сходство с законом от 24 ноября. Осторожность победила. Остался в неприкосновенности выжидательный период между напечатанием и поступлением издания в продажу. Рабо-

ты в один или менее печатный лист должны представляться властям для проверки за два дня до опубликования, работы большего объема — за семь дней. В течение выжидательного периода цензоры имели право начать уголовное дело и арестовать тираж. До истечения выжидательного периода не допускалось поступление книги в продажу. Кроме того, ради облегчения работы цензуры Кабинет решил, что только четыре цензурных комитета: в Москве, Санкт-Петербурге, Варшаве и Тифлисе — могли давать оценку отечественным книгам и брошюрам. Книги могли печататься в любом месте империи, но они должны были пересылаться за разрешением на публикацию в эти четыре комитета. Министерство внутренних дел обещало в дальнейшем, по мере роста книжной промышленности, увеличить число цензурных комитетов.

Через два дня после заседания Кабинета царь отдал премьер-министру распоряжение продолжать работу, и проект закона был представлен Государственному Совету. Он зачитывался на генеральном общем собрании 4 апреля 1906 г. и, по настоянию Кобеко и его единомышленников, которых теперь было большинство, подвергся существенным изменениям.

Меморандум Государственного Совета довольно лаконичен, но по результатам мы можем судить, что на этот раз защитники свободы печати одержали победу над Кабинетом Витте путем уклонения от прямого столкновения, избрав путь компромисса. Совет отказался ограничить просмотр книг четырьмя цензурными комитетами, но он согласился поддержать правило, что издатели идут к властям, а не наоборот: решено было направлять книги для просмотра в ближайший город, где имелись представители Главного Управления по делам печати. Совет отверг в принципе правило о выжидательном периоде между напечатанием и распространением книг, однако одобрил это правило для брошюр и других мелких публика-

ций, объемом менее пяти печатных листов (80 страниц).

Также Государственный Совет внес дополнительные изменения в проект Указа относительно иллюстраций. Они освобождались от предварительной цензуры. Было запрещено конфисковать любые непериодические материалы из частных библиотек. Была добавлена статья о переименовании «цензурного комитета» и «цензора» в «комитет по делам печати» и «инспектор». Объяснялось, что такое изменение в наименованиях соответствует изменению функций чиновников, так как они больше не имеют карательной власти, а всего лишь право надзора и, в случае обнаружения незаконных действий со стороны печати, ознакомления с ними судов.

Интересно отметить, что министр внутренних дел не признал заключений Государственного Совета обязательными и пытался при окончательном редактировании их изменить. В исправленном варианте, посланном секретарю императора 7 апреля 1906 г., Дурново втихомолку выпустил некоторые из поправок Государственного Совета и добавил несколько своих собственных. Самой важной является поправка об обязанности типографов представлять властям экземпляры книг и брошюр до их поступления к читающей публике: публикации объемом свыше 10 печатных листов могли поступать в продажу немедленно по представлении контрольных экземпляров, работы объемом менее 10 печатных листов оставались для просмотра на срок от двух до семи дней. Другая статья, вставленная Дурново, устанавливала наказание — тюремное заключение — для тех, кто использует печатное слово для прославления преступления или призыва к мести государственным чиновникам.

Нам ничего неизвестно о дальнейших интригах, имевших место между 7 и 26 апреля, когда, наконец, был издан временный Указ о непериодической печа-

ти. Эти последние недели были политически весьма бурными из-за приближения созыва Первой Государственной Думы и вынужденной отставки Кабинета Витте. Можно лишь сказать, что за краткий период, когда в центре образовался политический вакуум, воля министра внутренних дел оспаривалась и была побеждена. Закон появился в версии, одобренной Государственным Советом.

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В русской истории существует давнее, часто приводимое и многократно себя оправдавшее высказывание, что ничто не длится так долго, как временный закон. Реформа печати 1865 года была проведена как временная мера, пока выработывалась реформа судов. И теперь три так называемые временные Устава, принятые в 1905 и 1906 годах, установили юридическую основу для русской печати, которая действовала вплоть до падения режима в 1917 году.

В результате законов от 24 ноября 1905 г., 18 марта 1906 г. и 26 апреля 1906 г. были признаны недействительными две трети старого Указа о цензуре. Все статьи о духовной цензуре, административных наказаниях и механизме общей предварительной цензуры отечественных изданий ликвидировались. Более того, прежние директивы цензорам отечественной литературы, что можно разрешать и что нельзя, что желательно и что нежелательно, также аннулировались, поскольку предназначались для почти исчезнувшей предварительной цензуры. Следовательно, отныне цензоры должны были руководствоваться лишь Уголовным Уложением (тоже реформированным в 1903 году).

Лишь 85 статей прежнего Устава остались без изменений. Они касались концессионного порядка на открытие типографий, производства и изготовления



необходимого оборудования для типографий, книго-продажи и библиотек (статьи 155-177), цензуры печатных материалов, поступающих из-за границы (статьи 181-213) и специальной цензуры: медицинской (статьи 39-41), духовной (статья 73) и драматической (статьи 83-92).

Новое положение отвечало новым гражданским принципам, которые парламентские преобразования 1905 года закрепили в России. Отныне русские писатели и издатели имели право выражать свои мысли в печати, не опасаясь вмешательства властей до поступления изданий в продажу. Наконец, им гарантировался надлежащий судебный порядок разбора их проступков, и власти не обращались с ними как с несовершеннолетними, которых нужно защищать от их собственных ошибок или погрешностей.

Безусловно, реформа, проводимая в такой спешке, не обошлась без ошибок. Повременные издания, выпускаемые не в городах, оставались под предварительной цензурой. Брошюры небольшого формата и иллюстрированные журналы могли быть конфискованы до их поступления в продажу. Но эти уступки министерству внутренних дел относились лишь к небольшой части издававшихся материалов. В законе было ясно указано, что эти меры контроля являются исключительными, а не нормативными, как раньше.

Более серьезным недостатком реформы было то, что она оставила в неприкосновенности иностранную цензуру. Но не следует забывать, что вред, который эта мера могла принести, был далеко не так велик, как до 1905 года, поскольку отечественные издательства имели право свободно напечатать книги, негодные цензуре. Пожалуй, больше вреда ограничению свободы могла причинить концессионная система, так как реформа мало что сделала для ее изменения. Ликвидация ограничений на открытие повременных изданий пробила большую брешь в концессионном порядке.

Однако любое правительство, которое захотело бы ограничить свободу печати, могло это легко сделать, отказывая в праве на открытие типографий, издательств, книжных магазинов и библиотек. Об этом и говорил Кобеко на Особом Совещании, когда оно отвергло все ограничения в выдаче разрешений.

Однако имеются указания, что правительство не имело таких дурных намерений. Наиболее убедительные доказательства этому дают сами члены правительства. Согласно временному Уставу от 26 апреля, министр внутренних дел получил право увеличить число цензоров. Их количество должно было отвечать нуждам дела, как и указал князь Шаховской на Особом Совещании. Но на практике министерство предпочло не использовать своего права. Были сделаны незначительные изменения в распределении цензоров, но в целом цензурная деятельность министерства после 1905 года не расширилась, а наоборот, уменьшилась, и это несмотря на большое увеличение числа изданий. Правда, были созданы дополнительные временные комитеты в Киеве, Казани, Вильне и в Одессе. Кроме того, был послан цензор еще в один город — Баку. Но в итоге число цензоров отечественной литературы увеличилось с 50 человек до 55, а число цензоров иностранной литературы снизилось с 30 человек до 15. Реформа печати оказывается тем редким примером, когда либерализация в России означала меньше чиновников, чем прежде.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

В основу статьи положены материалы Высочайше учрежденного Особого Совещания для составления нового устава о печати, проходившего с 10 февраля по 18 декабря 1905 года. Материалы составляют 700 страниц протоколов заседаний, копии которых хранятся в Гарвардской библиотеке (International Legal Law Library).

Там же хранятся следующие материалы, относящиеся к подготовке реформы печати в 1904-1906 годах:

Проект устава о печати.

Объяснительная записка к проекту нового устава о печати.

Справка по проекту временных правил для неповременной печати от 4 апреля 1906 года.

Мемории Совета Министров от 27 января 1905 года и 24 марта 1906 года.

Отчет о заседании Государственного Совета от 4 апреля 1906 г.

Именной Высочайший Указ Правительствующему Сенату об изменении и дополнении временных правил о периодической печати от 1 апреля 1906 года.

Проект Указа Правительствующему Сенату.

Справка по проекту дополнения временных правил о периодической печати от 10 февраля 1906 года.

Сопоставление Указа Правительствующему Сенату 24 ноября 1905 года о временных правилах о повременных изданиях и выработанного Советом Министров проекта дополнения означенных правил.

Отчет о заседаниях Государственного Совета 15 и 18 февраля 1906 года.

Переписка отдельных участников обсуждения проекта.

*Перевела Лариса Докторова*

ДОКТОРОВ Гилберт — родился в Нью-Йорке в 1945 году. Учился в Гарвардском и Колумбийском университетах. В 1974 году получил докторскую степень по отделению русской истории в Колумбийском университете. Тема диссертации: «Конституционные преобразования в России в 1905—1906 гг.» Является автором ряда статей по истории России конца XIX века и начала XX века. С 1980 года живет в Брюсселе и работает в области международной торговли.

# РУССКИЕ КНИГИ

- КЛАССИКИ
- САМИЗДАТ
- ЛИТЕРАТУРА ЗА РУБЕЖОМ
- РЕДКИЕ ПЕРЕИЗДАНИЯ
- СЛАВИСТИКА

Представительство журнала

**«КОНТИНЕНТ»**

Свыше 1500 титулов на складе.

Требуйте каталоги

Subscription inquiries  
should be addressed to



**A. Neimanis • Buchvertrieb**

8 München 40 Bauerstr. 28 • Germany

# НОСОРОГИ ЗА РАБОТОЙ

Святослав Караванский

## КТО СЛЕДУЮЩИЙ?

Можно ли, зная советскую юридическую систему и ее подчиненность КГБ и партии, спокойно читать сообщения, что американские прокуроры «работают в полном контакте» и «в полном согласии» с прокурорами СССР?

Как могло случиться, что, известная своими фальсификациями и фабрикациями дел, Прокуратура СССР (вспомним только дело А. Щаранского!) стала для департамента юстиции США достоверным источником информации и обвинительного материала на американских граждан?

Возможно ли это? Не парадокс ли это?

У меня в руках журнал «Жовтень», 1982, № 9, изданный в СССР и являющийся, как и вся советская пресса, органом партии и, конечно же, КГБ. Вот что пишет на страницах этого журнала прокурор Львовской области Б. Антоненко:

«В один из пасмурных июньских дней позапрошлого года мы с минуты на минуту ожидали прибытия очередного рейсового самолета из Москвы. На нем должны были прилететь во Львов четыре прокурора из Соединенных Штатов Америки, с которыми нам, прокурорским работникам Львовщины, по указанию Генерального прокурора Союза СССР, предстояло сообща расследовать преступления, совершенные украинскими буржуазными националистами и немецкими фашистами во время второй мировой войны...

Мы снабдили американских прокуроров большим количеством материалов, неопровержимо свидетельствующих о вине Б. И. Козия и М. В. Деркача...

Работали мы с этой группой прокуроров в полном контакте, у нас не возникало никаких недоразумений, все делалось в полном согласии. С благодарностью отъезжали они из нашей страны».

Трудно отрицать, что в руках советских органов могут оказаться материалы, касающиеся так называемых военных преступников. Но нельзя отрицать и того, что советская сторона использует свой статус обладателя информации с целью компрометации своих политических оппонентов за границей. И в том, что это так, прокурор Антоненко расписался в первом же абзаце своей статьи, приписав «злейшим врагам советского народа» — украинским националистам — гораздо более значительную роль в событиях второй мировой войны, чем самим гитлеровцам. Этой, искажающей факты истории фразой прокурор Антоненко с головой выдает всю затею КГБ, а именно: не гнушаясь методами, оклеветать своих политических противников, вызвать к ним со стороны мировой общественности отрицательное отношение. Став перед такой целью, КГБ не остановится ни перед чем. Поэтому к материалам, исходящим в конечном итоге из кабинетов КГБ, следует относиться весьма и весьма критически.

Однако из той же статьи прокурора Антоненко следует, что американские прокуроры не только не подвергают сомнению стряпню кагебистов, но, наоборот, содействуют им в их «работе». Цитирую Антоненко:

«С самого начала адвокат Коновал выставил требование, чтобы допросы очевидцев-свидетелей велись американскими прокурорами без участия советских. Как американская(!), так и наша сторона эту выходку адвоката категорически отклонили, поскольку, согласно

договоренности между министерством юстиции США и Прокуратурой Союза ССР и исходя из подобной практики сотрудничества с другими странами, допросы свидетелей и потерпевших ведутся с участием обеих сторон...»

Какая договоренность возможна между американским — независимым и демократическим — судом и подчиненным КГБ партийно-тоталитарным «орудием классовой борьбы»? Даже мысль о такой договоренности унижает достоинство Соединенных Штатов! Кроме того, такая договоренность содействует не правосудию, а фальсификации. Для тех, кто знаком с отношениями, сложившимися между гражданами СССР и репрессивными органами, такое требование советской стороны абсолютно понятно: советская сторона не может допустить и мысли, что ее «свидетели» на какое-то, пусть даже короткое, время выйдут из-под контроля всевидящего ока. А вдруг они станут говорить не так, как запланировано в «тихих» кабинетах ведомства Андропова?

О том, как КГБ «готовит» свидетелей, известно всем, кто на личном опыте познакомился с советской юридической системой. Приведу здесь отрывок из воспоминаний члена-основателя Украинской Группы-Хельсинки, советского политзаключенного — Оксаны Мешко: «Между смертью и жизнью» («Визвольний шлях», 1979, № 3, стр. 345-346):

«Это погоня следователей КГБ, это их собачьи поиски потенциальных свидетелей, чтобы «сделать» дело на человека, который уже за решеткой.

Допросы этих добытых свидетелей не всегда протоколируются, чаще всего беседы ведутся «вхолостую» и на «измор» допрашиваемого, для изыскания в нем самом «слабых» мест, начиная с «ошибок» биографии и кончая квартирными трудностями, трудностями в учебе, в устройстве на работу и даже в устройстве ребенка в ясли.

У опрошенного прежде всего выясняют все о нем непосредственно, намекая на готовность оказать действительную помощь в затруднительных обстоятельствах, не поддающихся разрешению без внешней помощи. КГБ всесильно, его возможности неограниченны — в этом каждый может убедиться, встретившись с ним на узкой тропе (за уступчивость, услужливость КГБ всегда исполняет свои щедрые обещания).

За информацию, сотрудничество платят денежными вознаграждениями, продвижением по службе, внеконкурсным зачислением в вуз, восстановлением исключенных за неуспеваемость и т. д.

В атмосфере всеобщего страха и ставшего наглядным беззакония, нащупав у допрашиваемого «слабинку» или малодушие, следователь подскажет характер и содержание удобного следствию протокола, исказивши вдобавок показания.

Такие свидетели зачастую после написания протокола ходят, как в воду опущенные, переживая свое моральное падение.

В судебном следствии эти свидетели часто отказываются от предварительных показаний, записанных в стенах КГБ».

А вот свидетельство другого политзаключенного — Василия Стуса. Цитирую абзац из статьи «Я обвиняю», пробившейся на Запад и опубликованной в журнале «Сучасність», 1976, № 1, стр. 45:

«С целью оклеветать других арестованных были использованы, как «свидетели», психически и морально сломленные З. Франко и Л. Селезненко. Последний заявил на суде, якобы я произвел на него впечатление истого националиста. Когда я опроверг это утверждение как безосновательное, Селезненко отказался от него. Тогда судья Дышель начал пугать свидетеля тюрьмой, и Селезненко не устоял перед шантажом. То же случилось со свидетелем Калиниченко И., ко-



того вынудили в КГБ дать лживое показание о моем стихотворении, от которого он отказался на судебном следствии. Тогда судья стал обливать свидетеля нецензурной бранью, угрожая, что за такое поведение его выгонят с работы и лишат ученой степени».

Знают ли об этих фактах работники американской Фемиды?

Вот что заявил, например, в беседе с украинскими адвокатами Америки директор Бюро специальных расследований при департаменте юстиции США — Аллан Раен:

«Я не верю, что советские методы настолько предательски коварны, что способны принуждать свидетелей говорить ложь, которую не могли бы разоблачить обвинители, защита или суд» («The Ukrainian Weekly», № 45, 7. 11. 82, стр. 2).

Возникает вопрос, можно ли с такими представлениями о способностях советской юридической системы делать правильные выводы, разбирая советские «материалы»? Данное заявление Аллана Раена не говорит в пользу юридической компетентности руководимого им Бюро. В самом деле, какие разоблачения советской «туфты» могут сделать американские обвинители, если они находятся под влиянием прокуроров СССР и полностью солидаризуются с ними? Они же, как видно из статьи Антоненко, нейтрализовали защиту, дав советской стороне возможность разыгрывать спектакль «допроса» свидетелей. Этот спектакль, очевидно, произвел на американцев впечатление, что советское судопроизводство ничем не отличается от западного. Вот как описывает его тот же Аллан Раен — в газетном пересказе:

«М-р Раен дал детальное описание процедуры снятия показаний со свидетелей, отметив, что обвинение не имело возможности говорить со свидетелями предварительно, как это часто делается в Соединенных Штатах» (там же).

Неужели же м-р Раен допускает, что советская сторона, советские прокуроры и следователи КГБ не допрашивали предварительно тех свидетелей, которых они потом вывели для спектакля — для совместного американо-советского допроса? Так думать может только наивный ребенок, находя притом в советской юридической системе какие-то преимущества перед американской! Как же с такими понятиями о советской юриспруденции можно разоблачить ложь в показаниях советских свидетелей?

Далее м-р Раен описывает процедуру, вселившую в него, очевидно, уважение к советскому судопроизводству:

«Советское уполномоченное лицо начинает процедуру с установления личности свидетеля (обычно посредством предъявления паспорта), с указания свидетелю на его право давать показания на родном языке и с предупреждения свидетеля о наказании в случае лжесвидетельства. Свидетель тогда обещает, как и в нашей стране, говорить правду» (там же).

Какая трогательная картина непогрешимого правосудия!

Все, кто прошел через советскую юридическую мясорубку, знает цену этим видимым аксессуарам законности, которыми советские «органы классовой борьбы» маскируют царящий в них произвол и беззаконие. Но, очевидно, на людей неискушенных эти спектакли производят впечатление.

Каковы же те свидетели, которые убедили американских прокуроров в достоверности состряпанных в ведомстве Андропова материалов? Прокурор Антоненко приводит в своей статье несколько таких свидетельств:

«Вот свидетельство Осипа Францевича Илькивского:

— Приблизительно весной 1943 года я находился с товарищами возле школы. Мы увидели, как поли-

цай Козий и с ним еще три человека вели по улице семью Бредгольца в составе трех человек. Мы поняли, что их ведут расстреливать на кладбище, и побежали напрямик через парк к погосту. Полицейский Козий сказал Бредгольцу и его жене стать на колени и повернуться лицом к кладбищу. Я не помню, были ли на коленях дети Бредгольца или стояли. Хорошо помню, что Козий и другие полицаи стояли сзади и вплотную расстреляли всю семью».

Все, кто жил в так называемом «Генерал-Губернаторстве Польша» под немецкой оккупацией, знают, что местная полиция не имела права чинить суд и расправу над жителями, а тем более расстреливать. Интересно, почему свидетель запомнил лишь Козия, а трех его сообщников не смог? Ведь все они были местные жители. Кроме того, КГБ известен точный состав тогдашней полиции. Почему кагебисты до сих пор не нашли этих трех «неопознанных» сообщников Козия? Ведь они могут дать много информации и быть неопровержимыми свидетелями против своего же шефа. Все бывшие полицаи на территории СССР опознаны и осуждены советским судом. Почему же КГБ до сих пор не нашло и этой мифической тройки? Не потому ли, что упомянутое «показание» было необходимо, только чтобы обвинить Козия, а разыскивать несуществующих лиц КГБ не собирается? К тому же свидетель, по его словам, был не один. Возможно, кто-нибудь из его товарищей запомнил еще других полицаев? Но авторам жутких историй для легковоров «другие полицаи» не нужны. Они привязаны к показаниям для вящего правдоподобия.

Наличием неких отвлеченных личностей полны и другие «показания», приводимые прокурором Антоенко:

«Я был очевидцем, как полицейский Козий Богдан расстрелял малолетнюю дочь врача Зингера. Кто-то донес полиции про эту девочку, семью которой до

того отвезли в гетто. Она оставалась проживать у одной польки. Девочке было примерно 4 года...»

Почему не названа эта мифическая полька? Почему она не разыскана и не сняты показания непосредственно у нее? Возможно, она знает, кто донес в полицию, и будет найден еще один преступник.

Все приведенные в статье прокурора Антоненко показания действительно ошеломляют. Но стоит глубже вчитаться в них, как начинают проступать странные особенности памяти свидетелей. Не странно ли, что свидетели помнят и знают фамилии, имена, родственные отношения, профессии и даже возраст жертв и в то же время не помнят других не менее важных деталей, как, например, кто были сообщники Козия, кто была «одна полька», скрывавшая девочку? Уж если свидетель помнит имя и возраст девочки, судьбу ее родных, знает, что девочка скрывалась, то почему из его памяти выпало, у кого именно она скрывалась? Не потому ли, что упомянутые показания — это всего лишь версия, составленная, чтобы обвинить Козия и парализовать американцев картинами нечеловеческих зверств?

Зачем советской стороне нужно обвинить именно Богдана Козия? Дело в том, что Козий был (и КГБ знает это!) членом подпольной боевой группы ОУН (Организации Украинских Националистов). Эта организация была вдохновителем и организатором УПА (Украинской Повстанческой Армии). Вот в этом-то факте и зарыта собака! КГБ всеми средствами силится очернить УПА и ради этого не брезгует никакими методами. Поэтому Козий обвинен во всем том, что желательно для КГБ. А американские прокуроры, ошеломленные и парализованные ловко нарисованными картинками зверств, говоря просто, клюют на кагебистскую удочку.

Касаясь возможности того, что советские документы могут быть фальшивыми, директор Бюро спе-

циальных расследований Аллан Раен пояснил, почему он доверяет советским документам:

«Главный прокурор по военным преступлениям в Западной Германии, имевший дело с Советским Союзом в течение 25 лет, сказал мне, что он в своей практике не знает случая подделок со стороны Советов».

Может ли этот факт, если даже он и соответствует истине (что весьма и весьма сомнительно!), служить оправданием безоговорочного доверия к советским документам? Где гарантия, что, 25 лет не фальшивя, советские власти на 26-м году не сочтут необходимым прибегнуть к фальшивке? Ведь советская юридическая система подчинена партии и КГБ и выполнит любое их поручение. Что же касается подделок, фальшивок и фальсификаций, то и партия, и КГБ, и советские суды давно зарекомендовали себя специалистами по этой части.

Весь мир знает сегодня, что тысячи польских военнопленных офицеров были расстреляны в Катыни в 1941 году советскими чекистами. Однако советский суд признал меня клеветником и осудил на восемь лет за то, что я заявил об этом в своих обращениях к мировой общественности. При этом на суде в качестве свидетельства против меня фигурировало «Заключение» созданной Берия и Сталиным «Комиссии» по расследованию Катынского дела. Эта комиссия «заключила», что расстрел поляков совершили немцы. Однако за 40 лет, прошедших со дня расстрела, не найден ни один немец, участвовавший в этой акции. Интересно, посчитают ли американские прокуроры, сотрудничавшие с Прокуратурой СССР, «заключение» вышеупомянутой «комиссии» за неопровержимый документ или нет? По всей видимости, да, примут его за чистую монету.

Средства массовой информации свободного мира пестрят сегодня сообщениями о советских фальшивках, подделках, заговорах, покушениях. Нет недостат-

ка и в сообщениях о «делах», совершающихся за железным занавесом. Вот одно сообщение о событии, имевшем место в СССР, как раз во время «плодотворного сотрудничества» американских и советских прокуроров:

«Доктор медицинских наук Софья Баазова (р. 1909), заслуженный деятель науки Груз. ССР, выразила намерение эмигрировать. Вскоре после этого, в феврале 1981, на нее в подъезде ее дома было совершено покушение: ее ударили ножкой стула по голове. С. Баазова получила сотрясение мозга, было наложено 12 швов. Покушавшийся был опознан С. Баазовой — им оказался А. Медведев (его отец — подполковник КГБ в отставке, мать — член Верховного суда Груз. ССР). Однако дело против А. Медведева было вскоре прекращено 'за недоказанностью обвинения'» («Вести из СССР», 1981, №13/14, 31. 7. 1981, стр. 8).

Это небольшое сообщение весьма ярко характеризует всю советскую юридическую систему и ее полное подчинение власти.

Приведенные в статье прокурора Антоненко свидетельства могут посчитать достоверными лишь те, кто не знает отношений, существовавших на оккупированной немцами Западной Украине, и те, кто далек от критического подхода к спрепарированным в кухне Андропова обвинениям. Если бы свидетели КГБ свидетельствовали в судебном заседании, то опытный адвокат очень легко, путем ряда последовательных вопросов, смог бы разоблачить фальсификацию. Но советская сторона сделала все, чтобы изолировать своих «свидетелей» от независимого и беспристрастного разбирательства. Показания советских свидетелей записываются в СССР на видеопленку и в таком виде фигурируют в американских судах. Иными словами, суд, обвиняемый и защита лишены возможности ставить свидетелям вопросы. Стоит ли говорить, что такая процедура очень удобна для всякого рода

фальсификаций и лжесвидетельств. И, как это ни странно, тактика КГБ нашла полную поддержку со стороны американских прокуроров. Из статьи прокурора Антоненко явствует, что они приняли разыгранный перед ними спектакль за чистую монету.

Меня удивляет, как это могло случиться?

Неужели юристы Бюро специальных расследований при департаменте юстиции США не отдают себе отчета в том, что они имеют дело с фальсификаторами, действующими в государственном, а также в мировом масштабе?

**ДВУХТОМНИК В. Е. МАКСИМОВА**

## **«Прощание из ниоткуда»**

Книга 1

### **Памятное вино греха**

Переиздание отдельным томом выпущенной в 1974 году книги, имевшей большой успех как среди русских, так и среди иностранных читателей. Автобиографическое произведение, повествующее о тяжелых годах детства и юности писателя. Дана широкая картина жизни простых людей в разных уголках Советского Союза. 1982, 428 с., 28 н. м.

Книга 2

### **Чаша ярости**

Книга охватывает биографию писателя во время его литературного становления, его встречи с коллегами в провинции и в столице, беглые зарисовки литературной жизни, портреты писателей. Заканчивается она прощанием с родными людьми и местами и описанием отъезда из России. 1982, 360 с., 28 н. м.

Possev-Verlag, Flurscheideweg 15, D - 6230 Frankfurt/M. - 80

## **СВОБОДНЫЙ РУССКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ НА ЛЕТНИЙ КУРС 1983 ГОДА**

Заезд слушателей — 31 июля 1983 года.  
Начало занятий — 1 августа 1983 года.  
Конец занятий — 20 августа 1983 года.

Курс имеет целью дать слушателям по возможности полное и объемное представление о сегодняшней России, о ее истории, литературе, искусстве, науке; о современном положении в различных областях знаний; об организации советского государственного аппарата; о структуре управления промышленностью, сельским хозяйством, культурой и мн. др.

Кроме того, со слушателями будут проводиться регулярные занятия русским языком и разговорная практика, что даст возможность студентам-славистам, преподавателям русского языка, переводчикам усовершенствовать свои знания.

Занятия, лекции, вечера, семинары будут проводиться высококвалифицированными преподавателями и профессорами; а также специалистами в различных областях знаний, писателями, журналистами, историками, искусствоведами.

Количество мест ограничено.

Слушатели обеспечиваются одно- или двухместными комнатами гостиничного типа и трехразовым питанием.

По всем вопросам обращаться по адресу:

Russische Andrej-Sacharov-Akademie e. V.  
Postfach 180105, D-5000 Köln 1, Tel. (02234) 7 90 47



# Факты и свидетельства

Рафаэль Шапиро

## ЗАМЕТКИ О СТРОЙКЕ ВЕКА

Не всякое предприятие представляет интерес для исследования. Байкало-Амурская магистраль такой интерес представляет. Не только потому, что это крупнейшее в СССР (а может быть, и в мире) строящееся предприятие, но и потому, что оно дает чрезвычайно наглядное представление о Советском Союзе 70-80-х гг. — его политике, экономике, тенденциях развития.

Судя по советской прессе, вопрос о строительстве дороги начал рассматриваться партийно-правительственными кругами в конце 60-х — начале 70-х годов. Это было обусловлено тремя основными причинами: а) обострением отношений с Китаем; б) стремлением полнее использовать возможности детанта; в) ухудшением экономического положения в стране.

Главным и, видимо, изначальным фактором была растущая опасность войны с Китаем. Чтобы понять военно-стратегическое значение дороги, соединяющей Восточную Сибирь с Тихоокеанским побережьем Советского Союза, достаточно взглянуть на карту. Все огромное пространство советского востока — от станции Тайшет до Тихого океана — обслуживается единственной транспортной артерией, так называемой Транссибирской магистралью. Магистраль имеет тем большее значение, что окружающий рельеф: тайга, холмы и горы, множество рек (текущих, однако, в большинстве своем не с запада на восток, а с юга на

север), глубоких ущелий и т. д. — делает местность почти непроходимой.

Роль этой скоростной железной дороги в полной мере проявилась в годы Второй мировой войны. В 1941—1942 гг. она позволила перебросить крупные войсковые соединения с востока на запад — для защиты Москвы и Сталинграда; в 1945-м — быстро передислоцировать армию для удара по японским войскам в Маньчжурии.

Однако с переменной потенциального противника выявилась и очевидная слабость Транссибирской магистрали. Начиная от Иркутска, дорога нигде не отходит от южной границы СССР более чем на 40 км и, следовательно, на протяжении тысяч километров легко уязвима для нападения со стороны Китая.

Военные столкновения на узких участках границы показали, что при фронтальном столкновении с Советским Союзом у Китая практически нет шансов на победу — слишком велик разрыв в техническом оснащении двух армий. Но у Китая есть иная возможность — партизанская война. При этом варианте, который буквально напрашивается, китайские партизаны, просочившись на советскую территорию хотя бы в нескольких местах, могли бы с помощью диверсий вывести дорогу из строя, лишив советские войска основной линии снабжения. Ясно, что советская армия оказалась бы в очень сложном положении. Снабжение по воздуху миллионной армии всем необходимым — от оружия и снарядов до продовольствия — задача едва ли выполнимая, а охрана и ремонт дороги, имеющей множество таких уязвимых объектов, как мосты, тоннели и пр., сопряжены с огромной затратой труда и средств.

Напрашивалась и ответная мера: построить вторую железную дорогу, параллельно первой, но севернее, то есть дальше от границы с Китаем. В этом случае даже 200 км существенно меняли дело, ибо трудно-

проходимая местность создавала преграду действиям диверсантов.

В пользу строительства такой дороги можно было привести и ряд других соображений. Довод против был только один, но достаточно веский — отсутствие средств. Уже к концу 60-х годов советская экономика, после короткого подъема, вызванного смертью Сталина и «либерализацией», вернулась к состоянию хронических затруднений.

Тут, правда, нужны оговорки. Выражение «отсутствие средств» имеет в советской экономике совсем иное значение, чем в западной. Советская экономика по самой природе нормативна и несбалансирована. Это значит, что правительство, даже не объявляя об этом публично, может в любой момент перебросить из одного сектора хозяйства в другой практически неограниченные ресурсы — рабочую силу, технику, сырье и т. п. Равным образом может быть выпущено в обращение дополнительное количество денежных знаков. Поскольку деньги в обращении все равно не обеспечены товарной массой, то степень необеспеченности существенной роли не играет.

Инфляция? Но ползучая инфляция существовала в советской экономике всегда, а открытую — регулирует правительство, свободно манипулируя рычагами цен, которые почти целиком сосредоточены в руках государства.

Так что сам этот термин «отсутствие средств» — применительно к советской экономике — был бы в ином случае лишен смысла. Но в данном случае речь шла о строительстве железной дороги в исключительно сложных природных условиях. И тут приходилось считаться с тем, что нужны не просто «средства», а средства (техника, материалы), которые могли бы эффективно работать в этих условиях.

Средств таких в стране было недостаточно, и, значит, надо было приобретать их на Западе, расхо-

дую золото и валюту или добываясь новых крупных займов. В этом (и только в этом!) смысле у советского государства действительно не было средств на строительство стратегически важной железной дороги.

И тут кого-то осенила поистине гениальная мысль. Как и все гениальное, мысль эта была поразительно проста — использовать детант. Этим смутным термином, содержание которого толковалось сторонами по-разному и постоянно менялось, было принято определять систему отношений между Советским Союзом и Западом, пришедшую на смену «холодной войне». Считалось, что неписанное «джентльменское» соглашение обязывает каждую из сторон не делать ничего, что могло бы причинить существенный ущерб другой. Более того, предполагалось, что со временем возникнут проекты, совместное осуществление которых принесет ощутимую выгоду всем участникам детанта. Таким образом детант приобретет не только негативное (воздержание от враждебных действий), но и позитивное содержание.

Предложение, с которым СССР обратился к своим партнерам по детанту, казалось, и преследовало эту цель. Партнеры берут на себя финансирование проекта. Советский Союз не только строит дорогу, но и вводит в эксплуатацию расположенные в этой местности месторождения полезных ископаемых (уголь, полиметаллы и т. д.). По железной дороге сырье вывозится к Тихоокеанскому побережью, где грузится на корабли. Этим дешевым сырьем Советский Союз и расплачивается с кредиторами...

На первый, сугубо поверхностный взгляд, проект и в самом деле взаимовыгоден. Одна сторона получит дешевое сырье (что, кстати, уменьшит ее зависимость от поставок сырья из так называемых развивающихся стран), у другой — появится возможность ввести в эксплуатацию крупные месторождения полезных ископаемых, которые при отсутствии ино-

странных кредитов удалось бы использовать, очевидно, не раньше XXI века.

Нетрудно заметить, что при таком подходе железная дорога как бы выносится за скобки, фигурируя лишь в качестве «средства доставки» сырья к портам Тихоокеанского побережья.

Подобное смещение «центра тяжести», разумеется, не случайно. При мало-мальски серьезном анализе ситуации ясно, что экономическая сторона сделки (при всей ее важности) имела для Советского Союза второстепенное значение. Решающую роль играла сама дорога и связанные с ней стратегические соображения.

Об одном из аспектов — военном — мы уже говорили. Другой — дипломатический — имел целью надолго рассорить американцев с Китаем, поскольку было совершенно ясно, что КНР справедливо воспримет строительство дороги как враждебную акцию, а содействие в осуществлении этого проекта — как действие, направленное против Китая.

Кроме этих двух — главных — целей, проект обещал Советскому Союзу и ряд дополнительных выгод: а) расширение активной сырьевой базы, что имело, конечно, не только экономическое, но и военно-стратегическое значение; б) усиление зависимости стран-получателей от поставок советского сырья. Наконец, можно легко понять, что сама дорога имела бы важное стратегическое значение в случае войны не только с Китаем, но и с другими странами — прежде всего, с Соединенными Штатами и Японией.

Все эти соображения столь очевидны, что советское правительство, выдвигая этот проект, видимо, поначалу мало рассчитывало на успех. Правда, опыт свидетельствовал, что в прошлом демократические страны с поразительным простодушием откликались на такие предложения, способствуя созданию крупных электростанций, металлургических центров, трактор-

но-танковых и автомобильных заводов, электронной промышленности и т. д.

Но трудно было поверить, что этот опыт никого ничему не научил. Поэтому в советской печати о переговорах по этому вопросу говорилось глухо и упор делался на два момента. С одной стороны, на сугубо прозаическую взаимную выгоду; с другой — на некую романтическую акцию: наполнение детанта конкретным позитивным содержанием. Советские правители, умеющие принимать любую личину в зависимости от обстоятельств, на сей раз надели маску купцов, занятых исключительно коммерческими расчетами, хотя и готовых отдать некоторую дань романтике...

Неожиданно советское предложение получило поддержку высокопоставленных политических деятелей Запада, и по меньшей мере две страны в принципе согласились его финансировать. По иронии судьбы, ими оказались США и Япония — государства, для которых Байкало-Амурская магистраль представляет наибольшую опасность.

Это было так странно, что подозрительные советские руководители просто не поверили. Советская пресса, чуткий барометр настроения в верхах, продолжала писать о проекте глухо. Условия кредита не излагались, была упомянута лишь сумма кредита — 10 миллиардов долларов. Половину этой суммы должны были предоставить Соединенные Штаты, вторую половину — Япония.

Но затем что-то изменилось. Что именно — сказать трудно. То ли, пока шли переговоры, Советский Союз где-то надорвал хрупкую материю детанта, то ли в США вдруг спохватились. Особой пронизательности не требовалось: китайская печать, например, писала обо всей ситуации достаточно определенно.

Советские руководители попытались уцепиться за согласие Японии. Но японские правительственные

и деловые круги уже утратили первоначальный энтузиазм. Было сказано, что японские кредиты составляют неотъемлемую часть общей суммы, а поскольку американцы от своей части отказались, это аннулирует всю сделку.

Похоже, такой поворот событий не очень удивил советских руководителей; видимо, они с самого начала сомневались в успехе. Газеты ограничились довольно вялой руганью по поводу империалистов, которые не желают развивать детант и коварно отказываются от своих обязательств. Л. И. Брежнев в одном из своих выступлений мимоходом коснулся этой темы. Смысл того, что он сказал, можно передать известной фразой из анекдота: «Не вышло — и не надо, не очень и хотелось». Советский Союз, уверял Брежнев, не очень нуждается и в железной дороге, и в сырье, сырья нам хватает. Мы хотели просто сделать доброе дело для других — для тех, кто в этом сырье нуждается. А если они вдруг почему-то передумали, тем хуже для них...

Казалось, вопрос снят с повестки дня. Только очень внимательный читатель мог заметить, что изредка (главным образом в провинциальных газетах Восточной Сибири и Дальнего Востока) появляются короткие сообщения о геодезических партиях, которые ведут изыскания на трассе предполагаемого маршрута.

О статусе этих изыскателей можно только догадываться. Трудно было понять, идет ли речь о специалистах-путейцах, добровольцах из числа комсомольцев-активистов или военно-строительных отрядах. Постепенно, однако, газеты стали все чаще писать именно о комсомольцах, которые будто бы — чуть ли не в порядке «самодеятельности» — организуют отряды и едут «строить БАМ».

Для каждого, кто знаком с советской действительностью, ясно, что сами комсомольцы ничего организовать не могут. Другой вопрос, что такие отряды

могли создаваться на местах по инициативе руководителей обкомов и райкомов комсомола (разумеется, с согласия местных партийных органов). Цель тут была двойная: во-первых, проявить «инициативу», которая будет замечена «наверху»; во-вторых, создать очередного идола, чтобы подогреть все более гаснущий энтузиазм молодых строителей коммунизма.

Но если и так — ясно, что подобная инициатива «снизу» сама по себе ничего не решала. Чтобы привести в действие громоздкую машину планирования и заставить ее выделить из скудных ресурсов средства на новую огромную стройку, нужны были решения на самом высоком уровне. Судя по реакции Брежнева, это вряд ли была его идея. Скорее всего, в поддержку такого строительства вначале высказывались военные. А уж позднее ее поддержал идеологический аппарат, которому, как и комсомольским деятелям областного масштаба, нужен был идол, «знамя», вокруг которого можно было бы поднять очередную пропагандистскую шумиху.

Идеологи социализма давно усвоили ту простую истину, что при существующей в СССР оплате труда нормальный человек работать не может. Поэтому его надо поставить в такие условия, чтобы он не просто работал, а «стоял на вахте», «преодолевал рубежи», «участвовал в стройке века» и т. п.

В апреле 1974 года в Москве проходил XVII съезд комсомола. Прямо со съезда большая группа его делегатов (600 человек) отправились «строить БАМ». Этот театральный жест был, конечно, заранее подготовлен и спланирован. Тот самый Брежнев, который еще недавно уверял, что ни залежи полезных ископаемых, ни железная дорога стране не нужны, теперь заявил: «Мы твердо уверены, что комсомольцы, молодежь внесут свой достойный вклад в эту грандиозную стройку. Эстафету Комсомольска-на-Амуре, Магнитки и Турксиба, Днепрогэса и целины, Братска и КамАЗа



они пронесут по новым, еще не освоенным просторам Сибири».

Судя по отдельным упоминаниям в советской прессе, строительство Байкало-Амурской магистрали велось уже в самом начале 70-х годов. Но возьмем официальную дату — апрель 1974 года. Естественно предположить, что в условиях плановой советской экономики столь же четко будет определен и срок окончания строительства. Ничего подобного. Об этом историческом событии пресса писала поразительно невнятно. Назывались самые разные сроки — и пять, и шесть, и семь лет. Только в позапрошлом году срок, кажется, был назван более или менее точно — 1982 год. Однако прошел и 1982 год, а барабанного боя и грома литавров, всегда предшествующих «вводу в строй» даже куда менее значительных объектов, что-то не слышно.

Впрочем, надо ли удивляться? Речь идет о «стройке века» — сооружении уникальном, исключительном, не имеющем себе равных в XX столетии, а следовательно, и вообще в мировой истории. 3145 километров пути; 25 километров тоннелей; 3100 искусственных сооружений; около 150 мостов общей протяженностью 32 километра...

Звучит впечатляюще. Но для объективного анализа масштабов и сроков одного только впечатления мало. Нужны объективные критерии, нужен эталон для сравнения. Аляскинский нефтепровод? Но условия там иные, да и как сравнивать прокладку трубопровода со строительством железной дороги?

Стоит, однако, обратиться к истории, и мы с некоторым удивлением обнаружим, что такие критерии есть. И даже не один, а два. Оказывается, идея строительства подобной дороги возникла еще в XIX веке. Уже в 1888 году Русское техническое общество серьезно и тщательно обсуждало вопрос: как и где проложить дорогу в Сибири, чтобы выйти к океану.

Одной идеей дело не ограничилось: в том же году начались изыскания на трассе. Правда, царское правительство отнеслось к проекту холодно, и в тот период он не был осуществлен. Русские власти отклонили и предложение американского синдиката — построить дорогу по маршруту: Камск — север Байкала — Хабаровск — Николаевск-на-Амуре. Позднее предполагалось соединить эту дорогу — через Чукотку — с Америкой.

Среди многих других проектов, разработанных в последующие годы, особенно удачным был проект известного русского инженера (и еще более известного писателя) Гарина-Михайловского. Проект этот был представлен в двух вариантах: северном (собственно, по этой схеме и строится нынешняя дорога) и южном, по которому была проложена Транссибирская магистраль.

Проложена, заметим, в «отсталой» царской России. Без современной техники и передовых методов. Без пропагандистской шумихи о «стройке века» и «преимуществах социализма». Человек, знакомый с современной советской литературной практикой, с изумлением обнаружит, что у Гарина-Михайловского, автора проекта и писателя, нет романов об этом, действительно грандиозном по тем временам сооружении. А построена дорога была так, что допускала движение со скоростью 80-100 км — далеко не все современные советские дороги способны выдерживать такую скорость...

Правда, Транссибирская магистраль имела одну особенность. От Москвы до Иркутска это была обычная двухколейка, но дальше — от Иркутска до Владивостока — она переходила в одноклейку, пропуск встречных поездов на которой осуществлялся с помощью так называемых «разъездов». Такое решение в начале XX века было вполне оправданным, ибо связь

России с ее восточными районами осуществлялась в ограниченных масштабах.

Однако в 30-е годы эта особенность дорог стала вызывать беспокойство советских руководителей и, видимо, лично Сталина. Вряд ли их волновал экономический аспект проблемы — Забайкалье и Дальний Восток и в 30-е годы не играли особой роли в народном хозяйстве. Но Сталин, этот «самый великий дзорный», очень рано оценил военно-стратегическую обстановку: одиночная колея была слабым местом всей системы сообщения между западной частью Союза и ее восточной частью. И при оборонительной войне на два фронта, и при наступательной — в направлении на Китай, Индокитай, Индию — нужна была мощная транспортная артерия, способная в считанные дни перебросить армию и военное снаряжение с запада на восток и обратно.

Надо думать, и тогда специалисты из Госплана были поставлены перед сложной задачей: откуда взять людей, технику, материалы. Ведь страна только-только пережила период тяжелейшего голода, вызванного коллективизацией. Сталин, однако, решил эту задачу с присущей ему гениальной простотой. К тому времени был успешно закончен «великий эксперимент» — строительство Беломоро-Балтийского канала. Канала, практически целиком построенного руками заключенных.

Сталину нужна была дорога. Заключенным — и тем, что остались в живых на Беломоро-Балтийском, и сотням тысяч других, уже арестованных или ждущих своей очереди, — нужно было найти работу. Строительство «Второго пути» (термин официальный) и было той гениальной идеей, которая позволяла сразу решить обе проблемы.

Советские историки и публицисты, много писавшие о Днепрогэсе, Магнитке и Турксибе, почему-то обошли вниманием это великое и чрезвычайно инте-

ресное предприятие. А ведь тут интересно все, начиная с названия. Термин «Второй путь» употреблялся сравнительно редко, гораздо чаще строительство называли БАМ — Байкало-Амурская магистраль. Ведь дорога и в самом деле шла от Байкала (Иркутск) до Амура (Владивосток). Ясно, что для нынешней стройки стоило бы придумать иное название или хотя бы именовать ее БАМ-2. Советские руководители (а вместе с ними историки, писатели, журналисты) предпочли, однако, забыть эти страницы отечественной истории...

Едва ли не единственное (по необходимости — весьма краткое и общее) описание этого грандиозного предприятия мы находим в эпосе А. Солженицына «Архипелаг ГУЛag». Стройка называлась БАМ, и, соответственно, вся колоссальная система лагерей, протянувшихся от Иркутска до Владивостока, называлась БАМлагом. Начальником БАМлага был Нафтали Аронович Френкель, человек-легенда, которому А. Солженицын посвятил несколько необычайно ярких страниц.

За отсутствием других источников сошлюсь на собственные впечатления. Мне, сыну осужденного по типовой 58-й статье и работавшего на БАМе (сначала в качестве заключенного, а затем досрочно освобожденного), довелось видеть и БАМ, и лагерь, и знаменитого Френкеля. Собственно, почти все, что было тогда на БАМе (включая школы и больницы), принадлежало БАМлагу — это была, вероятно, крупнейшая «корпорация» страны.

Поскольку сама эта тема выходит за рамки настоящего исследования, ограничусь лишь краткой справкой. Строительство было начато, видимо, в 1933—1934 гг., закончено — в 1939 г. Руководителем строительства (и не номинальным, а фактическим) был Френкель. Сам он именовал себя агрономом по специальности, но, видимо, освоил железнодорожное

строительство достаточно хорошо, ибо ни один существенный вопрос без его участия не решался. Он жил в специальном поезде, который мчался по трассе без расписания. К его услугам были дрезины и лошади, так что он мог осмотреть и любой участок пути, и любой лагпункт. Строилась дорога быстро (максимум 7 лет) и основательно: это была, пожалуй, единственная дорога в СССР, по которой поезда уже в 30-е годы ходили со скоростью свыше 100 км. Другой вопрос — чего это стоило сотням тысяч (а может быть, и миллионам) строителей-заключенных...

Если о БАМ-1 советская пресса не писала совсем, то о БАМ-2 она (и не только она) писала лишь в превосходной степени. Даже откинув риторику, читатель мог получить весьма впечатляющую картину стройки, олицетворяющей индустриальную мощь Советского Союза 70-80 годов XX столетия.

Самая передовая инженерная мысль. Превосходное руководство. Строители — почти исключительно добровольцы, отобранные по принципу «лучшие из лучших». Великолепная (с использованием сетевых графиков, ЭВМ и пр.) организация труда и производства. Самая современная техника. И т. д. и т. п.

А, собственно, почему бы и нет? Даже человек, критически мыслящий и хорошо знающий советскую действительность, вполне мог поверить, что уж это-то уникальное предприятие действительно ведется на уровне XX века.

Правда, в советских газетах изредка проскальзывали странные сообщения. О том, например, что управление строительством почему-то находится в Москве, а связь с объектами организована плохо: и телефоны, и радиотелефоны почему-то не работают. Или о том, что рабочие простаивают из-за отсутствия материалов, а «самые передовые» советские машины и механизмы ломаются, не выдерживая низких температур. И еще смутно поминались условия быта —

в некоторых местах они были далеки от идеала: мало школ, не хватает клубов, нет спортивных площадок...

Но всё это, конечно, частности. В главном, в решающем стройка отвечает самым высоким требованиям. Стройка-эталон, предприятие эпохи развитого социализма, перерастающего в коммунизм... Что ж, посмотрим, как это выглядит в действительности.

Журналист мог бы начать описание с гостиницы в городе Усть-Кут («западная столица БАМа») или с барачков, где живут передовые строители-комсомольцы. Исследователю надлежит начинать с проблем фундаментальных. Мы и начнем с проблемы фундаментальной в буквальном смысле слова — с того, на чем дорога строится.

Оказывается, что примерно половина трассы пройдет по вечной мерзлоте.

В XIX веке это обстоятельство стало одним из главных соображений против северного варианта и в пользу южного — он не связан с вечной мерзлотой. В прошлом веке специалисты не могли уверенно ответить на вопрос, как поведет себя вечная мерзлота в условиях значительной нагрузки, создаваемой регулярным движением тяжелых поездов. Может быть, в XX столетии специалисты это знают?

Инженер (назовем его К.), с которым я беседовал на эту тему, объяснил мне, что нет, не знают. Опытом эксплуатации дорог на вечной мерзлоте мировая практика просто не располагает. Есть соображения в пользу того, что мерзлота выдержит нагрузку. Но есть и против. В свое время предлагалось построить небольшой опытный участок с интенсивным движением, однако предложение было отклонено «высокими инстанциями» за недостатком времени. А что произойдет, если мерзлота не выдержит? Чтобы ответить на этот вопрос, не надо быть специалистом: дорога «поползет». Во многих городках на трассе

я видел скособоченные и просто развалившиеся дома — они буквально провалились в болото, образовавшееся там, где раньше была непробиваемая подкладка вечной мерзлоты.

Знают ли советские руководители об опасности, которая грозит дороге на протяжении сотен километров, опасности, которая способна в считанные месяцы обратить в прах миллиардные затраты и труд тысяч людей? Знают, конечно. Просто не могут не знать. На что же они рассчитывают? А на авось. Авось, окажется правы те, а не эти. Авось, пронесет.

Наивно думать, что авантюризм проявляется только на Кубе или в Афганистане. Авантюризм проявляется везде.

С окрестных сопок дорога выглядит очень эффектно: блестящие гигантские дуги, повторяющие изгибы Лены. Глаз невольно начинает искать вторую, парную колею. Но ее нет. БАМ — однокорейка. Факт этот нельзя скрыть, но акцентировать на нем внимание не принято. Тем более делать выводы.

А выводы напрашиваются. Оказывается, все эти колоссальные усилия и средства расходуются на дорогу, которая по самому своему замыслу неполноценна. Разумеется, проектом предусмотрены разъезды — иначе просто нельзя. Но самая усовершенствованная однокорейка нормальную двухкорейку не заменит — это ясно даже неспециалисту.

Уловить тут смысл трудно. В мирных условиях без этой дороги вполне можно было бы обойтись. В военных — она никак не заменит Транссибирскую магистраль. Какая же тут логика? Логика половинчатости. Нужна решительность, чтобы на запрос военного ведомства сказать «нет». Решительность нужна и для того, чтобы из скудных ресурсов страны урвать все количество металла, механизмов и прочего, что требуется для строительства полноценной дороги. Принимается «компромиссный» вариант: вроде бы и

дорога строится, и расход не так уж велик... Половинчатость, неумение (или нежелание) оценивать ситуацию до конца — еще одна характерная особенность политики нынешних советских руководителей.

Для тех, кто проектировал дорогу, с самого начала было очевидно, что главная трудность строительства — коммуникации. По рекам, текущим с юга на север, можно летом доставлять материалы и оборудование в определенные пункты. Зимой, используя накатанный снег (такие временные дороги называют «зимниками»), можно перевозить материалы и вдоль трассы. Но как перевозить их вдоль трассы во все остальные сезоны, в самое рабочее время?

Этот вопрос встал еще на стадии предварительного рассмотрения проекта. Группа опытных инженеров-путейцев решительно заявила, что проект в таком виде нереален. Нужно сначала — из местных («подручных») материалов — построить шоссе, а уже затем, параллельно ему, — железнодорожную колею. Правда, это потребует больше времени, но зато строительство железной дороги будет вестись быстро и рационально, а страна в дополнение к железнодорожной магистрали получит еще и шоссе. Проект этот практически не рассматривался. Советские руководители, которые, как известно, во всех вопросах разбираются лучше специалистов, увидели в идее только одно — удлинение сроков. Проект был отклонен, в отношении авторов сделаны «административные выводы».

Все это было нетрудно. Гораздо труднее было решить вопросы снабжения. Перевозить оборудование и материалы по трассе сложно даже летом и зимой и совершенно невозможно осенью и весной, когда земля превращается в сплошное болото.

Попробовали вертолеты. Стоимость перевозок оказалась такой, что даже выдавшие виды советские финансисты схватились за голову. Но выход, конечно,



нашелся — ведь безвыходных ситуаций в Советском Союзе не бывает. Выход снова гениально простой. Решено было строить дорогу как бы в двух вариантах: сначала «начерно», на живую нитку, а затем уже «набело», по всем правилам. Эту «черновую», кое-как проложенную дорогу предполагалось использовать для доставки основных материалов и оборудования. На их основе и должен был совершаться процесс превращения временной, «черновой» дороги в постоянную, «беловую».

Все тут было учтено, кроме психологии. Предполагалось, что люди, которых на первом этапе прямо-таки учили строить тяп-ляп, на втором, когда им объяснят новую установку, мгновенно переориентируются и начнут работать основательно. Как ни странно, этого не произошло. Постоянный путь укладывался так же небрежно и плохо, как временный, — действовал привычный стереотип.

Известно, что работать хорошо — трудно. А в советских условиях — еще и невыгодно, потому что за качество не платят. В данном же случае основная часть средств, ассигнованных на строительство дороги, была израсходована при постройке временного пути, на постоянный остались крохи. Таким образом, работникам, получавшим за плохую работу довольно высокую оплату, предлагалось — за хорошую, т. е. гораздо более трудную и медленную, — получать несравненно меньше. Легко догадаться, что из этого вышло...

...По проложенным уже участкам пути поезда не ходили. Ходил тепловоз с двумя-тремя вагонами или платформами. Право водить такой «поезд» предоставлялось лишь опытнейшим машинистам, имевшим звание «машинист-испытатель». Но, строго говоря, вел тепловоз — дело несложное — его помощник. А машинист, высунувшись из окна по пояс, следил за дорогой, чтобы вовремя дать сигнал «Стоп!». остано-

вить поезд было нетрудно: предельная скорость на новой дороге ограничена — не свыше 5-10 км/час. И ремонт пути производили быстро: вдоль всего построенного участка дежурили ремонтные бригады...

Известно, кому Советский Союз обязан «великими стройками» прошлого (Днепрогэсом, Магниткой, БАМ-1). Их строили главным образом заключенные и так называемые «кулаки», т. е. крестьяне, согнанные или бежавшие из разоренных деревень. А кто строит БАМ-2?

Советская печать отвечает однозначно: комсомольцы. Это правда, но не вся правда. Комсомольцы составляют лишь часть строителей и, видимо, не бóльшую. Не берусь судить о строителях «восточного» (от берега океана) участка дороги. Утверждают, что там работают преимущественно «добровольцы» из Северной Кореи, «одолженные» Советскому Союзу правительством этой страны в обмен на лес.

На западном участке строители представлены тремя разными категориями. Все наиболее сложные и ответственные работы (строительство мостов, тоннелей и т. п.) ведет армия — ее строительные инженерные подразделения. Основная масса чернорабочих — те же заключенные, но только «досрочно освобожденные». Живут они обычно в лагере, где отбывали срок, и там же работают. Отличие заключается в том, что на работу и с работы ходят без конвоя и, значит, вправе зайти в магазин за спичками. Съездить хотя бы в соседний городок они не могут — это приравнивается к побегу. А побег (как и любое серьезное нарушение) влечет за собой превращение «условного» наказания в безусловное, а может быть, и новый срок. (Конечно, и эта мера гуманнее, чем просто заключение. Но, думается, дело тут не столько в человеколюбии, сколько в финансах: охрана стоит дорого.)

Но ведь среди строителей есть и комсомольцы? Бесспорно. Более того, в массе своей они приехали

на стройку добровольно, многие добровольно живут и работают здесь годами.

Как живут? Плохо. Даже из весьма сдержанных замечаний советских газет рисуется довольно мрачная картина. Поначалу жили в палатках и вагончиках, где отопление практически не работало (у девушек волосы ночью примерзали к подушке, приходилось отдирать), теперь — в общих бараках. Уборные, конечно, снаружи и не только не утеплены, но и не освещены. А скольжение на подходе к ним превосходное — не хуже, чем на катке. И в баню, например, в Усть-Куте ездят за 17 километров. И не машиной, городским автобусом...

Конечно, многие бегут. Но другие остаются. За чем же люди живут в таких условиях? Проще всего это объяснить принуждением (хотя бы моральным) или высокой зарплатой. Но моральное давление нынче действует слабо, а зарплата не так велика (в среднем рублей 250), особенно если учесть, что цены в этих краях выше обычных. Нет, главная причина в другом. Большинство добровольцев — выходцы из сёл и маленьких городов, где условия по всем показателям (работа, заработок, обеспечение продуктами питания и вещами, обслуживание и т. п.) еще хуже.

Плохие условия? Но молодежь, основываясь на собственном опыте и на пропагандистских материалах, искренне убеждена, что на «великих стройках» именно так и должно быть: барак, холодная уборная, баня в 17 километрах. Правда, многие (особенно — девушки) болеют и теряют здоровье, но молодежь редко думает о таких вещах.

Разница в возрасте и жизненном опыте позволяет объяснить тот парадокс, что простые рабочие жили в палатках, а руководители стройки, которым были подготовлены вполне комфортабельные дома, упорно сидели в Москве, осуществляя руководство по неработающим телефонам. Все знают, что палатки и про-

чая «романтика» — для молодежи; на советских чиновников такого рода демагогия давно не действует. Только после того, как призывы печати (включая «Правду») наладить связь не дали результата, газеты робко намекнули руководителям стройки, что, пожалуй, не грех им поруководить на месте...

Говорят, что даже в Политбюро ЦК КПСС строительство Байкало-Амурской магистрали вызывает споры. «Практики» предлагали законсервировать стройку: слишком дорого и малоэффективно. Но «идеологи» решительно возражали: народу нужно знамя, предприятие, которое станет символом эпохи победившего социализма.

Ту же цель — показать предприятие эпохи победившего социализма — преследуют и эти краткие заметки...

**Андрей Самохин**

## **Китайский круг России**

Книга Самохина посвящена русско-китайским отношениям. Автор и ныне проживает в СССР и рассматривает свой предмет с позиций русского патриота, стремящегося обеспечить мир между Россией и Китаем.

Карманный формат

198 с.

18 н. м.

Possev-Verlag, Flurscheideweg, 15, D-6230 Frankfurt/M.-80

# ИСТОКИ

Семен Бадаш

## НОРИЛЬСКОЕ ВОССТАНИЕ

(К тридцатилетию)

*Глава из воспоминаний*

«...и крупное восстание в Горлаге (Норильск), о котором сейчас бы была отдельная глава, если б хоть какой-нибудь был у нас материал. Но никакого».

*А. Солженицын. Архипелаг ГУЛаг,  
т. 3, ч. 5, с. 295.*

5 марта 1953 г. по лагерю прошел невероятный слух о том, что умер Сталин. Многие отнеслись к этому с недоверием, но к вечеру пришедшие с «Горстроя» бригады подтвердили это сообщение, услышанное ими в городе по радио, посреди неустанно передававшихся траурных мелодий.

Смерть эта вызвала в лагере и радость среди заключенных (некоторые бросали вверх шапки, пели и смеялись), и чувство какой-то неуверенности, неопределенности. Каждый задавал себе вопрос: «Кто же будет следующим вождем? Как отразится смерть этого 'гения всех наук' на спецлагерях и заключенных?» Ясно было одно: в любом случае положение заключенных хуже быть не может.

Прошло два месяца после этой радостной даты, наступили майские праздники. Надо отдать должное лагерному начальству: революционные и коммунистические праздники они блюли свято, даже несчастных заключенных в эти дни не выгоняли на работу. Люди

писали письма «на волю», беседовали в бараках, отсыпались и отдыхали, не ведая, что ожидает их на следующий день.

К этому времени в некоторых бригадах нарастало недовольство бригадирами — местными норильчанами\*, на совещаниях бандеровцев говорилось о грубости некоторых надзирателей.

3 мая на лагерную вахту были вызваны несколько заключенных — то ли для отправки в другой лагерь, то ли на какие-то работы. Конвой, как обычно, стоял за воротами, ожидая выхода заключенных. За воротами один заключенный, увидев, что их хотят перебросить в другое место, категорически отказался идти. На все увещания и приказы конвоя он мотал головой, потом лег на промерзлую землю и отказывался встать. И тогда начальник конвоя отдал команду: «Стрелять». На глазах у группы заключенных, стоявших рядом, и у многочисленных заключенных по ту сторону ворот — солдаты из автоматов прошили пулями лежащего. Весть об убийстве пронеслась по лагерю с молниеносной быстротой, руководство национальных групп решило объявить голодовку с невыходом на работы. По домам и баракам ходили связные, предупреждая, чтобы на работу никто не выходил, в столовую — тоже, чтобы все лежали на нарах и койках и барачников не покидали.

Заключенным, находившимся на работах в «Горстрое», т. е. на объектах вне лагеря, сообщили о начале голодовки и дали указание: не возвращаться в лагерь (вторая, вечерняя смена на стройке) — что ими было выполнено.

В результате получилось, что половина заключенных была на территории лагеря, другая — на терри-

---

\* Под «местными норильчанами» автор, прибывший в Норильск в 1951 г. с казахстанским этапом «бунтовщиков», имеет в виду давно сидящих в Норильске. — Р е д.

тории строительных объектов в городе и не возвращалась в зону. Записками, а также сигналами с крыш сообщили о начале голодовки на соседний, 5-й лагпункт, и 5-й лагерь полностью не вышел на работы. Далее слух о голодовке пошел на 6-й (женский) лагерь, и он тоже поддержал 4-й и 5-й лагерь.

На объектах «Горстроя» приостановились все работы и у вольнонаемных: не подавался кирпич, не подвозились машины и стройматериалы, ушли по домам вольнонаемные проектировщики и инженерно-технический персонал. Жизнь в городе была парализована.

Прошло четыре дня. За это время руководители групп составили письма с требованиями. Местное лагерное начальство было обескуражено и не знало, что предпринять. Впервые столкнулись они с массовой голодовкой-забастовкой — метались за зоной, совещались в городе, и в конце концов 7 мая в Норильск прибыл спецсамолет с высокими чинами для выяснения обстановки в городе и лагерях. Это была действительно представительная комиссия. В нее вошли: от МГБ — полковник Кузнецов, от ЦК — некто Алексеев, от Прокуратуры СССР — зам. Генерального Прокурора Вавилов, от администрации Норильского горно-обогатительного комбината — его директор, член ЦК Завенягин, прилетевший из Красноярска (его имя ныне носит металлургический комбинат в Норильске).

Комиссия вошла в зону 4-го лагеря в окружении многочисленной охраны с автоматами наизготовку, готовой открыть огонь по заключенным в любую секунду. У ворот собралась колоссальная толпа заключенных, и руководители восстания вручили комиссии письма-требования: одно письмо было написано на имя министра госбезопасности Л. П. Берия, другое — в ЦК. Требования перекликались с теми, которые мы когда-то предъявляли начальству Степлага еще в Экибастузе, при первой забастовке в 1951 г., — новым, носящим политический характер был первый пункт:

1. Пересмотреть все заочные, незаконные постановления Особого совещания МГБ, пересмотреть незаконные приговоры военных трибуналов и освободить всех, заключенных по ним.

2. Снять позорные, унижающие честь и человеческое достоинство номера с одежды заключенных.

3. Разрешить переписку с родными и близкими без ограничения (нам полагалось 2 письма в год).

4. Сократить рабочий день до восьми часов.

5. Ввести «зачеты» — систему, существовавшую в обычных лагерях, где день работы засчитывался за два дня заключения.

6. Ввести оплату труда (вместо бесплатного рабочего труда за скудную еду).

7. Разрешить свидания с родными.

8. Разрешить чтение газет и журналов.

9. Судить и наказать виновников убийства ни в чем не повинного заключенного 3 мая у лагерной вахты.

Требования были переданы письменно и изложены комиссии устно. Комиссия приняла письма, выслушала требования и обещала немедленно решить все вопросы в Москве, о чем «будет сообщено заключенным». Одновременно комиссия просила всех заключенных вернуться на работы, а ту смену, что трое суток голодала на объектах, — вернуться в лагерь, и пообещала удовлетворить часть требований немедленно.

7 мая, по распоряжению руководителей восстания, вторая смена под конвоем двинулась в зону. Шли медленно, так как за трое суток голодовки на объектах очень ослабли. Но не дошли они еще до зоны, как надзиратели и конвой начали «выдергивать» из колонны отдельных заключенных — руководителей забастовки на объектах и насильно сажать их в заранее подогнанные грузовики. Их увезли в неизвестном направлении — остальные вернулись в зону.



Известие об изоляции и вывозе в неизвестном направлении руководителей забастовки привело к тому, что 8 мая была дана новая команда о начале всеобщей забастовки. На всех бараках и домах в зоне были подняты черные флаги, ни один надзиратель в зону не заходил. Руководство забастовки взяло на себя и руководство всей жизнью внутри лагеря.

Черные флаги были подняты и на крышах барачков в 5-м и 6-м лагерях. Слух о восстании-забастовке молниеносно пролетел по всем отделениям Горлага (Горного лагеря — так назывался спецлагерь в Норильске).

Всех руководителей и инициаторов забастовки-восстания я знал лично. В основном, это были заключенные из моего казахстанского этапа 1951 г., но к ним присоединились и «местные» зэки. Среди них мой близкий друг Макс Минц из Москвы; работавший в больнице врач-чех из Праги Борис Янда, хороший специалист по терапии, окончивший Карлов университет; словак Станислав Нурко (впоследствии, после реабилитации и в ожидании выездной визы, он прожил у меня в Москве около двух месяцев). Близкие мне по казахстанскому лагерю братья Николай и Петр Ткачуки руководили всеми украинцами.

Эта вторая всеобщая забастовка приняла затяжной характер. Шли дни и недели, заключенные сидели в зоне, ни один человек не выходил на работы. Всё, начиная от распределения продуктов на кухню и кончая кормлением в столовой бригад, управлялось самими заключенными. Порядок в лагере был четким, злоупотреблений не было.

Недалеко от столовой было большое футбольное поле с двумя воротами. Никто никогда им не пользовался: заключенным, измученным работой, было не до футбола. Сейчас же, отлежавшись и несколько недель отдохнув, некоторые от безделья начали гонять мяч, создали команду — надо было убивать долго

тянувшееся время. Время казалось долгим еще и потому, что солнце в Норильске светило постоянно, не заходя за горизонт, — это путало дни и ночи, путало часы.

Черные флаги на домах и бараках продолжали развеваться повсюду.

В Центральной больнице жизнь и работа шли по-прежнему: я продолжал делать сеансы пневмоторакса, доктор Янда следил за терапевтическими больными. Единственно, чем отличалась в это время работа санчасти, — тем, что на амбулаторный прием приходило меньшее число заключенных: забастовка уменьшила число простудных заболеваний и прекратила производственные травмы. Начальник санчасти от лагерного начальства Евгения Александровна Яровая, как и все начальство, в зону не заходила.

Заключенные слонялись по зоне, ходили друг к другу в гости, делились услышанными новостями и старыми воспоминаниями. В бараках и домах поддерживались чистота и порядок, велась систематическая уборка помещений, бесперерывно работала баня, куда заключенные ходили организованно.

В начале июня начальство «Горлага» начало психологическую атаку на лагерь. Днем солдаты из войск МВД натянули вокруг зоны провода, на столбах установили репродукторы, и ежечасно по радио начали раздаваться призывы начальства к заключенным:

— Граждане заключенные! Вы — советские люди, временно изолированные. Не занимайтесь саботажем, не срывайте работ на объектах, выходите организованно на работу. Вы попали под влияние злых врагов — не слушайте их, не подчиняйтесь им, выходите на работу!

Через два-три дня зону окружил целый полк автоматчиков МВД. Солдаты стояли вокруг зоны через каждые 5-10 метров, почти сплошной стеной. В двух-трех местах они разорвали двойной ряд колючей про-

волоки, сделав проходы из лагерной зоны, — одновременно по радио стали раздаваться призывы уже другого характера:

— Граждане заключенные, для вас открыта зона в таких-то местах. У кого еще сохранилось сознание советского гражданина — выходите из зоны группами или по одиночке. Выходите из зоны безбоязненно, не бойтесь террора со стороны руководителей восстания. Вам будет сохранена жизнь — мы гарантируем это всем, кто найдет в себе смелость и мужество добровольно покинуть зону.

Начальство и усиленная охрана ожидали результатов от задуманного ими разброда среди заключенных. Но этой агитации поддались и бежали из зоны лишь единицы из всего многотысячного лагеря. Ни один заключенный из нашего казахстанского этапа, конечно, не изменил своим товарищам. На бегущих глядели с презрением, вслед им кричали: «Изменники! Предатели!» За несколько дней из зоны таким способом вышло около двух-трех десятков заключенных. Все понимали, что радиоагитация лагерного начальства не даст заветной свободы, зато на длительном лагерном пути и в этапах все равно когда-нибудь придется встретиться со своими товарищами, и предавшему будет вечное презрение. Однако усиленное оцепление, направленные на лагерь автоматы — все это производило устрашающе сильное впечатление.

Не поддавались на эту провокационную агитацию и в соседних, 5-м и 6-м лагерях, и там держались стойко, и всеобщая забастовка продолжалась.

В последних числах июня из Москвы вновь прибыл полковник Кузнецов из МГБ и официально заявил, что все наши требования переданы лично министру ГБ Л. П. Берия и он их рассматривает в положительном смысле. Этот полковник бессовестно врал: к этому времени Берия уже был арестован и смещен со всех своих должностей. Мы же, заключенные, в то время

об этом еще не знали: не знали ни об аресте Берии, ни о перевороте на верхах в далекой Москве. Однако увещевания Кузнецова не прекратили забастовку.

Во время его выступления у ворот, где собралась большая толпа заключенных послушать эту «высокую птицу» из Москвы, кто-то из толпы бросил в полковника камень. То ли это была провокация, то ли сделано сгоряча от ненависти к полковнику, но автоматчики открыли огонь по толпе зэков. Толпа разбежалась по баракам, домам и по зоне. Несколько раненых остались у ворот — их тут же подобрала охрана и вынесла за пределы зоны.

Обстановка накалялась с каждым часом. Несколько раз микрофон предоставлялся предателям, бежавшим из зоны в объятия начальства, и они, по наущению лагерной администрации и спасая свою шкуру, через громкоговорители, развешанные на столбах вокруг всей зоны, призывали:

— Товарищи-братья! Прекращайте сопротивление, выходите за зону, не поддавайтесь провокации кучки неисправимых антисоветчиков и ярых врагов народа!

29 июня лагерное начальство передало по радио на весь лагерь официальное сообщение:

— С сегодняшнего дня лагерь расформируется. Часть заключенных будет отправлена из Норильска на материк. Списки отправляемых в первую очередь будут объявлены завтра.

Из окон нашего туберкулезного отделения, со второго этажа, высывались бледные лица заключенных-туберкулезников. Они смотрели на порванное в нескольких местах ограждение, на полк солдат с автоматами наизготовку, и в их глазах было какое-то безразличие ко всему этому. Обреченные на медленную смерть, они все сознавали, что чем бы ни кончилось восстание — их жизнь коротка. Каверны, инфильтраты с сопутствующей генерализованной тубер-

кулезной интоксикацией — считанное время до момента, когда тебя накроют простыней, привяжут к ноге деревянную бирку, вынесут за зону в неизвестном направлении и покроют землей в никому неизвестном месте. Безучастными были и японцы, бывшие военнопленные, — они сидели большой группой в одном из домов лагеря и не выходили никуда.

Утром 30 июня в зону впервые вошли надзиратели со списками и погнали вызываемых «с вещами» — значит, на этап. В этих длинных списках оказался и я. За мной пришли прямо в лагерную больницу. Из медицинских работников в списках оказался и доктор Борис Янда — мы оба собрали свои вещи и вышли к воротам, где уже собралась целая колонна наших товарищей (в основном, из казахстанского этапа). Надзирателям помогали собирать заключенных в колонну некоторые норильские, т. е. местные бригадиры, также бегавшие со списками по домам и баракам. Общая численность колонны составила около двух тысяч человек. Было объявлено, что всех нас отправляют «на материк».

Под усиленным конвоем мы вышли из лагеря, в небольшую рощицу на окраине города. Здесь бригадиры из старых заключенных-норильчан (за несколько дней до этого бежавшие из зоны) избивали некоторых из нас палками. Тут же проводился обыск личных вещей, и часть вещей доставалась тем же изменникам-бригадирам. Соппротивление и протесты приводили к новым палочным ударам. Жестоко избитые, заключенные плелись дальше. Все это происходило на глазах у надзирателей и лагерного начальства.

Наконец, после обыска и избияния, нас снова собрали в колонну и повели через окраину по направлению к горе Шмидта. Так я расстался со своими учителями — врачами Нусбаумом и Рэймасте, так я расстался с Центральной лагерной больницей Норильска.

К концу дня конвой привел нашу колонну на пустой лагпункт (говорили, что когда-то там был женский лагпункт). Мы заселили бараки, освоили кухню, открыли амбулаторию и продолжали жизнь на этом отдаленном (за горой) лагпункте, не работая — без выхода на работу. Здесь рядом со мной были и мои старые друзья по Экибастузу, по Караганде и Чурбай-Нуре и новые друзья, из норильчан. Здесь мы узнали трагическую новость о том, что в 6-м женском лагере при подавлении восстания был открыт огонь по безоружным и беззащитным женщинам и многие из них были убиты или ранены.

Мы прожили без дела, без работы на этом лагпункте около месяца в полной неизвестности об оставшихся и о нашем будущем. Мы были твердо уверены, что в Норильске нас уже не оставят, что нам, «бунтовщикам» и «забастовщикам», суждено выехать из Норильска и Заполярья навсегда.

В 1963 г. один из моих норильских товарищей с Западной Украины, по его словам, слышал радиопередачу на русском и украинском языках — не то «Голос Америки», не то «Свободу», — посвященную 10-й годовщине Норильского восстания. Он говорил мне потом, что в этой передаче были названы фамилии участников и организаторов восстания, в том числе и моя. Лично я такой передачи не слышал, но рассказ его произвел на меня впечатление.

Так это было или не так, говорили по радио о восстании с перечислением участников и руководителей или не говорили, но я был прямым участником и живым свидетелем этой эпопеи, запомнившейся мне на всю жизнь.

Участие мое в восстании было, действительно, довольно активным. Прежде всего, я строго выполнял указания главных руководителей. Ведя амбулаторный прием больных в Центральной больнице, я часто включал тех или иных заключенных в списки освобожден-

ных от работы — оставаясь в лагерной зоне, они вели соответствующую подготовку к восстанию. По спискам, полученным от руководителей, я также клал в стационар заключенных, заподозренных начальством в какой-то деятельности, которым угрожал карцер или БУР.

В начале восстания мы с доктором Яндой участвовали в обсуждении требований, которые должны были быть предъявлены «высокому начальству» из Москвы. Наконец, как и все заключенные казахстанского этапа, я поддерживал все действия руководителей восстания и агитировал других за выполнение их указаний.

Последние недели пребывания в Норильске, на лагпункте, откуда видна была только тундра, проходили в полном безделье. Мы отсыпались, отъедались (появился ларек, можно было купить какие-то продукты). Мы спорили с телогреек и бушлатов позорные горлаговские номера и ходили без номеров.

В бараках пелись песни, писались стихи. Мужество и стойкость заключенных, рабский труд которых увековечен выстроенными шахтами, железными дорогами, улицами, домами, — эта стойкость сочеталась с какой-то душевной теплотой, лиричностью. Было очень странно смотреть на мужественного и сильного человека, в свободную минуту писавшего лирические стихи, посвященные жене, или семье, или друзьям. Было странно видеть человека, готового грудью идти на автомат конвоира и со слезами на глазах пишущего письмо в далекую Западную Украину или Белоруссию.

В последних числах июля 1953 года была дана команда всем собраться на этап. Как всегда, вызывали по личным делам («конвертам»): «Фамилия, имя, отчество? Статья? Срок?» Погрузили в грузовики под усиленным конвоем. Мы заметили, что на наших личных делах теперь сделана дополнительная отметка — красная полоса, это уже что-то само по себе означало.

На Норильском вокзале перегрузили в товарные вагоны, задвинули засовы и замки. Сквозь крохотные окошки мы видели вдалеке серо-белый Норильск.

Состав тронулся, мы проезжали тот же путь, которым два года назад ехали сюда. За одним из поворотов увидели угольный городок Каеркан (вокруг него была масса лагерей, тоже относящихся к этому знаменитому «Горлагу»). Здесь тоже была забастовка, но как и чем она закончилась — нам не было известно.

БАДАШ Семен Юльевич — родился в 1921 г. в Москве в семье врачей. В 1929 г. попал с родителями в ссылку в Нарымский край. В 1939 г. окончил школу, прошел конкурс в Медицинский институт, но был призван в армию и служил до конца Второй Мировой войны. В 1945 г. демобилизовался, вновь поступил в медицинский институт, но в 1949 г., студентом 4-го курса, был арестован по обвинению в «шпионаже» (знакомство с иностранцами) и постановлением ОСО осужден на 10 лет особых лагерей. Участвовал в восстании лагеря в Экибастузе. После Норильского восстания переведен на Колыму. В 1956 г. освобожден, закончил институт и до 1981 г. работал в московских больницах и поликлиниках. В 1982 г. эмигрировал. Живет в Западной Германии.



# Философия

Герман Андреев

## ДВА ПРОРОКА: КАРЛ МАРКС И ФЕДОР ДОСТОЕВСКИЙ

Мишель Нострадамус был не первым и не последним, кто поддался соблазну профетизма. Но в памяти людей остался он, а не многие другие пророки хотя бы того же XVI века. Легко отнести это обстоятельство за счет будто бы поразительного исполнения его предсказаний, в то время как его конкуренты были не столь удачливы. Однако, принимая во внимание, что Нострадамус, как и другие его коллеги, избегал конкретных формулировок, ограничиваясь туманными намеками, приходишь к выводу, что своей славой один и забвением другие обязаны не точности своих предсказаний, а удачливости интерпретаторов.

К чести Нострадамуса, надо сказать, что он никогда не скрывал от непосвященных метода своей работы. Он писал: «Будущее раскрывается передо мной, когда я смотрю в огонь моего очага или стою на крыше».

Нелегко, учитывая доверчивое отношение людей ко всякого рода ясновидящим, отличать шарлатанов от пророков, действительно обладающих даром предвидения. История лишь XX века знает по меньшей мере три случая, когда массы пошли за лжепророками и оказались на краю бездны. Бросается в глаза одно общее обстоятельство, а именно участие оружия, непрекращавшееся насилие ради осуществления этих пророчеств. С одной стороны, и Маркс, и Гитлер, и Хомейни утверждаются как пророки чего-то, что

должно неизбежно наступить то ли по законам общественного развития, то ли по высшим предназначениям, то ли по законам природы; с другой — создаются партии, военные подразделения, тайная полиция, и все это для ускорения прихода будущего, столь гениально предсказанного духовным вождем.

Появление и торжество пророков сопровождается массовым психозом. Массы делаются материальной силой наиболее шарлатанских идеологий, оперирующих примитивными конструкциями, для усвоения которых не нужно ни ума, ни совести, но лишь экстаз и ненависть к существующему положению вещей.

В мысли, что «нет пророка в своем отечестве», скрывается большая правда, ибо массы предпочитают шарлатанов истинным пророкам.

## 1

В России начала XX века претендентов на место отечественного пророка было хоть отбавляй (см. роман М. Горького «Жизнь Клима Самгина»), но, в сущности, серьезный выбор предстояло сделать лишь между двумя: своим — Федором Достоевским, и чужим — Карлом Марксом.

Острый интерес к философии и пророчествам Достоевского не случайно возник в кругах русской интеллигенции в конце XIX века. Европа стояла накануне рождения нового человека, созидателя нового, странного для XIX века мира. Достоевский этого человека предчувствовал: «Да, уже теперь кто-то стучится в дверь, некто, новый человек, с новым словом. Он хочет открыть дверь и войти... Но кто Он — вот вопрос. Это совсем новый человек или такой, который похож на нас всех, старых людей?»

На другом конце Европы Карл Маркс заговорил о том же: по Европе бродит некий призрак, Маркс назы-

вает его «призраком коммунизма». И, как бы заранее отвечая Достоевскому, он пишет в «Коммунистическом манифесте», что новый человек будет совсем не похож «на старых людей», он разрушит все их святыни, перевернет все устоявшиеся представления. Пророчество Маркса привлекло европейского человека своим резким отличием от пророчеств средневековых мастеров ясновидческого цеха. Впервые в истории приход будущего был высчитан с бухгалтерской точностью. Никаких мистических предчувствий — точные экономические и социологические выкладки, неопровержимо доказывающие приход в скором будущем коммунизма и коммунистического человека, обладающего определенными, точно предсказанными свойствами.

Эти два человека связаны некоей прямо-таки мистической связью: на вызов, брошенный европейскому человеку капитализмом и таящимся в нем коммунизмом, Западная Европа ответила Карлом Марксом, Восточная Европа, Россия — Федором Достоевским. Человечество и теперь все более и более определенно раскалывается на два лагеря, люди одного из которых следуют за Марксом, а другого — за Достоевским, не всегда это сознавая.

Для людей мистического склада в этой расколотости мира отражена извечная борьба между Христом и Антихристом, связанными друг с другом так, что один без другого немислим.

Сопоставляя личности Достоевского и Маркса, не можешь отделаться от ощущения этой противопоставленности, резкой непохожести двух натур, и вместе с тем замечаешь нечто общее в их судьбах и в их характерах.

Маркс родился в 1818 году, Достоевский — в 1821-м; Достоевский умирает в 1881 году, Маркс — через два года после него. Оба — свидетели одной и той же эпохи европейской жизни. Оба — из относительно небогатых семей. Гнет материальных обстоя-

тельств был им одинаково знаком. Детство обоих протекало в городе, оба были оторваны в детстве и отрочестве от почвы, земли, природы. Вместе с тем, оба в детстве и затем в отрочестве были очень религиозны. Первая из дошедших до нас работ Маркса называлась «Единение верующих со Христом по Евангелию от Иоанна, гл. 15, ст. 1-14, его сущность, безусловная необходимость и оказанное им влияние». Достоевский обучался грамоте по сборнику историй из Ветхого и Нового заветов.

У обоих — дьяволы-соблазнитель. Таков для Маркса Моисей Гесс. Гесс, социалист, атеист, влюбился в Маркса и поставил своей целью вырвать его из лона Церкви, сделать социальным борцом, безбожником. Такой же любовью с первого взгляда проникся к Достоевскому Виссарион Белинский. Прочитав первую его повесть, он называет Достоевского «гением». В развитии Белинского это было время его перехода к якобински понятому социализму: «Тысячелетнее царство Божье утвердится на земле не сладенькими и восторженными фразами идеальной и прекраснородушной Жиронды, а террористами — обоюдоострым мечом слова и дела Робеспьера и Сен-Жюста». И, как Гессу нужно было привлечь своего кумира Карла Маркса к делу служения дьяволу, так и Белинский своими речами начинает привлекать Достоевского в ряды богоборцев. Он кричит Достоевскому: «Поверьте же, что ваш Христос, если бы он родился в наше время, был бы незаметным и обыкновенным человеком; так и стусебался бы при нынешней науке и при нынешних двигателях человечества!» Оба «соблазнения» происходят примерно в одно время, в первой половине 40-х годов.

И Маркс и Достоевский обращаются к социализму. Уже в 1848 г. Маркс пишет вместе с Энгельсом «Коммунистический манифест», зовущий к уничтожению существующих общественных отношений и к

созданию коммунистического общества на атеистической основе. Достоевский в 1849 г. приговорен к смертной казни, замененной каторжными работами, за «участие в преступных замыслах, за распространение частного письма (Белинского к Гоголю. — Г. А.), наполненного дерзкими выражениями против православной Церкви и верховной власти».

Маркс как встал на путь социализма и богоборчества, так с него и не сходил. Всю свою жизнь он отдает созданию, развитию и распространению новой веры, которая стала называться научным социализмом. Короткий в жизни Маркса период раздвоенности закончился на исходе 40-х годов, и все дальнейшее, что известно о Марксе, свидетельствует о целостной натуре, не знающей сомнений, убежденной в истине, которая обнаруживается с помощью экономических, социологических и философских исследований. С конца 40-х годов Маркс уходит от реальной жизни в ученый кабинет; сфера чистой мысли, спекулятивной логики, а также партийной борьбы (подчас более достойной называться интриганством) — единственная, где он себя проявляет. Голова его заполнена цифрами, формулами, социологическими дефинициями, язвительными фразами, которые должны раздавить оппонента. Порвав с религией, он сразу же теряет интерес к отдельному человеку. Классы, партии, движение масс — только это приобретает для него значение, а человек нужен лишь постольку, поскольку служит прогрессивному развитию человечества. Так что и смерть собственной матери вызывает у него чуть ли не удовлетворение: «В данных обстоятельствах я нужен больше, чем старуха», — пишет он в частном письме. Маркс являет собой идеальный пример личности, интересующейся человечеством и не имеющей интереса к отдельному человеку, будь то мать или друзья. Друзья по партии не вызывают у него нежных чувств: стоит им сделать какую-то, с его точки зрения, теоретичес-

кую ошибку, как он награждает их самыми нелестными прозвищами: Фрейлиграт — «свинья», Лассаль — «еврейский негр», Либкнехт — «вол», Бакунин — «теоретический ноль». Маркс убежден, что всякая частность, все индивидуальное лишь затемняет картину мира, а потому он отгораживается от встреч с людьми, с жизнью, уходит в книгу. Почти во всех воспоминаниях о нем выражается восхищение его громадной начитанностью, знанием языков, европейских литератур. И трудно найти свидетельства его заботы об отдельном человеке, его встреч с людьми не его узкого круга. Все его суждения — результат изучения письменных источников, преломляемых через его идеологию. Он уверенно судит о целых народах, никогда не побывав в странах, где эти народы живут, не зная простых людей из этого народа. Он говорит, что «немцев, китайцев и евреев можно сравнить с мелкими уличными торговцами», русских он считает «варварской расой», а всех славян — «этническими отбросами». «Идеолог пролетариата», отдельных пролетариев он иначе, как «болванами», не величает. Его высказывания о разных народах, о пролетариях — не столько выражение грубости его натуры, сколько презрения ко всему прошлому человечества. Люди пока сделали мало что путного, на всех народах, на всех классах лежит вина за идиотскую жизнь, за создание систем, место которых на помойке истории. В себе Маркс видел гения прогнозирования, воплотившего чистый разум, не замутненный никакими предрассудками и оперирующий лишь точными категориями. Без всяких угрызений совести отделяет он самого себя как личность от своих идеалов: ненавидя капитализм, обличая всяческие его пороки, он сам — типичный буржуа по образу своей жизни. Это не лицемерие: просто он, Карл Маркс, живущий за чужой счет, сожительствующий со своей служанкой при живой жене (и чуть ли не на ее глазах), есть некая случайность, как случайна

вообще всякая индивидуальность. Существенными для Маркса являются выкладки о производительных силах и производственных отношениях, о морали как надстройке над экономическим базисом, о борьбе классов, которая приведет к созданию такого общества, в котором справедливые общественные отношения будут определяться, в частности, новой, высшей моралью.

О том же самом, об отношении общего и частного, закона и случая, думает и Федор Достоевский. Но выводы его противоположны: «Общие принципы только в головах, а в жизни одни только частные случаи». Свои прогнозы Достоевский строит не на знакомстве с научными книгами, а на встречах с огромным количеством отдельных людей, на скрупулезном анализе душевного кванта. Карл Маркс знает лишь ученых, революционеров, газетных публицистов, проживающих на том маленьком кусочке планеты, который называется Западной Европой. Достоевский же, помимо этих типов, знает русских мужиков и схимников из глухих русских пустыней, солдат в Средней Азии, уголовных преступников в сибирских каторжных тюрьмах, уличных проституток, рабочих маленьких предприятий в центре России, русских степных помещиков, министров, бедных студентов, разорившихся чиновников, иерархов Русской Православной Церкви, следователей сыскной полиции, мелких ремесленников, петербургских торгашей. Он изъездил всю Европу, всю Россию от Петербурга до Семипалатинска. Он жил на каторге, в ссылке, в столице, на европейских курортах и в русских провинциальных городишках.

Люди, знавшие Достоевского, отмечают черты страдания на его лице. Он считал себя причастным к порокам всего человечества. Н. Страхов вспоминает, как Достоевский после случившихся с ним припадков эпилепсии говорил, что ощущает страшную тоску: «он

чувствовал себя каким-то преступником, ...ему казалось, что над ним тяготеет неведомая вина, великое злодейство».

Оба они, и Маркс и Достоевский, питают какое-то подозрительное отношение к капиталу, как бы завожены его могуществом. Вот Родион Раскольников лежит в своей каморке, а служанка Настасья упрекает его в безделье. Но за копейки он работать не хочет: «Что за копейки сделаешь?» — «А тебе сразу бы весь капитал?» — Он странно посмотрел на нее: «Да, весь капитал, — твердо отвечал он, помолчав».

«Преступление и наказание», откуда взяты эти строки, выходит в 1866 году, первый том «Капитала» Маркса — в 1867 году.

## 2

Развитие капитализма, влияние капитала на социальные отношения и духовную жизнь отдельного человека — в центре внимания основных политико-экономических работ Маркса и художественных творений Достоевского.

Деньги в романах Достоевского — некий мистический объект, который отнимает у людей волю, заволаживает их, изменяет самую их сущность. Они всегда связаны с каким-нибудь преступлением. Они мера человеческой подлости, человеческой готовности отдаться дьяволу. В романах Достоевского они почти всегда рядом с кровью: измазана кровью пачка, которую держит у себя на груди Митя Карамазов, пятна крови ищет Раскольников на кошельке, похищенном у Алены Ивановны. Деньги обладают дьявольской выживаемостью. Вот гордая Настасья Филипповна бросает сто тысяч рублей в горящий камин: «длинный язычок огня лизнул... пачку, огонь прицепился и побежал вверх по бумаге по углам, и вдруг вся пачка вспыхнула в ками-



не, и яркое пламя рванулось вверх. Все ахнули...» Но деньги не горят: «Деньги были целы. Все вздохнули свободнее».

Поразительные, почти текстуальные совпадения встречаются в писаниях Маркса и в произведениях Достоевского. Так, в «Экономическо-философских рукописях» Маркса читаем: «Свойства денег суть мои — их владельца — свойства и сущностные силы. Поэтому то, что я есмь и что в состоянии сделать, определяется отнюдь не моей индивидуальностью. Я уродлив, но я могу купить себе красивейшую женщину. Значит, я не уродлив, ибо действие уродства, его отпускающая сила сводится на нет деньгами... Я скудоумен, но деньги — это реальный ум всех вещей, — как же может быть скудоумен их владелец?» Точно такой же ход рассуждений у героя романа Достоевского «Подрасток»: «...я, например, знаю, что моя наружность мне вредит, потому что лицо мое ординарно. Но будь я богат, как Ротшильд, — кто будет справляться с лицом моим и не тысяча ли женщин, только свистни, налетят ко мне со своими красотами? Я даже уверен, что они сами, совершенно искренно, станут считать меня под конец красавцем. Я, может быть, и умен. Но будь я семи пядей во лбу — и я погиб. Между тем, будь я Ротшильдом, разве этот умник в восемь пядей будет что-нибудь подле меня значить? Да ему говорить не дадут подле меня!»

В общем, при всех усилиях не всегда легко найти существенное различие между Марксовыми писаниями о капиталистическом зле и изображением этого зла в книгах Достоевского.

Представление о кризисе, в который европейского человека завел капитализм, стало своего рода трамплином, отталкиваясь от которого, Маркс и Достоевский устремились к своим пророчествам.

По Марксу, источник всех пороков капитализма — эксплуатация, которую он определяет как присвое-

ние прибавочной стоимости капиталистами. Прибавочная стоимость, возможная лишь при наличии частной собственности, создает богатство одних и бедность других, разделяет общество на враждебные классы паразитирующих буржуа и трудящихся пролетариев. Борьба классов есть выражение противоречия между общественным характером производства и частной формой присвоения. Всё зло в капитале, это он источает все преступления на земле.

Вопрос об источнике зла — главный и для Достоевского. Возможно, со всей остротой этот вопрос встал перед ним на каторге. В конце «Записок из Мертвого дома», заключая рассказ об изуродованных русской жизнью простых людях, Достоевский спрашивает: «А кто виноват? То-то, кто виноват?»

Ответ Достоевского не столь однозначен, как ответ Маркса. Более того, Достоевский вообще не мог бы сказать, что знает истину во всем ее объеме, да еще и единственно научную и всепобеждающую. Герои Достоевского спорят, это нескончаемый спор pro и contra. И нет у Достоевского последнего ответа. Потому-то он и не может стать властителем дум широких масс, как Карл Маркс. Массам нужен ясный ответ на вопрос, кто виноват и что делать. Им нужен пророк, в абсолютном знании которого они убеждены, — самостоятельное решение для них исключено. И от такого решения Маркс их освобождает. Он предлагает выверенную конструкцию, которую человек массы усваивает как изначально, априорно совершенную. Ответы же Достоевского — это одновременно вопросы, адресованные свободной, не массовой личности. Достоевский и сам — в поисках бесконечности, и читателя зовет присоединиться к нему в этих поисках: «Я упражняюсь в мышлении, а следовательно, у меня всякая первоначальная причина тащит за собой другую, еще первоначальнее, и так далее в бесконечность». Иван Карамазов отказывается признать эвклидову

геометрию за конечное достижение математики. Маркс в социологии был тем, что Эвклид в геометрии. Достоевский же подозревал, что параллельные линии в бесконечности пересекутся, что не будет такого времени, когда «все поступки человеческие, само собою, будут расчислены... по законам, математически, вроде таблицы логарифмов до 108000, и занесены в календарь», когда «настанут новые экономические отношения, совсем уже готовые и тоже вычисленные с математической точностью, так что в один миг исчезнут всевозможные вопросы собственно потому, что на них получатся всевозможные ответы».

Марксова эвклидова социология помогает увидеть человека как элемент социальной структуры; Достоевский увидел в человеке существо, чрезвычайно запутанное, в котором всего «понамешано»: и познаваемое, социально-экономическое, и загадочное, психологическое, мистическое, которое невозможно, как говорил Достоевский, объяснить «никакой логистикой».

### 3

Для Достоевского как художника есть прежде всего отдельный человек, отдельная душа, отдельная судьба, не имеющие для ученого-социолога серьезного значения как факторы случайные.

Достоевский был знаком с позитивистскими теориями, в которых человеку отведено место частицы в общей социо-биологической конструкции. В «Записках из подполья» он полемизирует с Чернышевским и стоящим за ним Фейербахом, однако критика его вполне может быть применима и к марксистскому варианту позитивизма: «Вы говорите.., что ни воли, ни каприза на самом деле у него (у человека) и нет, да и никогда не бывало, а что он сам не более как нечто вроде фортепианной клавиши или органного штифтика; и

что сверх того, на свете есть еще и законы природы; так что все, что он ни делает, делается вовсе не по его хотению, а само собою, по законам природы». Достоевский сомневается в том, что ученые смогут открыть такие законы, но если все же они будут открыты, «то уж за поступки свои человек отвечать не будет и жить ему будет чрезвычайно легко». В позитивистском оправдании человека Достоевский видит стимулирование преступности. Он пишет в «Дневнике писателя»: «Делая человека зависящим от каждой ошибки в устройстве общества, учение о среде доводит человека до совершеннейшей безличности, до совершенного освобождения от всякого нравственного долга, от всякой самостоятельности, доводит до мерзейшего рабства, какое только можно вообразить».

Главный вывод Достоевского: всякое абстрагирование от конкретной личности не имеет никакого смысла или же имеет смысл весьма не точный, всякое обобщение о человеке таит в себе риск отрыва от реальности. Поскольку такое абстрагирование провоцируется математическим подходом к человеку, Достоевский отказывается от математики и опирающейся на нее социологии и в разговоре о человеке переходит в иные сферы — в сферу психологии, причем не как точной науки, пользующейся опять-таки математико-биологическими средствами анализа, а психологии, имеющей дело со стихией человеческой души. Эта стихия не поддается вообще никакому рациональному исследованию. В письме к брату Достоевский писал: «Природу, душу, любовь и Бога познаешь сердцем, а не разумом». Метод Достоевского кажется несколько более рискованным, чем метод Маркса. Интуиция представляется людям плохим советчиком и уж, во всяком случае, не аргументом в споре. Дважды два четыре убедительнее, чем интуитивно ощущаемое сомнение в этой истине. Маркс исходит из того, что действия человека предопределены его положением в производственной

структуре. Это положение диктует человеку его представления о выгоде, о его индивидуальных целях вообще и сегодня в частности. Таким образом, выгода, расчет возникают в сфере классового сознания, а не в туманной области души, не познаваемой опытным путем.

Достоевский подвергает сомнению этот тезис. Он задает вопрос об исключениях, которых набирается что-то очень уж много: «Что ж делать с миллионами фактов, свидетельствующих о том, что люди зазнаемо, то есть вполне понимая свои выгоды, оставляли их на второй план и бросались на другую дорогу, на риск, на авось, никем и ничем не принуждаемые к тому, а как будто именно только не желая указанной дороги, и упрямо, своевольно пробивали другую, трудную, нелепую...»

Никак не отрицая того, что человек руководствуется в своих действиях выгодой, Достоевский лишь перемещал внимание с материальной и логической основы представлений о выгоде в сферу идеальную, духовную, иррациональную. Логическому обоснованию поступков человека, будто бы руководствующего классовым сознанием и классовым (грубо говоря, шкурным) представлением о выгоде, Достоевский противопоставляет свое, смысл которого (несколько упрощая) сводится к следующему. Разум, способный к логическому формулированию понятия выгоды, все время корректируется инстинктом, смутными, никакому разуму не подвластными реакциями (с точки зрения общечеловеческой как позитивными, так и негативными). Ожидаемые от поступка материальные выгоды могут быть полностью и даже незаметно для самого действующего лица подменены выгодами моральными, иногда или даже чаще всего зачеркивающими выгоды заранее предполагаемые, рассчитанные. В этой путанице расчетов, ощущений, сиюминутных настроений, возможностей, реактивных действий, как

две координаты, проявляются начала добра и зла, прочерченные не релятивным классовым сознанием, а абсолютным диктатом Бога и дьявола. Герои романов Достоевского — не схематические представители класса и эпохи, а индивиды, представляющие сгущение элементов, как классово и исторически ограниченных, так и духовно бесконечных. По четко очерченным признакам, Раскольников — бедный петербургский студент, Свидригайлов — помещик, князь Мышкин — представитель старинного дворянского рода. Но их поступки, их состояния, их реакции диктуются массой как определяемых, так и неопределяемых ощущений, желаний, представлений. Преступление Раскольникова вызвано и холодным расчетом, идеологическими убеждениями Родиона Романовича, и стихийными движениями его души, и случайными обстоятельствами, фатально ведущими его к этому преступлению.

По Марксу, высокое и низкое, справедливое и несправедливое, истинное и ложное распределяется между классами, по Достоевскому — в душе каждого человека. Совсем не глупый прокурор в «Братьях Карамазовых» раскрывает суть человеческой души, анализируя карамазовщину: «Мы природы широкие, карамазовские, способные вмещать всевозможные противоположности и разом созерцать обе бездны, бездну над нами, бездну высших идеалов, и бездну под нами, бездну самого низшего и зловредного падения». Идеал Содомы и идеал Мадонны, по Достоевскому, существуют в душе каждого человека. Человек мечется между ними, ему подчас кажется, что в нем два существа, как это думал Голядкин в «Двойнике». Ни о каком гармоническом мире вокруг человека не может быть и речи, поскольку дисгармоничен сам человек. Потому-то Достоевский и не верил в возможность построить на земле «хрустальный дворец».

Для Маркса, как и для Достоевского, была важна проблема Бога. Если нет Бога, говорит Маркс, значит,

действуют научные, материалистические законы, человек зависит от этих законов и, осознав их («свобода есть осознанная необходимость»), становится свободным. Если нет Бога, говорит Достоевский, тогда все позволено. Маркс довольно легко отделался от Бога, как и от всего, что нельзя объяснить рационально. Он, так сказать, не нуждался в гипотезе Бога.

В этой гипотезе нуждался Достоевский. Для него гипотеза бытия Божья и гипотеза безбожия — обе значительны. Достоевского подчас называют обскурантом. В действительности, Маркс — гораздо больший фанатик атеизма, чем Достоевский — фанатик религиозный. Он как-то записал в своей записной книжке: «Не как дурак же (фанатик) я верую в Бога! И эти хотели меня учить и смеялись над моим неразвитием! Да их глупой природе и не снилось такой силы отрицания, которое пережил я. Им ли меня учить!» А в одном письме он признавался: «Я — дитя века, дитя неверия и сомнения и до сих пор даже (я знаю это), до гробовой крышки. Каких страшных мучений стоило и стоит мне теперь эта жажда верить, которая тем сильнее в душе моей, чем более во мне доводов противных. И однако же Бог посылает мне иногда минуты, в которые я совершенно спокоен...» Для Достоевского существует одна-единственная альтернатива: или есть Бог и, значит, бессмертие, или Бога нет — и тогда человек — хозяин жизни, и нет у него никаких нравственных преград. Человечество, которое собирается жить не по нормам христианской этики, а по своим собственным (мысль «Ракитки» в «Братьях Карамазовых»), придет в кровавый тупик. С. Франк, выросший, как и большинство русских философов начала века, на наследии Достоевского, спрашивает: «В чем гарантии, что человеческие представления о добре и совершенстве истинны и что определенные этими представлениями нравственные усилия восторжествуют над всеми силами зла, хаоса и слепых страстей?» Или чело-

век, со всеми его страстями, заблуждениями, пороками, душевной путаницей, или Христос — такова альтернатива, на которой настаивает Достоевский.

Все сомневающиеся герои Достоевского ставят вопрос о Боге, и не из чистой любознательности, но чтобы определить свой путь в жизни. «А может быть, Бога-то и нет?» — спрашивает Раскольников Сою, Иван — чёрта, Федор Павлович — монахов, Кириллов — себя, ибо для них ясно, что если нет Бога, то нет и добродетели (Иван Карамазов), то все позволено (Раскольников); если нет Бога, то я обязан заявить своеволие (Кириллов), я могу все взять от жизни, «не заботясь отчетом» (Федор Карамазов). Эту атеистическую мысль доводит до логического предела герой «Записок из подполья»: «Свету ли провалиться, или вот мне чаю не пить? Я скажу, что свету провалиться, а чтобы мне всегда чай пить». Пока люди не признают, что существует правда, находящаяся вне их сознания, вне ограниченных их опытом этических представлений, они обречены на взаимное отчуждение, взаимную ненависть, на войны. В этом смысл сна Раскольникова о трихинах, заразивших человечество сумасшествием, симптом которого — вера в абсолютное человеческое знание. Никогда раньше «люди не считали себя такими умными и непоколебимыми в истине, как считали себя зараженные. Никогда не считали непоколебимее своих приговоров, своих научных выводов, своих нравственных убеждений и верований». Достоевский мог верить, а мог сомневаться в бытии Божьем, но одно было ему ясно: откажись люди от Бога — придет всеобщее сумасшествие, как пришло оно во сне Раскольникова к людям, зараженным трихинами самоуверенности: «Все были в тревоге и не понимали друг друга, всякий думал, что в нем одном и заключается истина, и мучился, глядя на других, бил себя в грудь, плакал и ломал себе руки. Не знали, кого



и как судить, не могли согласиться, что считать злом, что добром».

Маркс был уверен, что как раз он все это знает. Он утверждал некое поступательное развитие человечества от родового к коммунистическому обществу. Если бы Марксу было присуще чувство юмора и он жил бы в наше время, он должен был бы согласиться со сжатой формулой Абрама Терца, описывающей развитие человечества по Марксу: обезьяна слезла с дерева и начала победное движение к коммунизму. Человек должен лишь распознать свое место в сегодняшней колонне движущихся к новой, ближайшей цели, представляющей лишь этап к цели конечной — к коммунизму.

#### 4

В отличие от Маркса, Достоевский никаких конкретных рекомендаций, каким образом изменить несправедливые общественные отношения, каким образом накормить бедных и усмирить богатых, защитить угнетенных и наказать насильников и угнетателей, не давал. Однако, не зная Марксова учения, но, будучи знакомым с родственными ему взглядами позитивистов; в частности, социалистов, Достоевский в своих трудах убежденно отвергает те предложения, которые выдвигались ими в целях установления на земле всеобщего блага.

Сам Достоевский, пусть мучаясь, колеблясь, но Бога принимал и в Бога верил. У него нет (как нет ни у кого) материальных способов доказательства бытия Божия, зато есть аргументация духовного и исторического опыта человечества. Когда Зосима говорит: «Мыслят устроиться справедливо, но, отвергнув Христа, кончат тем, что зальют мир кровью, ибо кровь зовет кровь»; — то это не спекулятивные рассуждения

церковного догматика, а вывод из практического опыта истории и точное предсказание на будущее. Если человек будет сам решать, кому жить, а кому нет, никакого братства на земле не будет. «Были бы братья, будет и братство», — говорит Зосима. Не могло быть никаких логических контрдоводов против убийства старухи-процентщицы — контрдовод, так сказать, материализовался в лице Лизаветы. Взяв на себя право убивать из самых благих побуждений, Раскольников не может остановиться — он убивает женщину, принадлежащую к миру угнетенных, униженных и обиженных, во имя которых он поднял топор («кровь зовет кровь»). Алеша Карамазов задает брату вопрос: «Брат, изволь еще спросить: неужели имеет право всякий человек решать, смотря на остальных людей, кто из них достоин жить и кто более недостоин?» Маркс ответил на этот вопрос положительно: поскольку в мире идет борьба между прогрессивными и реакционными силами, представители прогресса не только имеют право, но обязаны смести с исторической дороги тех, кто мешает движению человечества к счастью и справедливости. Порфирий спрашивает у Раскольникова, а каким же образом можно отличить тех людей, которые право имеют переступить через человеческую жизнь, от обыкновенных людей, такого права не имеющих. Для Маркса такого вопроса не было: человек — социально-биологическое существо, каждый человек принадлежит или к тем, кого надо устранять, или к тем, кто должен устранять. Эти последние действуют согласно своему плану разумного преобразования мира, и поэтому им все позволено.

Достоевский не верил в реальность любви к человечеству. Как это ни покажется странным, но верующий, идеалист Достоевский представляется в этом смысле более реалистом, чем материалист и атеист Карл Маркс. Вера Маркса в то, что любви людей друг к другу мешает некое экономическое явление, а именно

частная собственность и что если частная собственность уничтожится, то люди возлюбят друг друга, прекратятся войны, исчезнет конкуренция между людьми, их борьба за существование, — более фантастична, чем вера Достоевского в бессмертие. Достоевский писал в «Дневнике писателя»: «Я даже утверждаю и осмеливаюсь высказать, что любовь к человечеству вообще — есть как идея, одна из самых непостижимых идей для человеческого ума. Именно как идея. Ее может оправдать лишь одно чувство. Но чувство-то возможно именно лишь при совместном убеждении в бессмертии души человеческой».

Опираясь на столь различные постулаты, эти два мыслителя отдают много духовных и интеллектуальных сил делу прогнозирования. Кто же из них стал истинным пророком, чьи представления о мире, о человеке дали более надежный материал для предсказания о будущем, чьи предсказания сбылись, а чьи оказались ошибочными?

## 5

Здесь пора вернуться к Нострадамусу и его коллегам из провидческого цеха. Толкователи его предсказаний сконструировали из его туманных намеков конкретные эпизоды исторической жизни, будто бы подтверждающие его фантастическую прозорливость.

Столь же повезло с расшифровщиками Карлу Марксу. Даже, может быть, больше. Чуть ли не половина населения земного шара верит теперь, что все, им написанное, совершилось или совершается. Страны, где толкователям марксизма принадлежит государственная власть, объявлены странами «реального социализма», в которых торжествуют марксистские идеи. Попробуй сказать поклонникам Нострадамуса, что, в общем-то, из множества его предсказаний боль-

шинство не исполнилось, а те, которые вроде бы исполнились, весьма незначительны на фоне общего провала автора «Центурий», они обвинят вас в склонности к предрассудкам, в неумении распознать мудрость великого провидца и даже в невежестве.

В странах реального социализма упреками не ограничиваются, там просто сажают в соответствующие учреждения тех, кто посмеет усомниться в том, что пророчества великого провидца осуществились.

Как оказалось, законы экономические почти полностью снимаются законами психологическими и религиозными. Поэтому Марксово учение проявилось как утопическое, а учение Достоевского — как научное, если научным признать то, что подтверждено практикой, «критерием истины».

Коммунистическое общество, создаваемое на территории бывшей России, соответствует тому, как его предсказал Достоевский, хотя — подчеркиваем — создатели этого общества в основных чертах выполнили все предписания Маркса.

1. Пролетариат в России потерял не цепи, а все то, что он завоевал, начиная с революции 1905 года: свободные профсоюзы, право посылать своих представителей в органы самоуправления, прогрессирующее благосостояние. Потеряв все это, пролетариат России приобрел не весь мир, а цепи, о которых с начала XX века начал забывать.

2. Коммунистическая партия, как оказалось, имеет основной интерес, совершенно «отдельный от интересов рабочего класса», а именно — сохранение в своих руках власти и всего того богатства, которое создается руками трудящихся. Недавние события в Польше лишь вновь подтвердили этот факт.

3. Отмена частной собственности привела к сосредоточению всей собственности не в руках народа, а в руках олигархической группы.

4. Классы не уничтожились — наоборот, «новый класс» приобрел такую власть над производством и распределением, о которой никакой капиталист и мечтать не может.

5. Так называемая пролетарская революция в России была проведена не только не в интересах большинства, но в интересах самого незначительного меньшинства. Огромные слои русского населения просто истреблены: предприниматели, дворянство, состоятельное крестьянство. До небывалого в России уровня опустилось благосостояние людей таких профессий, как городские врачи и учителя, инженеры, научные работники, относящиеся в капиталистическом мире к числу наиболее высоко оплачиваемых.

6. Войны не только не прекратились, но ведутся как раз между коммунистическими странами: Вьетнамом и Китаем, Вьетнамом и Кампучией. В конце 40-х годов на грани войны находились отношения между коммунистическими Югославией и Советским Союзом. Коммунистические танки раздавили коммунистическую власть в Чехословакии. В коммунистическом Советском Союзе находится самый большой в мире арсенал оружия.

7. Государственная власть не только не отменяется, но усиливается до неслыханных для капиталистических стран размеров. Ни в одной стране капиталистической Европы нет такого аппарата полиции, такой мощной бюрократии, такой огромной армии, такого количества мест заключения, как в коммунистическом Советском Союзе.

8. Аппарат этот совсем не преследует цели создания условий для свободного развития каждого: тюрьмы, цензура, ограничения свободы печати и собраний — все это есть и в капиталистических странах, коммунистические страны не только не устранили всех этих зол, но усилили их в грандиозных масштабах.

Все это и предсказывал Достоевский.

Было бы ошибочным утверждать, что пророчества Маркса не могут быть проверены опытом России, что тоталитарная коммунистическая система, господствующая в России, — выражение ментальности русского народа или продолжение его истории, как утверждает, например, немецкий историк Лудольф Руль. Сейчас марксистские эксперименты проводятся в Китае, на Кубе, в Польше, в Эфиопии, в Анголе, в Никарагуа. Результаты в общих чертах одни и те же. И суть не в том, что коммунисты — ужасные люди, что они заранее планировали эти кошмары. Трагедия в том, что утопическая, ничего общего с реальностью не имеющая теория Маркса признана в XX веке научной, а ее создатель — великим пророком.

Достоевский, как и Маркс, видел призрак коммунизма: «Над всей Европой уже носится что-то роковое, страшное», он предсказывал, что пролетарии «победят несомненно и если богатые не уступят вовремя, то выйдут страшные дела». Более того, он предвидел то, в чем Маркс просчитался, а именно, что пролетарская революция произойдет в России: «Европейская революция начнется в России, ибо у нас для нее нет надежного отпора ни в управлении, ни в обществе». Но вот что произойдет «потом», каковы будут результаты этой революции, Достоевский предсказал абсолютно точно: «Очень может быть, что... цели всех предводителей современной прогрессивной мысли — человеколюбивы и величественны. Но зато мне вот что кажется несомненным: дай всем этим современным высшим учителям полную возможность разрушить старое общество и построить заново, то выйдет такой мрак, такой хаос, нечто до того грубое, слепое и бесчеловечное, что все здание рухнет под проклятиями человечества, прежде чем будет завершено. Раз отвергнув Христа, ум человеческий может дойти до удивительных результатов. Это аксиома».

Как и Маркс, Достоевский предвидел победу коммунизма над капитализмом (то есть то, что будет «сначала»), но, в отличие от Маркса, он знал, что «потом» будет не Царство Божье, а царство дьявола. В черновике к «Подростку» мы читаем: «Коммунизм восторжествует (правы ли, виноваты ли коммунисты), но их торжество будет самой крайнею точкою удаления от царства небесного». Само предсказание победы коммунизма вытекает у Достоевского совсем из иных предпосылок, чем у Маркса. Маркс узрел призрак коммунизма и попытался дать ему так называемое научное обоснование. Но призраки мало связаны с естествознанием. Для исследования их природы мало пригодны математика и экономика. Для объяснения их нужны религия и знание человеческой души. Маркс был специалистом в первом ряду упомянутых дисциплин, Достоевский — во втором.

\* \* \*

Духовный опыт Достоевского и материалистическое сознание Маркса выражают две тенденции европейской мысли, определившиеся на стыке двух эпох — позднего средневековья и раннего Возрождения. С одной стороны, это средневековые аскетика и мистицизм, с другой — ренессансный материализм и гедонизм, к концу XVIII века вылившийся в воинствующий рационализм и атеизм. Из этих двух основ возникло два типа человека нового времени: один, стремящийся к развитию исторического прогресса, понимаемого как обогащение возможностей гедонистического блага, другой, устремленный к прогрессу духовного сознания. Г. В. Флоровский писал: «Человек должен устремляться не к имманентной цели, находящейся в горизонтальном направлении истории, а к цели, вертикально направленной, то есть к цели трансцендентной». Марксо-

ва неудача с пророчествами — следствие пренебрежения этими трансцендентальными целями; поразительная точность пророчеств Достоевского — результат устремленности русского писателя к целям вертикальным. Маркс выстроил историю таким образом, как будто каждый этап ее является лишь подготовкой к следующему, более прогрессивному, и не имеет смысла сам по себе. Достоевский же, как и Х. Шубарт, понимал, что «в глазах Творца все эпохи имеют равное значение». Вследствие этого Достоевский настаивал на вечности, однозначности моральных норм христианства для всех эпох и всех поколений человечества. Маркс писал, что коммунизм отменит «вечные истины». Он оказался прав, однако отмена этих истин в коммунистических странах привела не к возникновению истин, более ценных для человечества (как хотел Маркс), но к духовному краху релятивистски мыслящего индивида. Коммунизм стал воплощенной смердяковщиной. Смердяков устранил на пути от идеи к поступку важнейшее звено — совесть, начало, связывающее человека с трансцендентным. Достоевский предсказал, что идея насильственного преобразования мира, даже если бы она имела некое позитивное оправдание как таковая, не может привести человека к достижению благих целей, если между деяниями, ведущими к этой цели, и самой целью в качестве контролирующего пропускного пункта не будет воздвигнута совесть. «Человек массы, — писал Ортега-и-Гассет, — просто обходится безо всякой морали, ибо всякая мораль, в основе своей, есть чувство своей подчиненности чему-то, познание служения и долга». Естественно, что мечта Маркса о возникновении коллективистского общества всеобщего братства привела в ее практическом осуществлении к обществу, где атомизированные интересы отдельных людей прикрыты лишь пропагандистскими лозунгами о морально-политическом единстве, к обществу, в котором, по остроумному



афоризму А. Зиновьева, «человек человеку — товарищ волк». Достоевский предсказывал, что никакого справедливого общества не может возникнуть в результате бессовестной жестокости, неуважения к правам личности: «Жестокость родит усиленную, слишком трусливую заботу о самообеспечении. Эта трусливая забота о самообеспечении всегда... под конец обращается в какой-то панический страх за себя, сообщается всем слоям населения, родит страшную жажду накопления и приобретения денег. Теряется вера в солидарность людей, в братство их, в помощь общества, провозглашается тезис: 'всякий за себя и для себя'». Люди, пережившие ленинский и сталинский террор в СССР, увидят в этой картине, нарисованной Достоевским, гораздо больше сходства с реальным коммунизмом, чем в туманных пророчествах Карла Маркса.

В наше время марксизм превращается в секту, не желающую ничего знать о реальности и заклинающую людей псевдонаучными фразами из работ своего лжепророка.

Роковую роль сыграло то пренебрежение к русской мысли, которое выразилось, в частности, у Томаса Карлейля, писавшего, что «бедная немая Россия никогда не производит мирового голоса». Если бы Европа прислушалась к голосу русского, а не своего пророка, призрак коммунизма, возможно, растворился бы в атмосфере, как призраки шотландских замков, бродящие теперь лишь в фильмах ужасов.

С 1976 года ежемесячный журнал

## **«ПОСЕВ»**

Выходит также как  
ЕЖЕКВАРТАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ

Это издание «П о с е в а» предназначено специально для переправки

**в Р О С С И Ю**

и для распространения среди граждан СССР за рубежом.

Ежеквартальный «П о с е в» содержит избранные статьи из трех текущих номеров ежемесячника, особо важные для читателей в России.

Ежеквартальный «П о с е в» внешне похож на ежемесячный. Фотография на обложке. Вдвое меньший формат (15 × 21 см). Увеличенное число страниц (от 96 до 128). Тонкая бумага. Убористый шрифт.

Имеющие возможность переправлять журнал в страну или передавать советским гражданам могут получить его бесплатно по адресу издательства:

**А. Kandaurow c/o POSSEV-VERLAG  
Flurscheideweg 15, D - 6230 Frankfurt/Main - 80  
West Germany**

Издатели будут благодарны и за материальную помощь, которая позволит увеличить тираж журнала.

# Спорт и политика

Исер Куперман

## ГОДЫ БОРЬБЫ

Соединенные Штаты Америки многие считают лучшей страной мира.

Уже 4 года, как я живу здесь.

И все это время меня, как магнитом, тянет в Нидерланды.

Сегодня я снова лечу туда.

Для меня это праздник. Волнуюсь.

Вскоре вновь увижу друзей. Буду снова шагать по улицам Амстердама, Роттердама, Гааги. Власть поиграю в шашки, окунусь во всегда волнующий мир людей, понимающих и любящих эту замечательную игру.

Стоит глубокая ночь. Все пассажиры уснули.

А меня одолели воспоминания.

Сколько людей было на моем пути. Сколько борьбы за доской и в жизни. Сколько стран и городов я объехал. Сколько сбывшихся и несбывшихся надежд, сколько побед и поражений.

Особенно напряженными в моей жизни были последние десять лет.

Попробую хотя бы коротко восстановить в памяти события этого десятилетия.

...Примерно десять лет назад, в начале 1972 года, крупнейшие советские шашкисты заканчивали подготовку к Олимпийскому турниру, который должен был состояться в голландском городе Хенгело. После тур-

---

Публикуется с небольшими сокращениями.

мира намечено было проведение Конгресса Всемирной шашечной федерации в городе Боккало.

Подготовка гроссмейстеров завершалась в доме отдыха Центрального Комитета КПСС «Озера» под Москвой.

Этот дом отдыха, между прочим, имеет свою любопытную историю, так как в течение долгих лет являлся дачей ОГПУ-НКВД-КГБ, где допрашивали и содержали важнейших государственных преступников, точнее, людей, обвиненных в серьезных преступлениях против партии и правительства.

Для выходцев из Советского Союза, так же, как и для граждан этой страны, короткие слова НКВД, ОГПУ, КГБ хорошо известны (даже слишком хорошо...) и пояснений не требуют.

Но мои воспоминания, возможно, прочтут голландцы, американцы, люди других западных стран, которым эти понятия незнакомы, для них постараюсь пояснить незнакомые сокращения.

Объединенное Государственное Политическое Управление (ОГПУ), Народный комиссариат внутренних дел (НКВД) и Комитет государственной безопасности (КГБ) — это детище родившейся в первые годы Советской власти Чрезвычайной Комиссии (ЧК) — карательного органа коммунистической партии, который в разные годы носил разные названия.

В этом же Доме отдыха, в отдельном домике, где иногда проводили тренировки шашкисты, долгое время находился фельдмаршал Паулюс.

Командующему окруженной в районе Сталинграда в годы второй мировой войны немецкой группировки войск генералу Паулюсу звание фельдмаршала присвоил Гитлер с целью усилить волю окруженных войск к сопротивлению, однако это не помогло и Паулюс вместе со своим штабом был взят в плен.

Паулюс был наиболее крупным немецким военачальником, взятым в плен за годы войны, и Стали-

ну очень хотелось использовать Паулюса в войне с Гитлером.

Рассказывали, что, когда Паулюсу предложили возглавить антигитлеровское движение среди военнопленных, он долгое время отказывался, обоснованно опасаясь, что от этого пострадают жена и дети.

И вот однажды, выглянув из окошка своего домика, Паулюс увидел на лужайке жену, детей и даже любимую собаку, выкраденных из Германии и привезенных в дом отдыха «Озера».

При желании чекисты (так русские продолжают называть всех работников ЧК-ОГПУ-НКВД-КГБ) неплохо умеют воссоединять семьи...

Персонал дома отдыха «Озера» и в настоящее время дает подписку о неразглашении фамилий и имен лиц, проживающих там.

В апреле 1972 года мне, пребывавшему в самом радужном настроении, так как подготовка к турниру проходила плодотворно и я постепенно набирал нужную спортивную форму, позвонил по телефону Виктор Батуринский и попросил приехать к нему в Москву для разговора.

Так как Батуринский — бывший начальник шахматно-шашечного отдела Всесоюзного Комитета по делам физкультуры и спорта и по совместительству директор Центрального шахматно-шашечного клуба — сыграл определенную зловещую роль в нашей истории, постараюсь рассказать о нем несколько подробней.

По своему положению в шахматно-шашечном мире страны Батуринский являлся подлинным боссом, хозяином, от которого зависело очень многое: присвоение почетных званий, различные льготы, стипендии и, самое главное, — поездки за границу.

Бывший военный прокурор, умный, настойчивый, злой и беспощадный, невысокий, толстый и чрезвычайно уродливый, Батуринский весьма устраивал ру-

ководство, так как неуклонно и последовательно проводил жесткую антисемитскую политику в такой специфической отрасли культуры, где было довольно много выдающихся евреев, широко известных в стране и во всем мире.

Ведь ни у кого язык не повернется говорить об антисемитизме в шахматно-шашечном деле, если во главе этого дела стоит еврей.

Не так ли?

Вот Батури́нский и свирепствовал, где только мог.

Еврей Батури́нский неукоснительно вычеркивал еврейские фамилии из представляемых ему на утверждение списков тренеров, судей на различные сборы и соревнования, на получение государственных стипендий либо для выезда за границу.

При всем при том, неизменно выдержанный и корректный, он обладал дьявольским чутьем и знанием людей, что позволяло ему долгие годы подвизаться на шахматно-шашечной стезе.

Задолго до того, как взошла звезда молодого Карпова, Батури́нский по достоинству оценил его возможности и стал его опекать, всемерно выдвигая, рекламируя и содействуя ему в различных делах, помогая даже одерживать победы.

Так, например, хорошо помню, что по записке Анатолия Карпова, еще не ставшего чемпионом мира, Батури́нский в течение нескольких дней оформил стипендию в размере 180 рублей в месяц одному из друзей Карпова, студенту, довольно слабому шахматисту.

А ведь для получения государственной стипендии в обычном порядке требуются чрезвычайно высокие спортивные результаты и минимум полгода оформления.

При полном содействии Батури́нского Карпов впоследствии вытеснил основателя еженедельника

«64» — гроссмейстера Петросяна — с поста главного редактора и сел на его место.

А так как Карпов не может постоянно и серьезно руководить еженедельником, его желания и волю там проводит журналист Алик Рошаль, систематически возвышающий и рекламирующий Карпова везде, где это только возможно, что и обеспечивает вездесущему Рошально определенный авторитет в руководящих кругах и право поездки за границу, в том числе и на оба матча Карпова с Корчным.

Самым лакомым кусочком в руках Батуринаского являлись поездки за рубеж.

Обычно к концу календарного года шахматно-шашечный отдел Комитета получал 120-150 приглашений на различные турниры в наступающем году, не считая официальных соревнований.

Со списком этих приглашений, минуя шахматную федерацию, Батуринаский знакомил сначала чемпиона мира, затем ведущих гроссмейстеров строго по рангу, согласно их влиянию в руководящих органах; они выбирали себе турниры и желаемых участников, после чего оставшиеся приглашения передавались в Президиум федерации, где и распределялись.

Именно это в конце концов и привело к падению Батуринаского.

После того как он не включил в состав сборной команды для участия во Всемирной шахматной Олимпиаде гроссмейстера Петросяна, обозленный Тигран Петросян, которому хорошо были известны многие темные проделки Батуринаского, сообщил о некоторых из них в ЦК КПСС.

Несмотря на обширные связи Батуринаского и мощную защиту со стороны Карпова, ему не удалось удержаться на своем посту.

Батуринаский был заменен гроссмейстером Крогиусом.

По просьбе Карпова, Батуринского назначили ответственным за подготовку чемпиона ко второму матчу с Корчным.

А так как этот матч закончился внушительной победой Карпова, можно считать, что карьера Батуринского пока еще не окончена.

Однако вернемся на десять лет назад.

Наш разговор с Батуриным, радушно встретившим меня у двери своего кабинета, происходил примерно так:

— Здравствуйте, дорогой Исер Иосифович, разрешите горячо поздравить вас с наступающим 50-летним юбилеем.

— Здравствуйте, Виктор Давидович. Спасибо. Уверен, вы меня пригласили не для этого.

— Скорей, не только для этого, — смеется. — Есть одно маленькое дельце. Как бы это поточнее выразиться? Ну, да ладно. Итак, вы с Андрейко, Щеголевым и Гантваргом завершаете подготовку к Олимпийскому турниру, трое из вас должны встретиться с очень сильными игроками, в первую очередь с Сейбрандсом, претендующим на чемпионскую корону. Мы все вас уважаем, ценим и знаем, как много вы сделали для советского спорта. Но...

— Что — но?..

— Мы здесь советовались и решили, что пора выдвигать молодежь. Вам уже 50 лет, стало труднее играть. В то же время быстро вырос и стал чемпионом мира талантливый Андрейко, которому надо помочь справиться с грозным Сейбрандсом. Мы считаем, что эту помощь должны оказать вы.

— Чем я должен помочь Андрейко?

— Вы можете проиграть ему свою партию и это упрочит его шансы на 1-е место.

— Но зачем мне проигрывать Андрейко, если я сам нахожусь в хорошей спортивной форме и надеюсь завоевать снова чемпионское звание?



— А нам кажется, что это должен лучше сделать Андрейко. Поэтому прошу вас подумать над этой просьбой и выполнить ее. Поверьте мне, это в ваших интересах. Так думает и Виктор Андреевич. После возвращения будем всемерно вам помогать.

— Но ведь там, на Западе, тоже не дураки. Вы не подумали, что, если я сдам партию Андрейко, там быстро раскусят, что это не случайно, и западные гроссмейстеры начнут помогать Сейбрандсу, получится только хуже.

— Нет, мы так не думаем. Все зависит от вас.

Вышел я из кабинета после этой милой беседы, как оплеванный, не зная, что делать.

Однако, когда вскоре после нашего разговора на приеме у заместителя председателя Комитета по делам физкультуры и спорта Виктора Андреевича Ивонина, известного антисемита, последний в более завуалированной и мягкой форме предложил членам олимпийской команды «всемерно помочь Андрейко», а присутствовавший при этом Щеголев резко спросил его: «Что вы имеете в виду?» — и Ивонин замял этот вопрос, я подумал, что требование Батурина снято с повестки дня.

Но не тут-то было.

После приезда команды в Хенгело и состоявшейся жеребьевки выяснилось, что первым из советских гроссмейстеров, который встречается с Андрейко, буду я.

На следующий день после жеребьевки мой тренер — Юрий Петрович Барский, являвшийся руководителем делегации, — получил телеграмму Батурина: «Напомните Куперману о нашей беседе».

Батуринский почти ежедневно говорил на эту тему с Барским по телефону. Об этих переговорах узнала пресса, зашевелилась общественность. Была назначена специальная комиссия по контролю за ходом партии Куперман-Андрейко.

Вечером накануне злосчастной партии ко мне в номер пришел Барский, уламывая мое сопротивление до 3-х часов ночи.

— Ну, что вам стоит потерять пол-очка? Наберете их у кого-нибудь другого. А Андрис сможет завоевать первое место.

— Я не могу, не хочу. Я сам буду бороться за 1-е место.

— Но поймите, что от этой просьбы никуда не деться. Вы же знаете о телеграммах, о звонках.

И мне пришлось уступить.

Совершенно разбитый, невыспавшийся, сел я за партию с улыбающимся Андрейко и неохотно начал разыгрывать дебют.

Но, как это иногда бывает, без всяких к тому стараний с моей стороны партия складывалась довольно неплохо для меня. Сделать какую-либо грубую ошибку перед лицом комиссии и бдительной публики было невозможно, и тогда я решился на единственно приемлемый в этой обстановке шанс, глубоко задумался в не слишком сложной позиции и... просрочил время.

Мне было засчитано поражение.

Трудно передать, что тогда поднялось в голландской прессе и на самом турнире. Броские заголовки типа «Тайный сговор», «Рука Москвы», «Держись, Тони» в газетах, оскорбления, упреки были как бы антуражем.

Проигрыш этой партии имел два глубоких последствия.

Во-первых, многие западные гроссмейстеры, возмущенные выигрышем Андрейко, ослабили сопротивление Сейбрандсу, всецело мобилизовавшись против советских участников турнира.

Известны стали впоследствии высказывание чемпиона Швейцарии Андреаса Кайкена: «После этого я играл с Тони без всякого напряжения» — и заявление

гроссмейстера Делорье: «Рад, что сделал ничьи с русскими и проиграл Сейбрандсу».

В результате 1-е место и звание чемпиона мира занял Сейбрандс, а на втором месте оказался Андрис Андрейко.

Вторым чрезвычайно неприятным итогом проигрыша явились разногласия в советской делегации. Молодой, честолюбивый минчанин Анатолий Гантварг, сам претендовавший на призовое место, был до глубины души возмущен и выплескивал свое возмущение «заговором» везде, где только мог, а возвратившись в Союз, стал писать многочисленные компрометирующие меня письма.

Напряжение среди трех советских гроссмейстеров достигло такого накала, что мирить нас даже приехал из Гааги атташе по делам культуры советского посольства Николай Петрович Рындин.

По возвращении домой для меня наступили трудные времена, так как помимо того, что, взвинченный всеми этими событиями, я оказался на непривычном 7-м месте, мне пришлось в различных инстанциях отбиваться от нападений Щеголева и других шашкистов в еженедельнике «64».

— Виктор Давидович, — воскликнул я однажды, придя в кабинет Батурина, — я вашу просьбу выполнил, вы обещали помочь, прошу выполнить свое обещание, оградить меня от незаслуженных нападков.

— Это ваше личное дело, гроссмейстер Куперман, защищайтесь сами, — холодно отрезал Батурицкий.

Проглотив эту горькую пилюлю, кое-как отбившись от нападков, я вернулся в Киев, приступил к работе в своем институте (по профессии я — горный инженер, работал руководителем группы в институте «Гипростройматериалы») и, постепенно отойдя от неприятностей и нанесенных обид, снова превратился в обычного трудящегося.

Однажды я проводил сеанс одновременной игры в одном из киевских парков. Через некоторое время одна за другой стали заканчиваться партии в мою пользу. На оставшихся досках положение тоже не вызывало опасений. И только на одной доске партнер добился хорошей игры. Это была молодая, миловидная девушка, позиция которой с каждым ходом улучшалась, что немедленно вызвало шуточки зрителей:

— Гроссмейстер знает, кому проигрывать.

Снисходительно улыбнувшись, я продолжал борьбу.

Когда девушка, почувствовав головокружение от успехов и внимания публики, случайно сделала ошибочный ход и тут же попыталась поставить шашку обратно, я твердо возразил:

— Ходы назад не возвращаются.

Девушка проиграла почти выигранную партию и, расстроенная упущенной победой, ушла, не попрощавшись.

Спустя две недели я ехал в троллейбусе, уткнув, как обычно, нос в книгу.

— Ваш билет? — раздался голос контролера.

Я стал искать билет, обшарив все карманы, но, по закону ехидства, билет не нашел.

— Ну, что ж, штрафуйте, — потерянно сказал я, — видимо, куда-то запропастился билет.

Я уплатил штраф, девушка-контролер выдала квитанцию и, не сказав ни слова, пошла дальше.

Я снова раскрыл книгу, из которой... выпал билетик.

— Девушка, я нашел билет, — воскликнул я, протягивая билетик контролеру в попытке оправдаться перед пассажирами и вернуть деньги.

Девушка подошла, сличила номер, затем взгля-

нула на меня, когда я уже протянул руку за деньгами, и без тени улыбки на лице промолвила:

— Ходы назад не возвращаются, гроссмейстер...

Вспоминая этот забавный эпизод, я улыбаюсь втихомолку, ведь их в моей памяти бесчисленное множество.

Но пора перестраиваться на более серьезный лад.

1973 год проходил под знаком подготовки Андри-са Андрейко к матчу-реваншу с Сейбрандсом за чемпионскую корону.

Своим секундантом Андрейко, видимо, в знак благодарности за легкую победу в Олимпийском турнире, выбрал меня.

Во время ежегодного матча СССР-Голландия я вел все необходимые переговоры с Генеральным секретарем Всемирной шашечной федерации Ивенсом, иногда к нам присоединялись Андрейко и Сейбрандс.

Осенью 1973 года этот матч состоялся в курортном пригороде Гааги Шевенингене, жили участники матча в роскошном отеле «Бел Эйр», играли рядом, во Дворце Конгрессов.

Интерес к матчу был огромный. Людей в зале всегда было много, далеко не всем удавалось достать билеты. Членам нашей делегации выдали специальные пропуска.

За полчаса до начала партии я встречался с Андрейко, и мы вместе шли в Дворец Конгрессов.

Когда мы впервые встретились в вестибюле отеля, Андрис вдруг вспомнил, что забыл свой пропуск в номере.

— С непривычки, — оправдывался он, — придется вернуться.

— Мы с тобой — люди не суеверные, — сказал я, — но все же... Вдруг будет неудача. Тебе играть. Давай, я принесу пропуск.

— Да, нет, — возразил Андрис, — вы же старше. Не годится так.

Пока мы спорили, время шло.

— Знаешь что, — наконец сказал я, — ты ведь участник матча. Тебя пропустят. Без тебя игра все равно не начнется.

— Действительно, — согласился Андрис. — Пошли!

Возле входа у Андрейко потребовали билет. Андрис начал объяснять, что он — Андрейко, участник матча, а пропуск забыл в отеле.

— Признались бы честно, что не можете или не хотите купить билет. А то: «Я — Андрейко». Здесь уже двое таких Андрейко прошло. Я Андрейко знаю. А вы покажите билет или отойдите. Вот за вами действительно идет гроссмейстер, а вы стоите на дороге. Проходите, будьте добры, господин Куперман. Пропуск показывать не надо, я и так вас знаю. Как вы считаете, кто сегодня выиграет первую партию? — обратился ко мне билетер.

Я решил, что настал подходящий момент, чтобы как-то уладить конфликт.

— Думаю, будет ничья. Сегодня они «прощупают» один другого. Кстати, этот молодой человек со мной.

— О, тогда другое дело! Прошу, вам повезло, юноша. На вас обратили внимание. Еще научитесь хорошо играть. Проходите быстрее, пока я не передумал, — среагировал на мою просьбу билетер.

После этого небольшого приключения мы с Андрейко от души посмеялись. Напряжение перед партией как рукой сняло.

Организаторы матча объявили конкурс на лучшие репортажи по освещению этого поединка. По приглашению крупнейшей голландской газеты «Гандельблат» и с разрешения Москвы я принял участие в этом конкурсе. Но это — попутно.

А главное было в том, что, к сожалению, матч проходил неудачно для Андрейко. Одну из первых

партий он проиграл. Это наложило отпечаток на ход всего поединка. Андрис никак не мог сквитать счет.

На финише он решил применить психологический трюк: растер свое тело спиртом в надежде одурманить противника. Результат получился противоположный. Впитавшийся спирт отуманил самого Андрейко. Он проиграл принципиально важную партию, а затем и весь поединок.

Будучи секундантом Андрейко, я в течение дня имел достаточно свободного времени и поэтому с радостью бросился в бурные волны журналистики.

В отличие от других принимавших участие в конкурсе журналистов и спортивных комментаторов, я вовремя сообразил, что писать официальные отчеты о партиях матча со своими комментариями для широкой публики будет скучновато, и поэтому перемежал свои отчеты веселыми историями, случаями из жизни своей и других шашистов, а то и просто анекдотами.

Такие репортажи привели к резкому увеличению тиража газеты, голландцы с удовольствием зачитывались этими статьями, с нетерпением ожидали каждого очередного репортажа, а при подведении итогов конкурса главный приз конкурса был присужден мне.

Я добросовестно старался рассмешить чопорных голландцев, и они оценили мои старания.

В одном из репортажей, помнится, была помещена история о том, как в один голландский госпиталь привезли больного шашиста. Этого больного усиленно лечили от желтухи, кололи трижды в день, пичкали лекарствами.

Больной терпеливо все сносил, молчал, но улучшение не наступало.

Наконец, пригласили консультанта, известного профессора. Тот внимательно осмотрел больного, ознакомился с историей болезни и анализами, затем встал и сказал только одну фразу:

— Идиоты, вы его никогда не вылечите от желтухи, это китаец.

Каждый из своих отчетов я старался оживить подобным рассказом либо смешной историей.

Даже посол СССР в Голландии Романов, присутствовавший при вручении мне приза — золотого кольца с бриллиантом, — смеясь, сказал, что давно не читал столько веселых еврейских анекдотов и историй, как в моих отчетах об этом матче.

Перед нашим отъездом знакомые голландцы, между прочим, спросили меня, как обеспечить их победу в очередном матче СССР-Голландия (в те годы, как правило, спортивные результаты русских оказывались выше), и я шутливо посоветовал организовать матч в период, когда голландские магазины устраивают большие летние сейлы-распродажи. Тогда, мол, нам будет не до шашек, будем бегать за дешевыми товарами.

Однако практичные голландцы восприняли шутку всерьез и организовали матч в июле, подогнав рабочие часы игры к графику распродажи. Действительно уловка сработала, и члены советской делегации, в головах которых маячили дешевые дефицитные вещи, играли неряшливей, чем обычно, торопились, и результаты их игры оказались значительно скромней, чем раньше.

Но самый умопомрачительный эпизод произошел уже перед отъездом делегации, когда почти все шашкисты порастратили скудные запасы имеющейся валюты и подумывали об упаковке чемоданов.

Вдруг прибегает запыхавшийся Сергей Давыдов и сообщает, что нашел магазинчик, где самые лучшие носильные вещи по баснословно низкой цене: шубы из натурального меха, к примеру, за 50 гульденов, мужские и дамские шерстяные костюмы по 10-15 гульденов и т. д.



Руководитель делегации — секретарь Первомайского райкома партии города Тбилиси Дмитрий Янковский — провел экстренное совещание: что делать? Предложение заманчивое, а денег уже нет.

Решили воспользоваться западными торговыми правилами и сдать часть купленных вещей в магазины, благо здесь безоговорочно принимают ранее проданные вещи, лишь бы чек был в наличии.

Так и сделали. Понесли назад часть купленных вещей и, получив свои деньги, гурьбой помчались в заветный магазин, ведомые энергично шагавшим Давыдовым.

Подошли, посмотрели, переглянулись, у всех вытянулись лица. Все оказалось правильно: и элегантные норковые шубы, и баснословно низкие цены.

Единственное, что вчистую омрачило всеобщую радость, была не замеченная Давыдовым скромная вывеска над дверью — «Химчистка».

Тихая голландская улочка огласилась отборными, сочными русскими фразами из лексикона молдавских биндюжников, грубой бранью.

...Прошел еще год.

Начинался новый олимпийский цикл, и в ноябре 1974 года в Тбилиси проводился очередной турнир претендентов, победитель которого должен был встретиться в борьбе за чемпионскую мантию с Тони Сейбрандсом.

Наиболее вероятными кандидатами на первое место являлись Андрейко, Вирсма, Гантварг, Куперман. Турнир проходил в приподнятой, радостной обстановке, чему в немалой степени способствовали различные веселые инциденты.

Немало смеха вызвало происшествие перед моей партией с впервые участвовавшим в матче такого уровня красивым, смуглым мужчиной по фамилии Дон Кандане, которому я в знак первого знакомства преподнес набор грузинского чая.

Партнер недоуменно посмотрел на меня, на сувенир и раскатисто рассмеялся. Я ответно усмехнулся, пока не заметил, что на табличке за столом, где указывается страна шашиста, было выведено — «Цейлон».

Цейлон, славящийся лучшим в мире чаем. Было от чего мне смутиться, что, впрочем, не повлияло на исход партии.

С того времени Дон Кандане периодически напоминал о себе посылочками с ароматным цейлонским чаем.

Чемпион Цейлона, за которого постоянно переживала его очаровательная жена, мужественно боролся, но тем не менее проиграл все партии турнира.

Как-то после игры Дон Кандане в присутствии жены упомянул, что она неплохо применяет приемы карате. Двое сидевших в компании здоровенных молодых грузин, посмотрев на невысокую, худенькую женщину, засмеялись:

— Зачем выдумывать такую чепуху, никто ведь этому все равно не поверит.

Не успел гид закончить перевод этих слов, как оба грузина лежали у ног доньи Кандане, которая мгновенно провела учебно-показательный урок применения приемов карате. Общий смех и аплодисменты сопутствовали бегству быстро ретировавшихся из зала недоверчивых грузин.

Всеобщее внимание вызывал представитель Канады Ганьон, внешне очень похожий на Гитлера и хорошо его копировавший. Ганьон жаловался, что против него все играют с особенной злостью, но это, впрочем, никак не отражалось на его любви к шашкам, преданным рыцарем которых он оставался всегда.

Ганьону неоднократно предлагали выступить в кино и на телевидении в роли фюрера, но он постоянно отказывался от самых выгодных контрактов, не желая забросить любимую игру.

...Между тем, турнир претендентов, полный внутреннего напряжения, продолжался. Прогноз одной из голландских газет о том, что находящийся в блестящей форме Вирсма займет 1-е место, не оправдывался.

В партии с Гантваргом Вирсма применил новинку и был близок к победе, но, видимо, разволновался и упустил элементарный выигрыш. В свою очередь, Анатолий Гантварг, добившись большого преимущества надо мной в партии, где я к тому же находился в сильном цейтноте, не увидел сильнеешего продолжения и закончил партию вничью.

Встреча Вирсма-Андрейко не состоялась из-за болезни Андрейко. Вирсма потребовал засчитать ему победу, ссылаясь на ошибку в регламенте, и отказался приходить на доигрывания. Только после вмешательства Всемирной и голландской федерации было решено партию играть перед последним турниром, и закончилась она вничью.

Таким образом, все решала последняя партия Андрейко-Куперман, которую Андрейко играл большим, с высокой температурой и — проиграл.

Так я стал победителем турнира, завоевав право играть матч с чемпионом мира — Сейбрандсом.

Это был грозный соперник. Несмотря на молодость, Тони не был шашечным романтиком, и создаваемые им позиции-крепости были труднопробиваемы. Благодаря чрезвычайно высокому пониманию позиций, ему почти всегда удавалось захватить центр, а затем серией умелых разменов опередить противника в развитии, получить едва ощутимый перевес.

Имея лучшую позицию, Сейбрандс атаковал противника с огромной энергией и мастерством, демонстрируя вершины точного расчета.

Я часто испытывал огромное наслаждение, наблюдая, как Тони после окончания партии показывает разные варианты и скрытые возможности позиции обеих сторон.

Память у Тони чрезвычайная. Он знает все, что было опубликовано о шашках, и даже неопубликованные партии чемпионатов всех стран за много лет. Когда он показывал нам мои собственные партии, которые я уже давно забыл, мне иногда даже становилось не по себе.

Все это психологически угнетало противников Сейбрандса, в большинстве случаев мечтавших сделать с ним ничью, а в этих условиях, как правило, шансов на спасение мало.

Тем не менее, приступив к предматчевой подготовке и изучая творчество Сейбрандса, я понял, что и «на Солнце есть пятна», что в игре Тони можно найти некоторые слабости, что его психологическая система недостаточно прочная, а нервы не из самых крепких, он может выйти из равновесия, если навязать ему многодневное пяти-шестичасовое напряжение в каждой партии.

Короче, я понял, что играть с Сейбрандсом и даже выиграть у него можно, что матч, если к нему хорошо подготовиться, будет очень интересным и творчески плодотворным. Надо работать.

И я серьезно и увлеченно готовился к матчу.

В те годы действовала довольно напряженная система розыгрыша первенства мира по шашкам (сравнительно недавно эта система изменена). Эта система имела 4-х летний цикл.

В каждом високосном году проводился Олимпийский турнир на первенство мира, в котором участвовали чемпионы и сильнейшие игроки разных стран, а также в обязательном порядке чемпион мира. Победитель этого турнира становился новым чемпионом мира.

В следующем, послеолимпийском году чемпион мира проводил матч-реванш на первенство мира с бывшим чемпионом. Еще через год проводился турнир претендентов, в котором участвовали чемпионы раз-

ных стран, по 2-3 сильнейших игрока от крупных федераций, но без участия чемпиона мира.

Победитель турнира претендентов получал право в следующем году играть матч с чемпионом мира за чемпионскую корону.

Затем наступал новый олимпийский год.

Таким образом чемпион мира обязан был все время быть сильнейшим турнирным и матчевым бойцом, в противном случае он быстро терял свое высокое звание.

В 1975 году на шашечном Олимпе сложилось положение, во многом схожее с шахматными делами.

Тогда Анатолий Карпов, выиграв у Корчного, получил право играть матч с чемпионом мира по шахматам Бобби Фишером и готовился к матчу в подмосковном доме отдыха, а так как Фишер отказался от матча и к назначенному сроку не явился на матч, несмотря на предупреждение Всемирной шахматной федерации, Карпов без игры был провозглашен новым чемпионом мира.

Аналогичное положение сложилось у меня. Так как Сейбрандс отказался от матча и тоже не явился на матч к назначенному сроку, я на сей раз без игры в шестой раз был провозглашен чемпионом мира.

В 1976 году должен был состояться очередной Олимпийский турнир, в котором от Советского Союза должны были участвовать Андрейко и я.

В марте я должен был выехать из Киева, а Андрейко из Риги для встречи и совместной подготовки к турниру.

Но 11 марта мне сообщили по телефону из Риги страшную весть о том, что 10 марта был убит Андрис Андрейко.

Расскажу некоторые подробности этого убийства.

Андрейко, к сожалению, любил выпить, нередко подвергаясь наказаниям после разоблачительных заяв-

лений «друзей»-шашкистов (Могилянского, Гантварга и других).

В 1975 году его наказали так же, как и Корчного после первого матча с Карповым и его некоторых откровенных высказываний о сопернике, то есть лишили на год выезда за границу и сняли 100 рублей со стипендии.

Конечно, Андрейко был очень обижен наказанием и, как многие люди такого склада, решил залить обиду вином.

Он познакомился в одном баре с моряком дальнего плавания по фамилии Веснин. Оба собутыльника солидно выпили, этого им показалось мало, и они пошли домой к Веснину, однако туда их не пустили.

Тогда Андрис пригласил Веснина к себе.

Еще до их знакомства Веснин пропил 70 рублей, оставив в каком-то ресторане в залог заграничный паспорт.

Придя в хорошо обставленную квартиру Андрейко, с большим количеством электро- и радиоприборов, пропойца решил убить Андрейко, вынести ценные вещи и таким образом выкупить свой паспорт.

Когда Андрис — грузный и нетрезвый — сидел в глубоком кресле, Веснин подкрался к нему сзади и нанес Андрису 23 удара утюгом по голове. На вопрос — почему так много ударов и такая жестокость, — Веснин потом ответил, что не мог его убить, так как Андрейко был очень крепким и здоровым.

Веснин схватил магнитофон и еще какие-то вещи и собрался уйти, но в этот момент на обеденный перерыв пришла жена Андрейко — Люба, работавшая неподалеку, на станции «Скорой помощи».

Она попыталась войти, но Веснин не пустил ее, сказав, что у Андрейко сейчас другая женщина и он не желает видеть жену.

Люба побежала звать соседей, и в этот момент

убийца, захватив несколько ценных вещей, сумел скрыться.

Когда жена с соседями вломилась в квартиру, Андрейко еще дышал, но уже был безнадежен и вскоре скончался.

Начались поиски преступника, которыми руководил Министр внутренних дел Латвии. Веснин убежал в аэропорт, откуда позвонил матери, которая ему сказала, что ему надо явиться домой, где его ждут.

Веснин приехал домой, где его арестовали, а потом судили и приговорили к 15 годам лишения свободы.

Однако в деле были некоторые неясности. Возможно, что убийца был не один, а все взял на себя. Так, в пепельнице, в комнате Андрейко нашли два окурка, а сам Андрейко не курил.

Как бы то ни было, Андрейко был убит. Его смерть явилась для меня большим ударом, так как нас связывала многолетняя творческая дружба и взаимная симпатия.

Андрис Андрейко был очень своеобразным человеком. У него было тяжелое детство. Его мать была среди угнанных немцами из Латвии людей во время войны. Андрис родился в 1942 году в Германии; видимо, его отец был немец.

После войны мать с трехлетним малышом вернулась в Ригу, перенесенные страдания несколько помutilи ее рассудок.

Однако голодный и оборванный ребенок рос не по годаммышленым, вскоре увлекся стоклеточными шашками. Его заметил и стал обучать латвийский мастер Валдис Звирбулис.

В 16 лет Андрис уже принял участие в полуфинале первенства СССР в Баку, где в первом же туре победил своего учителя, затем одержал еще несколько убедительных побед и вернулся оттуда мастером спорта.

Андрис был чрезвычайно одаренный и оригинальный шашист, никто среди шашечных гроссмейстеров и мастеров своей игрой не напоминает Андрейко. Есть такой игрок среди шахматистов. Это — Таль.

Андрейко вполне можно было бы назвать столеточным Талем.

Оба они из Риги, оба стали претендентами на звание чемпиона мира в 24 года. А самое главное в том, что оба они — сторонники острокомбинационного стиля, в игре постоянно стремились создать осложнения, не подлежащие точному расчету и требующие огромной интуиции.

Оба гроссмейстера любили бескомпромиссные партии, при которых необходимо тонко маневрировать, балансируя над пропастью поражения.

Когда у Андрейко спросили, какую игру — комбинационную или позиционную — он предпочитает, он ответил кратко:

— Я люблю выигрывать!

О Тале один югославский журналист в свое время писал:

— Он делает ходы корректные, полукорректные либо некорректные, но победа всегда остается за ним.

Эти слова в полной мере относятся и к Андрейко, который к тому же очень напоминал Талья чрезвычайной, буквально электронной скоростью расчета вариантов. В блицпартиях не было равных Андрейко.

Он мог предоставлять даже сильнейшим мастерам 5 минут на игру, а себе оставлял только одну минуту, всего 60 секунд, и все равно выигрывал.

Андрейко был необыкновенно талантлив. Несмотря на то, что он даже не окончил среднюю школу, он был от природы интеллектуален.

Я, например, считаю, что из всех современных шашистов Андрейко был самым талантливым, что он обладал Божьим даром.



Прекрасно зная теорию, много работая над ее изучением, Андрейко постоянно поддерживал спортивную форму частыми выступлениями в турнирах и никогда не знал цейтнотов.

И при этом он был несравненным психологом, превосходно ориентируясь в туманных глубинах человеческого сознания.

Приведу несколько примеров из богатой практики Андрейко-психолога.

Играя в Уфе, в чемпионате СССР с мастером Егоровым и расхаживая по залу после сделанного хода, Андрейко пожаловался мне:

— Знаете, Исер Иосифович, ничего не выходит, не могу пробиться, ничейная позиция.

— Да, похоже, ничья.

— Нет, я его сейчас выведу из равновесия.

— Как это возможно?

— А сейчас увидите...

Возвращается Андрис к своему месту, садится за столик, внимательно смотрит на позицию и тихо спрашивает:

— Сережа, ничью хотите?

— О да, да, конечно.

— Нет, это я просто так, из любопытства, я не предлагаю ничью.

Егоров вышел из себя, покраснел, занервничал и в конце-концов проиграл.

Психологические трюки Андрейко бывали иногда на грани корректности. Но даже уважаемые, корректные голландцы, обожающие покой и порядок, прощали Андрису его проступки и специально ходили смотреть — а что еще он придумает.

На одном из турниров Андрейко сделал ход, после которого партнер мог легко выиграть шашку, но зато вскоре Андрейко проводил красивую комбинацию и выигрывал партию.

Андрису очень хотелось, чтобы партнер взял шашку, а тот, как назло, все думал и думал над ходом, рассчитывая варианты.

И вот Андрейко вдруг подходит к своему столику, смотрит на позицию и громко говорит:

— Я не делал этого хода, не мог я сделать такой ход.

— Как не могли, это ваш ход, даже запись есть.

— Нет, ведь я элементарно теряю шашку. Нет.

Пришлось позвать судью, стали спорить, судья проверил и, конечно, установил, что все правильно.

— Извините, Андрей Георгиевич, но этот ход был сделан.

Совершенно ясно, что партнер после этого долго не думал и взял шашку. Подождав для вида немного и углубившись в позицию, Андريس провел задуманную комбинацию и выиграл партию.

Запомнился еще один психологический экивок Андрейко.

В Амстердаме, на корабле, играет матч СССР-Голландия. Андрейко играет против Вирсмы. Надо сделать за два часа 50 ходов, Вирсма в цейтноте, перестал записывать и не знал — сколько ему осталось сделать ходов до контрольного времени.

Андрейко услужливо подsunул ему свой бланк с записью ходов. Увидев, что по записи уже сделано 50 ходов, Вирсма спокойно сидел и думал, а когда упал флажок на его часах, недоуменно оглянулся во круг.

Позвали судью, все проверили. Оказалось, что Андрейко (скорей всего намеренно) дважды записал один и тот же ход, Вирсма за два часа не успел сделать контрольный пятидесятый ход, и ему было засчитано поражение.

Трудно описать бурю возмущения среди обычно невозмутимых голландцев. А спокойный Андрейко только процедил сквозь зубы:

— Я ему — не нянька, пусть сам записывает ходы. Все мы — люди, я тоже мог ошибиться.

Все описанные эпизоды ни в коей мере не могут затмить славу одного из самых сильных шашкистов нашего времени, блестящего стратега и неповторимого мастера комбинационного стиля — Андриса Андрейко.

Вместо Андрейко для участия в Олимпийском турнире был включен Щеголев — мой большой недруг. Участников советской команды Щеголева и Гантварга многое разделяло, но объединяющим началом явилась их неприязнь ко мне.

Руководителем делегации думали назначить партийного Щеголева.

Талантливый, обладающий незаурядным комбинационным даром Слава Щеголев стал играть в шашки с девяти лет. В 14 лет стал перворазрядником. В 17 лет он разделил 1-3 места в чемпионате СССР, а в 19 лет стал чемпионом мира по стоклеточным шашкам.

Правда, через год, в матче-реванше я отвоевал у него это звание, но в очередном Олимпийской турнире в 1964 году Щеголев снова становится чемпионом мира, не проиграв ни одной партии и выиграв из 16 партий 11.

Превосходный результат!

А через год я в очередном матче-реванше снова отвоевал у Щеголева звание чемпиона мира с разгромным счетом 13-7.

С тех пор спортивные результаты Щеголева стали значительно скромнее, и он уже никогда не мог преодолеть свою неприязнь к более сильному сопернику.

Интересно отметить, что прием, устроенный Щеголеву-чемпиону мира в Москве, по теплоте и щед-

ротам не шел ни в какое сравнение с тем, как принимали меня, когда я становился чемпионом мира.

И в 1960, и в 1964 году даже я, заняв в Олимпийских турнирах соответственно третье и второе место, получил на Родине больше призов и наград, чем когда я возвращался чемпионом, так руководство было обрадовано, что чемпионом стал русский человек.

На грандиозном митинге в Центральном парке культуры и отдыха в Москве в честь этого события, когда после многих ораторов предоставили слово Щеголеву, он, не умевший даже связать двух фраз, сказал только:

— Пусть говорит Исер Иосифович, у него это лучше получается.

И выступив, я не сумел скрыть горечи и сказал:

— То, о чем вы мечтали долгие годы, свершилось: русский человек, Слава Щеголев, стал, наконец, чемпионом мира.

Эти слова потонули в буре оваций.

Очень впечатляющим был прием у министра путей сообщения Бещева (Щеголев формально числился представителем спортобщества «Локомотив»).

Щеголев впервые шел на прием к министру, волновался и все расспрашивал меня, что там будет, как себя вести. Я успокаивал его, говорил, что ничего особенного, поговорят, может, дадут какой-нибудь подарок, пожмут руку.

Оказалось все не так.

Слава пробыл на приеме у Бещева ровно одну минуту. Выскочив из кабинета, сказал смущенно:

— Я сейчас, Исер Иосифович, — и исчез, а когда вернулся, я спросил его, как прошел прием, он прошептал:

— Блестяще.

— А что он тебе сказал?

— Только два слова: «Идите в кассу», — и показал внушительный конверт.

Впрочем, примерно такая же процедура ожидала и меня самого.

*(Окончание следует)*

**Георгий Владимов**

## **Три минуты молчания**

Эта книга талантливого русского писателя возникла из опыта плавания автора простым матросом на рыболовном траулере 849 «Всадник» по морям Северной Атлантики. Роман был впервые напечатан А. Твардовским в «Новом мире» (№№ 7, 8 и 9, 1969 г.). Только через семь лет — вскоре после выхода на Западе истории караульной собаки «Верного Руслана» — роман «Три Минуты Молчания» вышел книгой в издательстве «Современник». Но изменения, внесенные автором в текст для книжного издания, а также вычеркнутые цензурой в журнальном варианте места не были приняты издательством «Современник» и полный текст по-русски печатается впервые. (В 1978 г. вышел в изд. Галлимар по-французски.)

Большой формат            408 с.            34 н. м.

Possev-Verlag, Flurscheideweg 15, D-6230 Frankfurt/M.-80

## ТРИ ГОДОВЩИНЫ

Стремительное приближение оруэлловского 1984-го разрушило многовековые устои шахматной игры, «Помпея» ее испелена лавой бездушия и мелкого оппортунизма. Люцернские олимпиады стали сатирической эпитафией на могиле прекрасного некогда искусства. Чего только не видывали швейцарские Альпы в дни всемирных командных соревнований! В первом же туре жребий свел албанцев со сборной СССР. «Gens una sumus» тут же было предано забвению — коммунистам-сталинцам не к лицу играть в шахматы с ревизионистами-гегемонистами. Трусливое ФИДЕ пошло на поводу Тираны, и в обход всех шахматных канонов была проведена вторая жеребьевка, а судьба возьми да сведи маленькую страну с «американскими империалистами». «Янки, прочь из Сальвадора», — прокричали албанцы, сразу обеспечив себе очередную жеребьевку. Третья попытка запуганной ФИДЕ — и очередной прокол: «Албания-Израиль», — изрек безликий компьютер. Что тут было: ни словом сказать, ни пером описать, ни фигурами показать... До выяснения китайско-албанских отношений дело, к счастью, не дошло, и олимпиады, пробуксовав, все же застартовали.

После первых трех туров «албанский вариант» повторил представитель сирийской шахматной федерации, от имени арабских стран заявивший, что последние никогда не сядут за один стол с шахматистами... Египта! Тонкое швейцарское вино лилось рекой, а в Москве держали бессрочную голодовку экс-чемпионы страны и столицы — Гулько, Ахшарумова и Волович. Выпито и съедено в Люцерне было сверх нормы; протрезвев, кое-кто решил все-таки очистить

свою совесть и замолвил словечко о преследуемых перед самым близким другом всех шахматистов. Беда, однако, караулила олимпийцев: в разгар соревнований «флажок» жизненной партии Ильича Второго упал, генсек скончался, так и не успев ознакомиться с эпистолой некоторых участников олимпиад.

Всемирная шахматная скорбь овладела залом «Алманд», проведение олимпиад было приостановлено, и потянулись бесконечные минуты молчания, прерываемые лишь рыданиями космонавта Севастьянова и Флоренсо Кампоманеса. Этот филиппинец, поддержанный в Люцерне советским блоком, захватил президентство ФИДЕ, заявив без обиняков: строптивым шахматистам он спуска не даст, а не поможет — ждут их всех и турнирные и жизненные «баранки». Под занавес олимпиад Татьяна Лемачко, пожертвовав дочерью, решила не возвращаться в Болгарию. Впереди у нее трудные поединки за женскую шахматную корону, быть может уколы болгарскими зонтиками, а может быть, и вынужденные встречи с... турецкими террористами. Почти в канун Рождества гангстеры из советской шахматной федерации ограбили полуживую Анну Ахшарумову, вырвав из ее рук очередное чемпионское звание. Гульки угрожают судебным преследованием. Жуткие факты, число которых не просчитывается.

То ли смерть маршала-писателя, то ли «филиппинская революция» ФИДЕ привели к тому, что многие журналисты допустили непростительный «зевок» — проглядели конец 1982 года. 29 ноября как раз исполнилось ровно 55 лет с того дня, когда Александр Алехин стал четвертым по счету чемпионом мира и первым за всю историю прекрасной игры, который умер непобежденным. 55 лет тому назад в Буэнос-Айресе Александр Алехин получил от своего соперника записку, в которой кубинский гений сообщал: «Я сдаю партию (это о 34-й схватке матча. — Э. Ш.) и желаю

Вам счастья в звании чемпиона мира. Мои поздравления Вашей супруге. Капабланка».

Знаменательная годовщина этого исторического события совпала с еще одной датой — с девяностолетием со дня рождения русского шахматного кудесника. А. Алехин родился в Москве 31 октября 1892 года, а скончался 25 марта 1946 года в Эсториале (Португалия).

Александр Александрович Алехин возвел на шахматную вершину не только гений, но, прежде всего, беспредельное служение своей музе. Всю жизнь он был врагом «гроссмейстерских ничьих» и каждую партию проводил с полнейшей отдачей, как будто бы в ней решались судьбы всего мира. Он неоднократно говорил С. Тартакову: «Не судьба гонится за нами, а мы должны гнаться за ней». В этих словах его жизненное и творческое кредо. Художник-борец своей ярчайшей палитрой — неповторимым диапазоном дебютного репертуара — в Буэнос-Айресе убедительно вскрыл огрехи, казалось бы, безупречной шахматной машины, нашел ключи к несколько догматическому подходу Капабланки к шахматному творчеству.

Победа Алехина над Капабланкой была шумно отмечена как прессой эмиграции, так и шахматной печатью СССР. Гром литавр сразу же заглушил историческую правду, фальсифицируя факты. И невежественный шахматный Запад, и советские летописцы по сей день в унисон утверждают — Алехин первым принес России чемпионские лавры. Ничего подобного, господа милые, — в почетнейшем табеле о рангах был он не первым, а *вторым...*

С 18 по 30 июля 1927 года в Лондоне была проведена первая официальная олимпиада ФИДЕ. Тогда же на Темзе, одновременно с командными соревнованиями, был разыгран первый чемпионат мира по шахматам среди женщин, в котором приняли участие 12 спортсменок из семи стран. Набрав 10,5 очка из 11-ти



возможных, первенствовала в турнире юная Вера Менчик. Первая чемпионка мира родилась в 1906 году в Москве (отец ее был чех, а мать англичанка). В 1921 году семье Веры Менчик удалось переселиться в Англию. Родным языком гениальной шахматистки был русский. По ее настоянию, в турнирной таблице значилось: В. Менчик — Россия. Столик, за которым во время чемпионата играла Вера, украшал трехцветный русский вымпел. 30 июля 1927 года, почти за четыре месяца до Александра Алехина, Вера Менчик *первой* завоевала для России чемпионское звание.

В СССР об Алехине создана целая литература, породившая даже своего «классика» — А. Котова, того самого, который мечтал увидеть на сцене Большого театра балет... «Александр Алехин». Спортивные успехи и творческое наследие великого шахматиста уже многие годы впряжены в идеологическую колесницу власти, его моральный облик не только идеализируется, но просто искажается. Правда об Алехине-человеке остается в СССР государственной тайной.

Уже с первых шагов советской власти будущий чемпион мира безошибочно усвоил сложнейшие правила новой «игры» (ошибся он лишь раз, но об этом ниже). Без особых колебаний он переметнулся в лагерь победителей и стал служить им не за страх, а за совесть, выполняя чуть ли не мокрую работу в одесской комиссии по изъятию ценностей у буржуазии. Номенклатурная должность требовала причастности к партийному клану, и Александр Алехин стал членом РКП(б). Революции, как известно, свойственно «отвергать своих детей», «замела» она и Алехина. Заочный суд одесской ЧК над шахматистом был короток и суров — расстрел. Беседа между Федором Богатырчуком и мастером Вильнером, сотрудником Одесского военного трибунала, демонстрирует нам дальнейшие «кадры» далеко не джеймсбондовской ленты. За не-

сколько часов до приведения приговора в исполнение Вильнер обратился за помощью к Раковскому, тогдашнему председателю украинского Совнаркома. Партийный вождь, к счастью, был знаком с шахматными достижениями русского маэстро — в ту же ночь Александру Алехину даровали жизнь и свободу.

О гуманном жесте новой власти Алехин никогда не забывал и при каждом удобном случае старался продемонстрировать свои к ней верноподданнические чувства. Советская шахматная историография постоянно пользуется сусальной посланием чемпиона мира к советским шахматистам, отправленным им из амстердамской гостиницы «Карлтон» по случаю 18-й годовщины Октября. Голландская эпистола была не первым документом беспринципности Алехина. Федор Богатырчук вспоминает: «Во время турнира (это о чемпионате страны 1927 года. — Э. Ш.) мы пережили легкий шок. В зал вошел торжествующий Крыленко и прочитал телеграмму, полученную им от Алехина, в которой тот поздравлял нас, советских шахматистов, с годовщиной октябрьского переворота, названного в телеграмме «революцией», и желал нам успеха в области шахматного искусства, способствующего развитию пролетарской культуры. Я все готов простить Алехину, но не эту телеграмму. Очевидно, она была написана во время одного из приступов «тоски по родине», которой страдал наш шахматный гений...» (Следует предполагать, что эта телеграмма-панегирик советской власти исчезла при ликвидации товарища Крыленко.) Старейший из живущих русских шахматистов Федор Богатырчук все же ошибается — телеграмму Алехина к Крыленко продиктовали весьма прозаические причины: победа над Капабланкой тогда была лишь вопросом дней, и будущий чемпион мира обеспечивал себе «паблисити» по обе стороны океана.

За многие годы отечественному «алехиноведению» удалось убедить шахматных болельщиков в том, что

Родина-де поручила чемпиону защиту своей спортивной чести, а он, влекомый честолюбием, оторвался от нее, в чем с самого начала и раскаивался. Правда же опять представляется в другом ракурсе. Вторично слово Федору Богатырчуку: «Алехин окончил институт иностранных языков в Москве и поступил на службу в одно из советских учреждений, имевших филиалы за границей. Однако многочисленные просьбы как учреждения, так и его лично о разрешении выехать за границу неизменно отклонялись. К счастью Алехина и, конечно, всех шахматистов, все образовалось совершенно неожиданным образом. Во время учебы у Алехина начался роман со студенткой института, делегаткой швейцарской секции Коминтерна, закончившийся законным браком под портретами Маркса и Ленина. А еще позже, в установленный природой срок, появилась очередная надежда на алехинского наследника. Будучи истой швейцаркой, супруга Алехина выразила категорическое желание освободиться от своего приятного бремени только у себя на родине — сиречь в Швейцарии. Вполне естественно, она выразила также стремление, чтобы в этот момент вблизи ее находился законный супруг. Так как власти ее справедливого требования выполнить не хотели и продолжали в визе Алехину отказывать, то настойчивая делегатка добилась приема у самого Ленина... На сей раз Алехин визу получил.

Г-жа Алехина благополучно родила сына и, как полагается правоверной коммунистке, выразила желание вернуться на родину всех трудящихся. Что произошло между супругами, покрыто мраком неизвестности. По-видимому, Алехин отказался возвратиться, и супруга укатила в Москву одна, оставив плод любви несчастной на руках Алехина... Шведский шахматный меценат Кольин предложил взять сына Алехина на свое попечение и в будущем предоставил ему возможность получить высшее образование. Во время олим-

пиады 1964 года молодой Алехин, не говоривший ни слова по-русски, был в числе не игравших членов шведской делегации... Такова истинная эпопея Алехина, о которой известный советский шахматист и кагебист Котов не упоминает ни слова». К сказанному приходится добавить один штрих: на люцернской олимпиаде 1982 года Алехин-Кольин тоже присутствовал. Азами русского языка он как-то овладел, но общаться с ним было невозможно — этот, казалось бы, почтенный господин успешно выполнял функции «шестерки» представителей своей давней родины.

С блеском победив Капабланку, Алехин, во вред шахматному искусству, предпринял потом все, чтобы отгородиться от встреч с достойными соперниками. Даже советский «Шахматный словарь» в статье «Первенство мира личное среди мужчин» должен был признать: «Алехин не дал реванша Капабланке, не сыграл матча с Нимцовичем, зато сыграл два матча с Боголюбовым, имевшим на это меньше моральных прав». И все же реванш, хотя далеко не полный, состоялся, причем все в том же Буэнос-Айресе. Тут, в аргентинской столице, в августе-сентябре 1939 года, была проведена 8-я по счету и первая военная шахматная олимпиада. В командном зачете победили немцы, а главный приз на первой доске достался Капабланке, второй — Алехину, третий — Петрову (Латвия). В матче Куба-Франция Капабланка, к сожалению, не пожелал принять участие.

О жизни Александра Алехина в годы Второй мировой войны советская шахматная литература стыдливо умалчивает. Во время аргентинской олимпиады, когда еще думалось, что немецкая армада поломает свои зубы на линии Мажино, Алехин как капитан команды Франции запретил ее участникам разговаривать с немецкими шахматистами. Он несколько раз выступил по аргентинскому радио и клеймил фашистских агрессоров. Чуть позднее, когда почти вся Европа

лежала у ног фюрера, Алехин диаметрально сменил вехи. По свидетельству С. Тартаковера, Алехин после победы фашизма рассчитывал стать шахматным диктатором Европы.

Из Южной Америки Алехин вместе со своей четвертой женой, американкой Грейс Вишар, которая, кстати, была на 16 лет старше своего мужа, вернулся во Францию. Вскоре он согласился принять участие в восьми турнирах, организованных оккупантом на территории покоренной Европы. Уже в марте 1941 года в «Паризер Цейтунг» появилась серия антисемитских статей Алехина: «Judisches und arisches Schach». Об одном из этих опусов Ф. Богатырчук говорит: «Эту статью я сам читал, и подпись Алехина под ней видел. Основное положение статьи: евреи любят шахматы только из-за жажды обогащения, в опровержении не нуждается, настолько оно несправедливо и смешно. Но нацистам статья понравилась, и Алехин получил разрешение для поездок...» После войны автор антисемитского «исследования» сначала утверждал, что гитлеровская цензура подвергла тексты изменению, значительно исказив их смысл. Никого этот довод не убедил, после чего Алехин вообще отказался от авторства, хотя не переставал защищаться тем, что вынужден был идти на многое ради спасения своей жены-американки. Но на компромисс с нацистами Алехина все же толкнули опять-таки не идеологические, а сугубо меркантильные соображения. Вилла его под Парижем была реквизирована эсэсовцами (заметим: чемпион мира имел право пользоваться некоторыми комнатами особняка). В доме хранилась богатейшая коллекция картин и других произведений искусства. Алехин мечтал не только сохранить коллекцию, но значительно ее расширить за счет гастролей по странам оккупированной Европы. Мечтам Алехина не дано было сбыться.

В крайне напряженной послевоенной ситуации группа шахматистов, возглавляемая экс-чемпионом мира Максом Эйве, развернула широкую антиалехинскую кампанию. Лидера мировых шахмат обвинили в коллаборационизме с нацистами. Американцы Файн и Денкер, например, заявили в печати, что откажутся от участия в турнирах, на которые будет приглашен чемпион мира. Организаторы первого послевоенного Гастингского турнира все же рискнули пригласить Александра Алехина, но вынуждены были поспешно ретироваться, поскольку все участники турнира выступили против этой инициативы. На специально созванной там конференции участники новогоднего турнира поддержали свои обвинения и потребовали незамедлительного возвращения Алехина из Португалии во Францию. Шахматисты настаивали также на том, чтобы Алехин предстал или перед французским правосудием, или перед дисциплинарной комиссией Французской шахматной федерации. Реакция европейских и американских мастеров на поведение Алехина в годы войны все еще была так остра, что именно в Гастингсе Макс Эйве предложил лишить Алехина звания чемпиона мира. Файн тогда же значительно модифицировал это предложение. Выход из создавшегося положения ему виделся в проведении матча-турнира «шести»: Эйве, Решевского, его — Файна, Кереса, Ботвинника, Смыслова и, быть может, даже Алехина, если, конечно, последний сумеет оправдать свои военные годы. Победитель такого матча-турнира, по замыслу американца, должен был быть провозглашен новым чемпионом мира.

Пока шли разговоры, Алехин предпочел отсидеться в Португалии и не возвращаться во Францию. Програнную «позицию» с «Паризер Цейтунг» он тонко парировал желанием разыграть матч на звание чемпиона мира с... Михаилом Ботвинником.

Концепции как Эйве, так и Файна не пришлись по вкусу Шахматной федерации СССР, которая стремилась к тому, чтобы будущий чемпион мира (не без оснований предполагалось, что им станет советский гроссмейстер) одолел, прежде всего, самого Алехина. О прекрасные, благие времена! Теперь даже ФИДЕ помогла СССР, только чтобы, не дай Бог, Карпов не встретился с Фишером. Как бы там ни было, в феврале 1946 года Михаил Ботвинник формально вызвал Алехина на матч. На наивный вопрос: «Почему же советский чемпион захотел играть с белогвардейцем, участником фашистских турниров, коллаборационистом и ренегатом?» — тривиально, но по-гомосоветиковски точно ответил все тот же Котов: «Россия, подобно заботливой матери, поспешила с помощью к своему блудному сыну Алехину в самый трудный момент его жизни...» Неожиданная смерть Алехина в ночь с 24 на 25 марта 1946 года в номере гостиницы провинциального городка Эсториал, около Лиссабона, перечеркнула многие планы...

Алехин умер непобежденным, он вошел в историю как создатель блестящих комбинаций и глубоких стратегических систем, как неповторимый художник и утонченный техник. И все же, отмечая алехинские годовщины: день его девяностолетия и 55-летие со дня завоевания им пальмы мирового первенства, — нельзя забывать, что был он «двуликим Янусом», что, перефразируя известное: чемпионом мира можешь ты не быть, но человеком быть обязан...

Несколько лет тому назад в Монреале проводился турнир экстра-класса, в котором советские цвета защищали чемпион мира Карпов и два «экса» — Таль и Спасский. Монреальские газеты вздохнули и отмечали тогда, что на канадской земле находятся сразу три чемпиона СССР, имея в виду уже названных гроссмейстеров. На самом же деле в Канаде в то же время находился и *четвертый* советский чемпион, победитель

первенства СССР 1927 года Федор Парфеньевич Богатырчук.

27 ноября прошлого года старейшему русскому чемпиону исполнилось девяносто лет. Имя легендарного при жизни шахматиста вычеркнуто из советской шахматной литературы, кроме, пожалуй, единственного исключения. В «Шахматном словаре», изданном в Москве в хрущевское бабье лето, приведены некоторые турнирные таблицы советских чемпионов, есть и отчет о первенстве 1927 года. Там-то фамилия Ф. Богатырчука и отмечена первой.

Федор Парфеньевич Богатырчук — патриарх русских шахмат, воистину «последний из могикан». Он сочемпион России, четырехкратный обладатель бронзовых и дважды серебряных медалей чемпионатов своей родины. На Втором международном турнире в Москве в 1935 году он сделал почетные ничьи с гигантами: Эммануилом Ласкером и Хозе Раулем Капабланкой — и сокрушил будущего шахматного короля М. Ботвинника. С последним он разыграл пять партий, из которых выиграл три и две свел вничью. Это ему М. Ботвинник подарил свою книгу с такой надписью: «Ф. П. Богатырчуку с надеждой, что он изменит свое плохое мнение о моей игре». Интересно отметить, что Ф. Богатырчук, шахматист-эмигрант, и через 43 года после последнего старта в чемпионате СССР по процентному показателю на 100 и более разыгранных партий в первенствах страны занимает третье место за Ботвинником и Талем!

Множество раз выигрывал шахматист и чемпионаты Киева. Долгие годы по столице Украины ходила такая частушка:

Ловлю партнеров в паутину,  
Как мух безжалостный паук,  
И заменяю я рутину  
Борьбой идей — Богатырчук!



Федору Парфеньевичу пошел девяносто первый год... Его подпись стоит под Пражским манифестом, он единственный оставшийся в живых член Президиума КОНР. Доктор Ф. Богатырчук принадлежит к пионерам русской рентгенологии. В 1955 году за работу «Стареющий позвоночник человека» он получил приз и медаль имени Баркляя. Применяя рентгеновские лучи, ученый констатировал эволюцию кальция, его количественно-качественные изменения в позвоночнике человека. Достижение нашего соотечественника используется сейчас для предотвращения преждевременного накопления химического элемента наружными краями костей, что значительно облегчает страдания больных. И еще один штрих, характеризующий кипучую энергию Федора Парфеньевича: в 50-е годы он был председателем украинских федералистов-демократов и редактором печатных органов объединения.

Поэт ошибся, утверждая: «год пролетел, шурша стихами и шахматной стуча игрой...» Не до звуков сладких было в 1982 году, да и слишком много «стука» было вокруг шахмат, нам же остаются одни рефлексии, воспоминания, истории манящей игры...

#### БИБЛИОГРАФИЯ

- Богатырчук Ф. П. Мой жизненный путь к Власову и Пражскому манифесту, Сан-Франциско, 1978, изд. СБОНР;  
Gawlikowski S. Olimpiady szachowe 1924-1970. Warszawa, 1972.  
Gawlikowski S. Walka o tron szachowy. Warszawa, 1976;  
Moran P. Agonia de un genio! Madrid, 1972;  
Тартаковер С. Г. Встречи с гигантами. — «Новоселье», №№ 42-44, Нью-Йорк, 1950;  
Штейн Э. Открытое письмо Анатолию Карпову. — «Время и мы», № 51;  
Шахматный словарь. Москва, 1964;  
«Континент», № 14 (стр. 334).

## **Условия подписки на журнал «КОНТИНЕНТ»**

На 1 год — 40 н. м.; на 6 месяцев — 20 н. м.

Цена одного номера — 12 н. м.

Пересылка за счет подписчика.

Подписка может быть оформлена в генеральном представительстве «Континента» по адресу:

**A. Neimanis · Buchvertrieb  
8000 München 40 · Bauerstraße 28 · Germany**

а также у корреспондентов журнала (адреса на второй странице обложки) или у представителей «Ассоциации друзей «Континента»:

**США: Вост. побережье — Э. Штейн (E. Sztein),  
594 Chestnut Ridge Road  
Orange, CT. 06477, USA**

**Генеральное представительство  
«КОНТИНЕНТА»**

**A. NEIMANIS BUCHVERTRIEB  
8000 München 40 · Bauerstr. 28 · Germany**

# Литература и время

Марран

## БУЛАТ ОКУДЖАВА И ЕГО ВРЕМЯ

### 1

Весенним ярким днем покупаю на Калининском проспекте пластинки. За окном — солнце, нагретые плиты улицы. Белые небоскребы министерских зданий распахнули свои многоэтажные «паруса» рядом со старым Арбатом, сохранившимся как реликвия, как символ юности нескольких поколений московских интеллигентов.

Я покупаю пластинки Окуджавы, на одной из которых «Песенка об Арбате».

Ты течешь, как река,  
Странное название,  
И прозрачен асфальт,  
Как в реке вода.  
Ах, Арбат, мой Арбат,  
Ты мое призвание,  
Ты и радость моя,  
И моя беда.

Будучи прочитанными, эти строки не дают и части того эмоционального эффекта, что возникает в авторском исполнении. Но ведь и все его песенное творчество — триединство голоса, гитарной мелодии и поэтической строки. Его песни не живут в другой — актерской интерпретации, а слова блекнут на бумаге. Голос же, тягучий, вибрирующий, словно резец скульптора из глыбы камня, извлекает из мелодизирован-

ного стихотворения образ и чувство, мысль и поэтическую гармонию.

Он звучит со всеми своими неповторимыми интонациями в моих ушах при чтении названий на дисковой наклейке: «Песенка о московском муравье», «Часовые любви», «Живописцы, окуните ваши кисти», «Батальное полотно».

Продавщица заворачивает пластинку, заклеивает пакет клейкой лентой. Даже сам по себе такой будничный факт покупки значит для нас немало. Сколько же лет понадобилось для того, чтобы эта, казалось бы, стоящая вне всякой политики песенная поэзия начала распространяться узаконенно, вышла за пределы магнитофонного подполья, стала фактом легальной советской культуры.

Итак, поговорим о Булате Шалвовиче Окуджаве, его песнях и исторических романах, его месте в духовной жизни современного российского общества.

Казалось бы, место это обозначено довольно четко. Булат Окуджава, по словам драматурга Александра Володина, «положил начало созданию фольклора городской интеллигенции». И это справедливо сказано, ибо сам строй ассоциаций, система образов поэта близки прежде всего интеллигентному горожанину, но я бы уточнил: горожанину определенного возраста, родившемуся примерно между 1930 и 1950 годами.

Те, кто моложе, могут воспринимать его, но они входили в жизнь, где магнитофонная музыка с ее обилием бардов была фактом бытовым, явлением повседневным. Они могли выбирать применительно к темпераменту, вкусу, уровню культуры. Выбирали же чаще всего Высоцкого, причины неслыханной популярности которого заслуживают особого социально-литературоведческого исследования. Так что Окуджава для них не главный.

Не главный он и для тех, кто старше, кому сейчас за шестьдесят. Они ближе к богатствам русской куль-

туры, уничтоженной революцией, к песенному трагическому надрыву эмиграции первой волны, к Вертинскому.

Для сорока-пятидесятилетних Окуджава — главный выразитель их печалей и радостей, их поэтического видения действительности. И эволюция его творчества, духовного мира в значительной степени отражает изменения, произошедшие в общественном сознании за последние десятилетия.

## 2

Первые его песни, напетые и мгновенно распространившиеся в магнитофонных записях в начале шестидесятых годов, несли в себе как будто традиционный набор романтических тем и образов — любовь, война, одиночество, восхищение женщиной, преклонение перед матерью. Они и впредь останутся в его творчестве, но как изменятся, какое новое поэтическое воплощение найдут!..

А пока «полночный троллейбус» мчит по Москве, «последний, случайный», «чтоб всех подобрать потерпевших в ночи крушенье, крушенье...»

Мир лирического героя ранних песен поэта наполнен ощущением юности, первой влюбленности.

Из конца в конец апреля путь держу я.  
Стали звезды и крупнее и добрее.  
Мама, мама, это я дежурю.  
Я дежурный по апрелю.

Еще раз скажу, что в написании эти строки не передают того пронзительного лиризма, который оставляет песня в авторском исполнении. Кажется, что создать ее мог только очень юный и очень чистый человек. Но ведь сказано же кем-то, что, если бы лю-

ди, старея, мудрея, набираясь жизненного опыта, сохраняли бы первозданную свежесть чувств юности, мир был бы наполнен великим множеством поэтов. Окуджава же сохранил такую свежесть, пройдя сквозь войну, нужду, одиночество, учительство, горький журналистский хлеб, литературное непризнание и многое другое, из чего каким-то чудом все-таки рождается поэт.

Ощущение юношеской чистоты оставляет и первая его повесть «Будь здоров, школяр!», в герое которого, щуплом интеллигентном подростке, заброшенном на дороги второй мировой войны, угадывается сам Окуджава. Она была опубликована в 1961 году в известном сборнике «Тарусские страницы», организованном Паустовским.

Среди авторов сборника — Владимир Максимов и Наум Коржавин, Юрий Трифонов и Юрий Казаков. Их литературная судьба только начиналась после лагерей, войн, ученичества. И кто мог знать тогда, что ждет их в предстоящее десятилетие. Одних — эмиграция и зачинательство свободного зарубежного русского слова, других — после блистательного взлета и признания — преждевременная смерть и не менее преждевременное добровольное молчание. Но тогда все было внове, в свежести начала. Их вел, им пел «надежды маленький оркестрик под управлением любви».

То было время надежд и ожиданий, когда еще чуть-чуть, но все же приподнялась завеса чугунной сталинской эры, «поправшей души и тела». Эры остревенелой жестокости и иезуитской демагогии. И не смертельно страшно уже стало сказать живое человеческое слово. Пусть тебя не напечатают, пусть почти недостижимой остается журнальная, книжная страница — можно продекламировать, пропеть в магнитофонное ухо.

После многих лет казенного патриотизма можно сказать естественно и просто, с трагическим вздохом:

Ах, война, что ты сделала, подлая.  
Стали тихими наши дворы.  
Наши мальчики головы подняли.  
Повзрослели они до поры.

Или по-другому, впустив в стих мужественную  
киплинговскую интонацию:

Вы слышите, грохочут сапоги.  
И птицы ошалелые летят.  
И женщины глядят из-под руки.  
Вы поняли, куда они глядят.

Две песни о войне, увиденной разными глазами,  
одна — с материнской печалью, написанная словно  
бы пятидесятилетним исстрадавшимся человеком, и  
другая — со всем комплексом молодых ощущений, с  
залихватской юношеской горестностью:

А где же наши женщины, дружок,  
Когда вступаем мы на свой порог?  
Они встречают нас и вводят в дом.  
А в доме нашем пахнет воровством.  
А мы рукой на прошлое: вранье...

Тема солдата, усложняясь и преломляясь по-раз-  
ному, пойдет по всему его песенному творчеству, то  
давая образ молодого, сильного животного:

Возьму я вещмешок, шинель и каску,  
В защитную окрашенную краску!  
Ударю шаг по улицам горбатым,  
Как славно быть солдатом, солдатом, —

то создавая лик прощенного в конце концов грешника:

Как верит солдат убитый,  
Что он проживает в раю.

Из-под напластований фальшивых поэтических восторгов, объектом которых служила Москва, как же свежо прозвучали песни его городского цикла. Пелось в них не о Красной площади — об Арбате, приюте старой интеллигенции, не об улице Горького — о Тверской с ее исчезнувшими крашеными заборами.

В сущности, уже здесь, в молодом упоении жизнью («Как с любовью мы проходим по Тверской»), обозначается столь значительная в его позднем творчестве тема страны, родины. Главной магистралью ее еще служит Арбат, а в последующем развитии исторической темы станет южный тракт. Пока же историческое видение поэта не уходит дальше двадцатых годов, романтики гражданской войны:

Я смотрю на фотокарточку,  
Две косички, строгий взгляд.  
И мальчишеская курточка,  
И друзья кругом стоят.

Подспудный смысл этой «Песенки о комсомольской богине», чьи «пальцы тонкие прикоснулись к кобуре», не понять, если не вспомнить о нашем стремлении в разоблачительный период конца пятидесятых годов хотя бы ненадолго опереться на двадцатые, с их идеализмом и чистотой. У многих из нас отрицание прошлого советской системы еще не шло дальше 1934 года, убийства Кирова, положившего начало открытому массовому государственному террору, а ощущение связи всех последовавших событий с розовым детством строя, с его переоценкой старых, нравственных ценностей: добра, правды, сострадания, — еще не было столь явственным, как теперь, после четвертьвекового общественного размышления над природой «замечательного» социалистического эксперимента.

Евтушенко еще мог срывать аплодисменты молодой аудитории, сопрягая в своих стихах понятия



правды и революции, а Рождественский — тревожа тени только что реабилитированных полководцев гражданской войны, выставляя их в качестве новейшего нравственного эталона.

Да к тому же сказывалось личное, родовое отношение к временам юности отцов. И какими уж там ни были те отцы с их молодым фанатизмом, как бы история ни судила их сейчас, большинство из них жизнью расплатилось за свои политические иллюзии, так и не увидев взрослыми своих детей, как не увидел своего сына взрослым грузинский коммунист Шалва Окуджава.

Четверть века спустя после гибели отца сын, отдавая дань его прошлому, споет:

Но если вдруг, когда-нибудь мне уберечься не удастся,  
Какое б новой сраженьем ни покачнуло мир земной.

Я все равно паду на той, на той единственной

гражданской.

И комиссары в пыльных шлемах

Склонятся молча надо мной.

### 3

Одна из главных в творчестве Окуджавы — тема любви, женщины как истока и олицетворения жизни. Собственно, все его песни обволакивает некая особая, романтическая, возвышенная атмосфера восторженно-изумления, рыцарственного преклонения перед женщиной.

Здесь Окуджава — наследник и продолжатель свойственного русской культурной традиции размышления над «самосознающей женственной сутью мира», уходящей своими истоками в творчество Владимира Соловьева, и поэтического воспевания этой сути. Восприняв соловьевское учение о Софии, Блок в своей

любовной лирике прошел путь от мистических философских медитаций «Стихов о прекрасной даме» с их образами Вечно-юной, Девы-Зари-Купины, Владычицы вселенной к возвышенному и вместе с тем реальному образу Незнакомки, раскрываемому в деталях современного поэту городского быта.

Тема женственности как воплощения особой интимной сущности мира — главная и в поэзии Пастернака. Уже в ранних его стихах она неотделима от всеохватывающего восприятия жизни, ощущения ее предельной полноты. Да и в конце своего творческого пути поэт делает программное заявление: «Бросаящая вызов женщина, ты поле моего сражения».

Посмотрим, как развивается и трансформируется эта тема у Булата Окуджавы. Сначала она реализуется в открытом прославлении любимой, исполняемом в застольной пышно-метафорической манере с некоторой восточной избыточностью эпитетов:

Не бродяги, не пропойцы  
За столом семи морей,  
Вы пропойте, вы пропойте  
Славу женщине моей.  
Вы в глаза ее взгляните,  
Как в спасение свое...

Поэт даже и не пытается создать образ воспеваемой женщины. Это скорее демонстрация чувства, юношеской страсти, склонной преувеличивать всякое жизненное проявление. Иногда такая гиперболизация чувства приводит к ложной многозначительности:

Красивые и мудрые, как боги,  
И грустные, как жители земли.  
(«Песенка о московском муравье»)

Спустя годы его поэтическая манера меняется, обретает сюжетные рамки, глубже становятся ассо-

циации, точнее детали, стереотипичнее изобразительность. Лирический герой песни уже не пылкий юноша, а зрелый, печальный, одиноко живущий мужчина, не потерявший, однако, способности к порыву, к чувству восторга перед женщиной.

Тьмою здесь все занавешено.  
И тишина, как на дне.  
Ваше Величество Женщина,  
Как вы решились ко мне.  
Тусклое здесь электричество.  
С крыши сочится вода.  
Женщина, Ваше Величество,  
Как вы решились сюда?

Ее явление на грани сна, чуда:

Кто вы такая, откуда вы?  
Ах, я смешной человек.  
Просто вы дверь перепутали.  
Улицу, город и век.

Это блоковская Незнакомка нынешнего городского поэта, его Прекрасная дама.

Литературные реминисценции порождают и один из лирических шедевров Окуджавы «Прощание с новогодней елкой». Образ рождественской елки как символа вечной женственности в свое время был запечатлен Пастернаком в его знаменитом стихотворении «Вальс со слезой»:

Яблоне — яблоки, елочке — мишки.  
Только не этой, эта в покое.  
Эта совсем не такого покроя.  
Эта — отмеченная избранница.  
Вечер ее вековечно протянется.

Этой нимало не страшны пословицы.  
Ей небывалая участь готовится.  
В золоте яблоч, как к небу пророк,  
Огненной гостью взмыть в потолок.

Пастернак утверждает непреходящую молодость женского начала бытия, его жизнетворящую силу. У Окуджавы совсем другое ощущение темы. Мы участники некоего трагического театрального действия, изображающего драму старения, надвигающегося одиночества. Все здесь в цвете и в звуке:

Синяя крона, малиновый ствол.  
Звяканье шишек зеленых.  
Где-то по комнате ветер прошел.  
Там провожали влюбленных.

Метафорический строй чисто городской, бытовой:

Вот и январь накатил, налетел  
Бешеный, как электричка.

Крестовина, где укрепляют елку, превращается в крест, на котором распинают женственность и красоту:

И в суете тебя сняли с креста,  
И воскресенья не будет.

Уход из жизни, необходимость и неотвратимость конца подчеркивается щемящей сердце нотой любви и жалости, остающейся в мире:

Ель, моя ель, уходящий олень,  
Зря ты, наверно, старалась.  
Женщины той осторожная тень  
В хвое твоей затерялась.

И, словно прорыв в вечность, — финал:

Ель, моя ель, словно Спас-на-крови,  
Твой силуэт отдаленный,  
Будто бы свет удивленной любви,  
Вспыхнувшей, неуголенной.

Извечная лирическая тема здесь выходит из рамок абстрактных восклицаний и многозначительной декламации и вливается в реалии современной жизни, в строй религиозно-исторических ассоциаций, в искусное переплетение сюжетных линий, обретая тем самым философскую наполненность и глубину.

Трансформируется, углубляется постоянно повторяющийся сюжет неразделенной любви, любовного треугольника: он любит ее, а она — другого.

В «Чудесном вальсе» действие протекает в условных декорациях, будто бы вне времени:

Музыкант в лесу под деревом  
Наигрывает вальс.

Он наигрывает вальс то ласково, то страстно.  
Что касается меня, то я опять гляжу на вас,  
А вы глядите на него, а он глядит в пространство.

В «Заезжем музыканте» тот же сюжет развивается в ситуации вполне реальной — в провинциальном городке, куда забрел одержимый своим искусством музыкант:

Живет он третий день в гостинице районной,  
Где койка у окна всего лишь по рублю,  
И на своей трубе, как чайник раскаленный,  
Вздыхает тяжело, а я тебя люблю.

Но бытовая конкретность деталей отнюдь не приводит к приземленности действия. Все здесь поэтизируется, возвышается светом неразделенной любви,

трагизмом обреченности, высокой температурой художественного чувства и мысли, которые создаются характерными для позднего Окуджавы творческими средствами. Любовь неотделима от искусства, быта, человеческих судеб. Она над всем и во всем.

Троица героев плывет в мелодии песни, во времени и пространстве воображения художника, к поразительному по своей стилевой неожиданности и вместе с тем точности мысли присловью: «Судьба, судьбы, судьбе, судьбою, о судьбе».

#### 4

Мне представляется, что начало семидесятых годов означало радикальный перелом в творчестве Окуджавы. В это время произошел переход от успешного и находящего огромную аудиторию песенно-поэтического отображения чувств и помыслов определенной социальной среды российского общества, настроений одиночества, любви и вместе с тем радости существования к более сложному и масштабному философско-историческому осмыслению действительности, к вовлечению в его творческий мир крупных культурно-исторических пластов. При этом лиризм ощущения все более явственно сопутствовал лиризм мышления, а эмоциональное начало оплодотворяло напряженный интеллектуализм поэтического действия. Следствием подобного перелома можно считать и обращение поэта к исторической беллетристике, в свою очередь оказавшей воздействие на его песенное творчество.

Именно в семидесятые годы создаются его лирические шедевры, прочно вошедшие в духовную жизнь современной российской интеллигенции и ставшие неотделимой частью нашего культурного богатства. Каждый из них вместе с тем обозначает вершинные

достижения в определенном направлении творчества поэта.

Тема места художника в современном мире, взаимоотношений его с жизнью, временем всегда присутствовала в песнях Окуджавы. Уже в шестидесятые годы его лирический герой, подводя итоги прожитой жизни, ведет разговор с Верой, Надеждой, Любовью («Опустите, пожалуйста, синие шторы»):

Три сестры, три жены, три судьи милосердных  
Открывают бессрочный кредит для меня.

Слабость и греховность героя искупаются покаянностью настроения и чистотой помыслов — типичное для раннего Окуджавы противопоставление. Герой более поздней «Грузинской песни» также верит:

Царь небесный пошлет мне прощенье за все  
прегрешенья,  
А иначе зачем на земле этой вечной живу.

Жизнь ему видится в ярких красках, в бурном проявлении чувств и этических символах, словно в театральном застольном действе:

В темно-красном своем будет петь для меня моя Лали,  
В черно-белом своем преклоню перед нею главу.  
И заслушаюсь я, и умру от любви и печали,  
А иначе зачем на земле этой вечной живу.

Такое полнокровное пантеистическое восприятие бытия постепенно приводит героя Окуджавы к мысли о Боге как источнике и вместилище всего сущего. Вот почему вершинным воплощением этих многолетних поэтических раздумий о жизни и человеческом предназначении является песня «Молитва Франсуа Вийона», в которой Окуджава достигает редкостного даже для него слияния гармонично-музыкального начала с

глубочайшим философско-религиозным ощущением. Тягучая, томительная мелодия, словно исходящая из подсознания, доводит до предела исповедальную страстность разговора поэта с Богом:

Пока земля еще вертится,  
Пока еще ярок свет,  
Господи, дай же ты каждому  
Чего у него нет.

Словно четки, перебирает поэт страсти и слабости человечества, его порывы, надежды и земные заботы, прося снисхождения и заступничества:

Умному дай голову,  
Трусливому дай коня,  
Дай счастливому денег  
И не забудь про меня.  
Пока земля еще вертится,  
Господи, твоя власть,  
Дай рвущемуся к власти  
Навластвоваться всласть,  
Дай передышку щедрому  
Хоть на исходе дня,  
Каину дай раскаянье,  
И не забудь про меня.

Этот человеческий возглас: — И не забудь про меня! — мольба облегчить земные тяготы — сродни возгласу распятого Христа: «Эли, Эли, лама савахвани!» («Боже Мой, Боже Мой, для чего Ты Меня оставил!»). Прося милости у Бога, поэт и сам в этот момент высшей доверительности, безмерного вбирания в себя всех страданий мира и прощения его грехов, становится рядом с Богом, как бы прикасаясь к Нему, словно проходя на момент огромную дистанцию, отделяющую человека от Бога:



Я знаю, ты все умеешь,  
Я верую в мудрость твою,  
Как верит солдат убитый,  
Что он проживает в раю,  
Как верит каждое ухо  
Тихим речам твоим,  
Как веруем и мы сами,  
Не ведая, что творим.

Появление этой песни, с такой полнотой воплощающей в поэтической форме нравственную сущность современного христианского мироощущения, — конечно, отнюдь не случайный эпизод в духовной жизни нашего общества. Воспитанная в традициях примитивного атеизма, вульгарного материализма, возведенного в степень политической государственной догмы, современная русская интеллигенция (во всяком случае, наиболее свободомыслящие ее круги) все более напряженно и пытливо обретает свой внутренний мир в религиозно-философских исканиях. Одних эти искания в слиянии с обостренным национальным чувством приводят к православию, других — к попыткам освоить начала восточных религий: буддизма, индуизма, философии йогов; третьи обращаются к русской идеалистической мысли начала XX века, к наследию Бердяева, Булгакова, Флоренского, Шестова. Словно человек, изголодавшийся на тюремном пайке, мы пополняем свой духовный рацион из всех мало-мальски доступных источников.

Напор общественной потребности в духовной пище так велик, что он в некоторых случаях проламывает привычные идеологические нормы, заставляя государственные издательства выпускать труды идеалистических мыслителей, совершенно не приемлемых марксистской философией, да и к тому же таких, о которых еще недавно слышали только специалисты. В 1982 году, например, были изданы сочинения автора

«Философии общего дела» Н. Ф. Федорова, практически не успевшие при 50-тысячном тираже дойти до открытой продажи, так велик оказался спрос. Поговаривают о предстоящем издании Владимира Соловьева. Самиздат, естественно, идет впереди. Тот же Соловьев, Бердяев, книги А. Меня распространяются наряду с Высоцким и «Хроникой текущих событий».

Литература эта оказывает глубочайшее воздействие на человеческие души. Все чаще узнаешь о молодых или не очень молодых людях, бросающих привычные конформистские занятия ради изучения Библии, безобрядового религиозного образования.

Государство уже ощутило опасность для себя такого свободного духовного самовоспитания. Библейские кружки выслеживаются и преследуются наряду с диссидентскими.

Разумеется, было бы непростительным упрощением впрямую встраивать творчество Окуджавы в русло такого рода религиозно-философских исканий. Смыкание идет в глубинном, подспудном биении творческой мысли народа, выносящей на поверхность поступок, направленный в конечном счете на осмысление действительности, — будь то создание литературного произведения или чтение запретного философа.

Творчество подлинного художника — всегда цепь поступков. Да ведь и просто верить в человека, жить, думать, не потерять себя в этом чугунном государстве, не раствориться в конформизме, в погоне за благами, не подвывать во всеобщем идеологическом хоре — разве это не поступок?

Мне вспомнилось, как где-то, если не изменяет память, в начале семидесятых годов в Московском доме литераторов состоялся вечер Окуджавы. Публика ломилась сквозь выставленные кордоны, но что-то долго не начинали — видно, утрясали, согласовывали, просили разрешения. Поэт ходил в толпе, заполнившей вестибюль, в своей всегдашней замшевой курточ-

ке, суховатый, изящный, сдержанный. Потом начали. Он вышел на сцену, говорил о себе, о том, как не признавали, не принимали, пел песню за песней в хронологическом порядке и под конец — «Песенку о Моцарте»:

Моцарт на старенькой скрипке играет,  
Моцарт играет, а скрипка поет,  
Моцарт отечества не выбирает,  
Просто играет всю жизнь напролет.

Позади оставались надежды шестидесятых годов, когда казалось, что вот-вот краешек грядущей демократии и свободы покажется на горизонте и ради этого стоит работать, класть жизнь. Но проходил процесс Синявского и Даниэля, терпела крушение экономическая реформа, шли чешские события, начиналась эмиграция.

Где-нибудь на остановке конечной  
Скажем спасибо и этой судьбе,  
Но из грехов нашей родины вечной  
Не сотворим мы кумира себе.

Ах, ничего, что всегда, как известно,  
Наша судьба — то гульба, то пальба,  
Не оставляйте надежды, маэстро,  
Не убирайте ладони со лба.

Он и не оставлял. Тема Страны, ее пространств, ее истории все более властно входила в его творчество. Уже не влюбленный московский юноша шел по Арбату, а бедный Авросимов — молодой, розовощекий, провинциальный дворянин — скакал по большой дороге в обнимку с несчастным юным декабристом; князь Мятлев катил по южному тракту вместе со своей похищенной возлюбленной:

Забудем первый праздник  
И позднюю утрату,  
Когда луны колеса  
Затенькают по тракту.  
И силуэт совиный  
Склонится с облучка.  
И прямо в душу грянет  
Простой романс сверчка.

6

В исторической беллетристике Окуджава дебютировал в 1969 г. повестью о декабристах «Бедный Авросимов» («Глоток свободы»). Затем последовали «Похождения Шипова, или Старинный водевиль» и, наконец, вышедший в 1980 году отдельной книгой роман «Путешествие дилетантов».

Собственно, последнее название можно распространить на всю историческую прозу поэта, ибо ее герои выпадают из традиционных занятий и представлений своей среды, вводя в дело, которым они занимаются, в логику конформных действий, будь то ведение протоколов правительственной комиссии по расследованию заговора декабристов, слежка за семьей Льва Толстого или противодействие царской воле, утверждающей незыблемость брака, — алогизм чувства. Никто из них сознательно, осмысленно не противопоставляет себя системе, они отнюдь не бунтуют, бунт ведь тоже может стать профессией. Они просто следуют чувству. Их протест против жестокости, обусловленности жизни бессознателен и непрофессионален, и поэтому они дилетанты.

Даже образ Шипова, в начале повести самоуверенного русского Рокамболя, грозы карманных воров, по ходу действия претерпевает эволюцию, он становится таким Хлестаковым лакейского проис-

хождения, но Хлестаковым, научившимся печаловаться, жалеть своих невольных жертв и в финале возносящимся на небо.

Они все дилетанты — жандармский полковник Леюфлинг, из сочувствия к бедным влюбленным не решающийся выполнить приказ и арестовать их; благородный и великодушный князь Мятлев, беззаботно убегающий со своей возлюбленной на Кавказ. Есть что-то поэтически-инфантильное в такой чистоте чувств. Она сродни чистоте красок в детском рисунке, условности лубка. Люди, в сущности, добры и благородны, говорят нам, ну, а те, кто злы, те глубоко несчастны от своего плохого характера, и их можно пожалеть.

Давайте восклицать, друг другом восхищаться,  
Высокопарных слов не надо опасаться.  
Давайте говорить друг другу комплименты,  
Ведь это все любви прекрасные моменты.

«Путешествие дилетантов» — странный, непрофессиональный роман, где действие расплывчато и томительно затянуто, а сюжет долго бродит в волнах неопределенных и сентиментальных рассуждений, фарсовых поворотов, литературных реминесценций; реальность мешается со сновидениями, комедийные сцены с дидактическими рассуждениями. Видимо, к этому произведению нельзя подходить с теми же мерками, с какими мы подходим к обычному историческому повествованию, как нельзя подходить с мерками толстовского канона к «Доктору Живаго». Своими истоками проза Окуджавы, как мне думается, уходит к «Петербургу» Белого с его раскованной романной стихией, многоголосьем и языковой свободой. Вместе с тем в смешении возвышенного и земного, столь характерном для «Путешествия дилетантов», явственно проступают черты поэтического стиля автора, его мы-

шления, его видения мира, осязаемых и в песенно-поэтической и в прозаической строке.

Густая романтическая дымка окутывает действие. Сквозь нее лишь изредка пробиваются реалии Кавказской войны, с ее кровью, грязью, смертью и жестокостью, словно на миг увиденными глазами человека, прошедшего вторую мировую войну. Но — лишь на миг, ибо автор снова уводит нас в дебри причудливого поэтического повествования, на знаменитую дорогу, ведущую из Москвы на Кавказ, на которой, как на движущейся сцене, разворачивается действие.

Дорога, где едут наши влюбленные, — не просто мощный пыльный тракт, пересекающий страну с севера на юг, это путь, устланный культурными пластами России девятнадцатого века, вся романтическая приподнятость, вся песенно-романсовая поэтическая линия которой проходит вдоль нее. Ведь именно в крови и жестокости завоевания кавказских племен, в неудержимом веками продолжавшемся распространении империи рождалась поэзия Пушкина и Лермонтова, а позднее — ранняя проза Толстого. И на этом тугом, пружинном ковре надежд, слез, вдохновения, политических идеалов, дуэлей и ранних смертей вышивает свою лирическую историю о бедных влюбленных Булат Окуджава.

Характерно, что и в «Глотке свободы», и в «Путешествии дилетантов» избирается один и тот же период российской истории с его дворянскими упованиями, когда на общественную сцену еще не вышли дьячковы дети. Еще не было шестидесятников, с их круглыми, тонкими очками, длинными прядями волос и темпераментом, настоенном на унижении, чахотке и комплексе неполноценности. Еще вольное ренессансное дыхание Пушкина осязаемо было в воздухе российском, и не пахло грядущим — бешеной ненавистью народовольцев и непреклонной волей к власти их наследников — большевиков. И славянофильство было

еще благородным, романтическим размышлением о предназначении России, а не черносотенным крестным ходом.

Окуджава выбирает любезный его сердцу отрезок истории между 1825 и 1861 годами и живет в нем, поет, улыбается, ведет свою мелодию. Эта мелодия, проходя через прозу, рождает новые песенные шедевры, которым, возможно, было бы и не суждено появиться без попыток поэта обрести себя в исторической беллетристике. Такое взаимное оплодотворение поэзии и прозы особенно ощутимо в позднейших его песнях.

7

Одной из характерных черт нынешней российской общественной жизни является обостренное историческое сознание. В 1942 г. Эренбург говорил о том, что историческая память обретает силу морального оружия. Эти слова вполне приложимы и к нашему времени. Перелистайте страницы русскоязычных литературных и общественно-политических журналов, издаваемых как в России, так и в эмиграции. Кто только не размахивает подобного рода оружием? Марксисты, националисты всех оттенков, религиозные деятели — каждый находит свой ракурс исторической памяти, освещая минувшее своим идеологическим лучом, выбирая в прошлом наиболее удобное для своих идеологических упражнений время.

Впрочем, так было и в тридцатые-сороковые годы. И если Алексей Толстой в угоду сталинской империалистической идее обращался к образу Петра I, а Эйзенштейн — Ивана Грозного, то излюбленным периодом современных советских писателей националистической волны служит Киевская Русь — время самобытной национальной государственности, не

омраченной еще трагедией татарского завоевания и последующими послепетровскими западными влияниями.

Славянофильское сознание лучше всего себя чувствует именно в этих праисторических рамках. Здесь есть чем полюбоваться, на что опереться, от чего оттолкнуться в размышлениях о предназначении русского племени. Здесь ощущает это сознание корни национального идеала — нравственного, религиозного, государственного.

Ну, а основа, исток иного, не ограниченного национальными рамками направления русской культуры — в веке девятнадцатом. От Пушкина до Блока простирается поле духовной жизни нации, сумевшей преодолеть на том этапе традиционный изоляционизм, впитать в себя достижения мирового духа. В центре этой жизни, во всяком случае в первой половине века, — интеллигентный офицер, чаще всего дворянин, скиталец, рыцарь — герой пушкинской, лермонтовской, толстовской, а позднее и бунинской прозы. Он-то и становится героем поздних песен Окуджавы.

Не солдат второй мировой войны, вчерашний обитатель московского двора, а юный дворянин, мальчик в офицерских погонах входит в его песенный мир.

Наша жизнь не игра, собираться пора,  
Кант малинов и лошади серы.  
Господа юнкера, кем вы были вчера,  
А сегодня вы все офицеры.

Обратите внимание, атрибуты мужского быта теперь иные, не «вещмешок, шинель и каска, в защитную окрашенные краску», а малиновый кант, серая лошадь, аксельбант. И не арбатская мостовая, а гранитная Нева — символ империи прошлого века.

Пик этого поэтического осмысления истории — песня «Батальное полотно» с его изумительно тревожно-маршевым аккомпанементом.



Сумерки. Природа. Флейты голос мерный. Позднее  
катанье.

На передней лошади едет император в голубом  
кафтানে.

Белая кобыла с карими глазами, с челкой вороною.  
Красная попона, крылья за спиною, как перед войною.

Зримость, живописность изображения, вообще  
свойственные его творчеству, здесь обострены. Ка-  
валькада движется с какой-то жуткой, предельной  
реальностью сна.

Вслед за императором едут генералы, генералы свиты.  
Славою увиты, ранами покрыты, только не убиты.

Следом дуэлянты, флигель-адъютанты, блещут  
эполеты,

Все они красавцы, все они таланты, все они поэты.

Глуше, печальнее становятся гитарные ритмы.  
Словно застланными слезой глазами мы видим, как  
уходит ввысь, к небу, в запредельный мир это шест-  
вие, уводя с собой звуки, запахи, мысли, быт и куль-  
туру, надежды и трепет минувшей эпохи, унося с со-  
бой жизнь.

Все слабее звуки прежних клавесинов, голоса былые.  
Только топот мерный, флейты голос нервный да  
надежды злые.

Все слабее запах очага и дыма, молока и хлеба,  
Где-то под ногами и над головами лишь земля и небо.

И повтором, уходом в небытие:

Лишь земля и небо.

Будучи воспитанными в марксистских идеологи-  
ческих догмах, одна из которых утверждает вторич-

ность культуры, мы привыкли считать, что искусство обязательно должно идти от жизни, оплодотворяться непосредственными ее проявлениями. Творчество Окуджавы опровергает этот постулат. Оно все идет от культуры — истории, литературы, живописи.

Человек, прошедший через войну, он, в сущности, нигде не дал ее реального изображения, дали другие — Гудзенко, Межиров, Винокуров, к поколению которых, собственно говоря, и должен бы относиться Окуджава по возрасту и жизненному опыту. Но он вне школ именно вследствие самобытности и условности видения мира, своеобразия своего отношения к действительности.

Его нельзя причислить и к школе современных исторических романистов. Я бы не советовал по его романам изучать российскую историю, хотя они охватывают весьма внушительный ее отрезок. История, как и все другие проявления культуры, служащие материалом его творчества, переплавляется в поэтическом мироощущении, рождая мир страстей, поражающих своей подлинностью и становящихся явлением внутренней жизни целого поколения российской интеллигенции.

Но в чем же, однако, какая-то особая, интимная притягательность Окуджавы? Для ответа на подобный вопрос надо осознать истоки духовных потребностей современного советского общества. Оставшись без религиозной опоры, облакавшей всей системой обрядов постижение духовного идеала в доступные каждому формы, оно многие десятилетия ищет хотя бы паллиативную замену. Для человеческой массы, перебравшейся в ходе социальных катаклизмов нашего времени из деревни в город, такого рода идеал — в возвращении к традиционной народной жизни с ее исчезающим бытом и обрядами. Отсюда обожествление национального, возведение его в ранг религиозного начала.

У тех же слоев современной интеллигенции, которые в процессе приобщения к мировому духу теряют ярко выраженную национальную окраску, национальную бытовую традицию, роль родины играет отечественная культура, и тяготение к ее прошлому носит обостренный ностальгический характер. Именно в плане культуры, наивысших ее достижений постигается и усваивается этими слоями их духовно-нравственный идеал. И песни Булата Окуджавы, впитавшие в себя настой русской культуры в самых гуманистических, внутренне свободных ее проявлениях, создают для современного российского интеллигента, живущего в суетном и жестоком мире, некую обитель, сердцем постигаемый театр очищенных от всего мелкого, житейского страстей и облагороженных образов, дающих ему чувство духовной родины, якоря, за который хоть на время, хоть на вечер можно зацепиться в море конформизма и двоедумия. Вот почему его так просветленно любят, так сладко тоскуют слушая, и вот почему его творчество, идучи от культуры, становится фактом жизни.

Он не прячет, не укрывает процесса этого своего чудотворного, поэтического воплощения мира. Вот песня, которая так и называется «Я пишу исторический роман»:

В склянке темного стекла из-под импортного пива  
Роза красная цвела гордо и неторопливо.  
Исторический роман сочинял я понемногу,  
Пробираясь сквозь туман от пролога к эпилогу.

Реальный предмет, бытовой знак нашего времени, бутылка из-под импортного пива с цветущей розой, становится символом, своего рода магическим кристаллом, через который видится действительность. Но и увиденная сквозь него, переплавленная в творчестве, она все равно — часть жизни.

Каждый пишет, что он слышит,  
Каждый слышит, как он дышит,  
Как он дышит, так и пишет,  
Не стараясь угодить.  
Так природа захотела,  
Почему? Не наше дело,  
Отчего? Не нам судить.

Это уважение к жизни, восприятие ее как самоценной данности — характерная черта мировоззрения Окуджавы, да и не только Окуджавы.

«Когда я слышу о переделке жизни, — говорит Пастернак устами доктора Живаго, — я теряю власть над собою и впадаю в отчаяние. Переделка жизни! Так могут рассуждать люди, хотя может быть и видевшие виды, но ни разу не узнавшие жизни, не почувствовавшие ее духа. Для них существование — это комок грубого, не облагороженного их прикосновением материала, нуждающегося в их обработке. А материалом, веществом жизнь никогда не бывает. Она сама, непрерывно себя обновляющее, вечно себя перерабатывающее начало, она сама вечно себя переделывает и претворяет...»

Разумеется, такая концепция отнюдь не исключает свободы творческой воли, ибо «все предопределено, но свобода дана». Дана она и Окуджаве, поэту, творящему свой мир, идущему своей дорогой и тем самым занимающему свою особую позицию в культурной и общественной жизни современной России. Эта позиция вольно или невольно, сознательно или бессознательно формируется уже самим его постоянным обращением к дворянским началам русской культуры, к тому аристократическому благородству, которое стояло над национализмом лавочников и охотничьих, над шовинистической стихией, что, приходя на смену марксистскому догматизму, захлестывает и в наши дни пробивающиеся сквозь кору идеологических запретов ростки свободной творческой мысли.

### О ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ЕДИНОБОРСТВЕ

Медленное, но неуклонное распространение тоталитарной системы по всему миру вызывает невольное недоумение у многих неискушенных наблюдателей. В самом деле: как, каким образом, с помощью каких средств такая идеологически окаменевшая и экономически несостоятельная государственная машина добивается всеобъемлющего эффекта во внешнеполитическом аспекте? И я беру на себя смелость утверждать, что эффект этот — результат интенсивности и широты ее пропагандистских усилий.

Нам следует трезво осознать, что в многолетней борьбе за умы и души людей демократическая цивилизация проиграла прежде всего войну терминологическую, а следовательно и психологическую. Пользуясь социально привлекательными и политически спекулятивными клише, советская пропаганда, к примеру, в Третьем мире достигла гораздо большего, чем реальная материальная помощь, оказываемая этому миру Западом, причем в поистине огромных размерах.

Благодаря одному только психологическому воздействию советская и восточноевропейская пропагандистские машины сумели поставить (прямо или косвенно) на службу тоталитаризму большую часть оппозиционных течений демократического общества — от коммунистов и их попутчиков до экологов и террористов.

Мало того, она успешно действует и среди западного истеблишмента, искусно дирижируя социальными, политическими и профессиональными комплексами этой среды.

Совокупностью вышеуказанных методов тоталитарная пропаганда постепенно достигает основополагающей своей задачи — дестабилизации демократической системы и тех территориальных образований, которые могли бы попасть в сферу ее влияния, с целью последующего их захвата.

Для достижения своих глобальных целей тоталитарная система не жалеет никаких средств. Чтобы убедиться в этом, стоит только сравнить пропагандный бюджет Советского Союза с аналогичным бюджетом США, данные о которых были представлены недавно конгрессу страны соответствующими американскими организациями.

Возникает вопрос: что можно предпринять для исправления сложившейся ситуации?

В первую очередь, на наш взгляд, следует отказаться от тех условий игры, которые Советам удалось навязать Западу в период так называемой разрядки напряженности, ибо, в результате, демократические средства массовой информации, дипломатия и торговля стали послушно приноравливаться к тоталитарным законам и правилам, произвольно установленным в странах Восточного блока, без какой-либо *взаимности* с их стороны.

*Принцип взаимности* должен стать основополагающим во всех областях межгосударственных связей с тоталитарными режимами, будь то в дипломатической, торговой, военной или культурной. В противном случае, всякие контакты с ними превращаются в игру в одни ворота и в конечном счете сводит на нет все усилия Запада в установлении равновесия сил в современном мире.

Последовательное применение этого принципа будет производить необратимый психологический эффект в самых широких слоях тоталитарного общества: как в оппозиционно настроенной его части, так и в среде критически мыслящего партийно-госу-

дарственного истеблишмента, ибо односторонне уступчивая политика Запада до сих пор способствовала совершенно обратному, т. е. психологическому разоружению. Не надо забывать, что в случае экстремально критической ситуации, лишь они — эти две силы — способны будут предотвратить катастрофу или, во всяком случае, попытаются это сделать. Другой альтернативы в этом обществе нет.

В этом направлении огромную, если не историческую роль может сыграть радиовещание на языках тоталитарных стран. К сожалению, в силу целого ряда причин — политических, бюрократических, но в первую очередь материальных, это мощное средство психологического воздействия на самые широкие массы порабожденных народов используется Западом в далеко не соответствующей своим возможностям мере.

Польские события самого последнего времени наглядно показали, как без подстрекательства и политической агитации, пользуясь только объективной информацией и умело направляя ее, можно влиять на развитие ситуации в исключительно демократическом направлении и, тем самым, изменять ход истории.

В той же степени, но только с более долгосрочным расчетом исторически важно и всемерное распространение в странах Восточного блока неподцензурной литературы, которая способствует восстановлению в тоталитарном обществе исторической памяти, национальных, духовных и культурных ценностей, демократических идеалов. Здесь следует отметить, что возникающая сейчас в тоталитарных странах общественная оппозиция — это, пожалуй, единственная оппозиция в современном мире, не требующая для себя у Запада оружия или средств, она просит самого элементарного — информации, литературы и моральной поддержки. Если Запад сумеет удовлетворить эту ее жажду, остальное она — эта оппозиция — сделает сама.

Но, планируя психологическое наступление, нельзя забывать и о психологической обороне. Советской пропаганде в течение последних двадцати лет удалось внедрить в западное сознание несколько психологических «ловушек», с помощью которых Советам удалось загнать внешнюю политику Запада в угол единственной альтернативы «мир или война». В напряженном климате этой альтернативы выросло и утвердилось целое поколение политиков, дипломатов, журналистов и политологов, составляющих сегодня костяк государственного аппарата в демократических странах. Центробежная сила их однобоко сориентированной психологии на наших глазах увлекает мир к всеобщей катастрофе. Изменить этот климат можно, лишь сформулировав совершенно новую политическую философию, которая вызовет к жизни новые идеи и новых людей.

На наш взгляд, основой этой философии должна стать альтернатива «мир или капитуляция». Только отказавшись от односторонней капитуляции, мы сможем обеспечить прочный мир, ибо, как показала история (в частности, Мюнхен), всякая капитуляция неминуемо ведет к войне.



# Наша почта

## ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Многоуважаемый господин Редактор!

В 34-м номере Вашего журнала, в разделе «Литературный архив», напечатана статья Михаила Волина «Русские поэты в Китае». Публикации материалов о литературе нашей диаспоры можно лишь приветствовать, однако «шапка» «Литературный архив» должна сопровождать их далеко не всегда. В данном случае дело в том, что М. Волин написал свою статью не по записям, а по памяти, а ей, как известно, свойственно ошибаться. Воспоминания М. Волина грешат целым рядом неточностей, снижающих ценность публикации (сомнительная же подборка стихов — вопрос вкуса самого автора).

М. Волин в статье пишет: «В свободном мире из этой группы (о молодых поэтах. — Э. Ш.) осталось только трое... Валерий Перелешин — в Бразилии, Ларисса Андерсен (поэтесса предпочитает писать свое имя с двумя «с», а не с одним. — Э. Ш.) во Франции и пишущий эти строки — в Америке». Утверждение глубоко ошибочное.

В Калифорнии здравствует Мария Визи (Туркова), опубликовавшая в Китае две книги стихов. Санфранцисскую газету «Русская Жизнь» редактирует поэтесса и журналистка Юстина Крузенштерн-Петерец, а на Русской речке, в той же Калифорнии, живет поэтесса Виктория Янковская. Не забудем мы и редактора харбинского «Рубежа» Михаила Сергеевича Рокотова (Бибинова) — он живет под Сан-Франциско, и ему удалось вывезти из Китая весь свой богатейший литературный архив.

Говоря о судьбах поэтов, М. Волин признается: «Арсений Несмелов был вывезен «на родину», и его судьба мне неизвестна». Харбинская журналистка Е. А. Сентянина (мать В. Перелешина) сумела составить и вывезти из Китая список жертв НКВД, попавших в лапы органов сразу же после занятия Маньчжурии советскими войсками. Список этот, скромно озаглавленный «На память», сын журналистки опубликовал в «Русской Жизни» 7 августа 1981 года. В этом документе значится, что А. Несмелов погиб, скорее всего был расстрелян на советско-китайской границе.

О Лидии Хаиндровой в статье М. Волина читаем: «Все давно замолчали, за исключением Лидии Хаиндровой, издавшей на Кавказе тоненький сборник стихов». Книжка стихов действительно была издана, но, к сожалению, замолчала и поэтесса — Лидия Хаиндрова умерла три года тому назад.

В вопросе библиографии произведений Арсения Несмелова у автора статьи существенные неувязки. Он утверждает: «А. Несмелов выпустил четыре сборника стихов, отдельным изданием две поэмы: «Через Океан» и «Протопопица»...» Поэт, однако, опубликовал *пять* сборников стихов и *три* поэмы. Под псевдонимом Дозоров (об этом имени М. Волин вообще не заикнулся) Несмелов в 1936 году выпустил сборник стихов «Только такие» и гимн русских фашистов — поэму «Георгий Семена». Это произведение поэта, к сожалению, изъято из всех библиотек рассеяния и является раритетом из раритетов.

Удивляет в статье «Русские поэты в Китае», что в ней нашлось место для рассказов о харбинских наркоманах, но была обойдена молчанием Марианна Колосова, которая в 1930 году писала:

А Русь молчит. Не плачет и...

не дышит...

К земле лицом разбитым никнет

Русь...

Я думаю, куда бы встать повыше  
И крикнуть «им»: а я не покорюсь!

В. Набоков позаимствовал тему у М. Колосовой и в своем «Каким бы полотном...» разделил кредо поэтессы:

...Какой бы жалостью душа  
ни наполнялась,  
не поклонюсь, не примирюсь...

26 января 83 г., Орандж, Конн. США.

Э. Штейн

## ПО ПОВОДУ «РАСКАЯНЬЯ» ВАЛЕРИЯ РЕПИНА

Уже слышны тут и там разговоры, шепотки: вот они, борцы за идею, — один за другим каются...

Это уж всегда так: раз пошла полоса публичных «покаяний», сомнений нет — вновь подкрались тяжелые времена. Чем туже заворачивают гарроту на шею страны, тем более озабочены усмирители: как бы таким образом устроиться, чтобы стоны и ропот арестантов звучали чуть ли не похвалой «нашей единственно правильной, родной» гарроте. Публичные «покаяния», самооговоры, вкупе с приступами восторженной любви к Партии и Государству, — неизменный аккомпанемент самых мрачных периодов советской карательной истории.

Больно узнавать, как вчера еще честный помыслами и деяниями человек сегодня оговаривает себя, расписываясь в немислимых «преступлениях», каюсь в несодеянном, отрекаясь от принципов и друзей. Конечно, всякому вольно менять свои позиции: **вчера** так думал, а сегодня вот иначе... Но ведь не в библиотеке, не в академическом споре с почтенными оппонентами вдруг «прозревает» арестант, а в камере. И

эти «прозрения», «покаяния» — все тот же стон людей отчаявшихся, утративших надежду на помощь извне. Не нам их осуждать. Тем более, что и на нас вина — мы могли бы помогать им больше. Разве всё мы тут делаем, что можно и должно — для них, там?

И с ужасом представляешь, в какое мучительное нравственное угрызение и неотступное самоедство отныне погружается душа «раскаявшегося». Тем более, если он оговорил вчерашних друзей. Изошренная бесчеловечность советской системы особенно проступает в этих стремлениях сломать человека, расчеловечить его, превратив в доносителя и оговорщика. И потому странно слышать порой осуждения чужой слабости — тем более из нашего безопасного далека. Разве не всегда вина падает на палача?

Думается, наиболее вдумчивый и вместе с тем юридически обоснованный подход к деликатной проблеме «покаяний» и оговоров был в свое время предложен В. Чалидзе, который писал, что «покаяние» — дело частное, но использовать особое душевное состояние «кающегося» для превращения его в доносчика — вопрос другой:

«Я очень огорчился, узнав, что арестованному К. А. Любарскому Ваши сотрудники сообщили, будто бы я отрекся от своих публикаций. Интересно, что Любарский поверил тому, что здесь на воле всем представляется чудовищной выдумкой...

Не знаю, была ли выдумка о моем отречении злонамеренной, но, как мне известно, она была не бесцельной: это сообщение следователя Смирнова было одним из факторов, приведших Любарского к раскаянью...

И уже совсем недопустимо использовать раскаяние человека для доносительства на других. Но именно так и произошло в деле Любарского. Законодатель ставит условием смягчения наказания не просто раскаяние, но чистосердечное раскаяние. Кто может оце-

нить «чистосердечность» наших проявлений кроме нашего собственного внутреннего взора?» (Архив Самиздата № 1165).

Мне кажется, что эти исчерпывающие формулировки не требуют дополнительных комментариев.

*Александр Глезер*

Уважаемый Владимир Емельянович!

Зря говорят, что читать советскую литературу не интересно. «Новый мир». Главный редактор — Герой Советского Союза, разведчик, В. В. Карпов. Десятый номер за 1982 г. Тираж 350 тыс. экз. (в три раза больше, чем при Твардовском). Очередной роман, именованный «Юношеский», нашего славного Валентина Катаева. Скучнейший. Но вот на стр. 48 в прямой речи обнаруживаю, простите, жопу. И чтобы не подумалось, что как-то ериком проскользнуло, ровно через 10 строк жопа опять.

Помните? Учительница просит слова на «ж». Рабинович тянет руку:

— Жопа.

— Ах, ну зачем же! Да и слова такого нет.

— Странно, — роняет Рабинович — жопа есть, а слова нет.

И верно, не было такого слова в литературе. разве что в недетских изданиях «Тихого Дона» «ж» с точками. А теперь вот есть: герой Карпов с Катаевым подарили его (ее?) всем 350 тысячам читателей.

В других советских изданиях я жопу не заметил. Пока? В номере 12 «Нового мира» другой художник слова Александр Рекемчук дает на стр. 17 (тоже в прямой речи): «Себя от старости страхуя, сибирскую купил доху я». Это вам уже не жопа.

И другая не жопа. 1 апреля «Вашингтон Пост» печатает статью зам. редактора Стефана Розенфельда «Московские жалобы». Дескать, тамошние официальные лица недовольны администрацией Рейгана, они насытились ею... по-русски мы бы сказали «по горло» или «по уши». Но автор храбро демонстрирует, что он знает «русского языка»: «...they have had it up to their задница with the Reagan administration». Напечатано именно так, как вы видите — «задница» русскими буквами. Видно, мистер Розенфельд уже наслаждался прозой Катаева. Что-то будет, когда он прочитает худ.произведение Рекемчука?

3. IV. 83

*Игорь Бирман*

### **ТРИ ГОДА ВОЙНЫ В АФГАНИСТАНЕ**

3-е расш. и дополн. издание.  
В сборнике 21 фотография,  
карта Афганистана

Сборник составлен на базе статей из журнала «Посев» и охватывает период с начала войны до лета 1982 года.

1982

224 с.

12 нм

Possev-Verlag, Flurscheideweg 15, D-6230 Frankfurt/M.-80

# Критика и библиография

## МИР ПИСАТЕЛЯ СОКРОВЕННОГО

Андрей Платонов — фигура громадная в современной русской литературе, однако до сих пор сколько-нибудь серьезного исследования творчества этого замечательного мастера, этой трагической фигуры, этого своеобразного знамения времени — не появлялось. Принимать всерьез труды советских литературоведов, которые после частичной реабилитации дружно возвели его в ранг классика, было бы смешно. О каком анализе может идти речь, если на родине до сих пор не переизданы такие шедевры, как «Усомнившийся Макар», «Государственный житель», повесть «Впрок», и не изданы вообще «Котлован», «Ювенильное море» и единственный роман писателя «Чевенгур»?

И вот перед нами фундаментальное сочинение о творчестве Андрея Платонова, сочинение, ценнейшей особенностью которого, не говоря о тщательности анализа, является стремление найти философские истоки этого уникального творчества, его движущую морально-этическую силу, ту общую идею, которая связала воедино все творения автора и сделала их, по сути, той единственной книгой, которую он писал всю жизнь.

Книга Михаила Геллера не случайно называется «Андрей Платонов в поисках счастья». Понятие «счастье» рассматривается здесь не в житейском смысле, а как определенная и четкая философская категория. Центральное место в платоновском мире занимает человек — собственно говоря, сам автор, который ищет счастья, ищет решения загадок бытия. Критик доказывает, что ответ на капитальный вопрос жизни Платонов нашел в трудах замечательного русского философа XIX века Николая Федорова, главнейший из которых, «Философия общего дела», сводится вкратце к следующему: высшее счастье человечества состоит в том, чтобы превратить наш смертный мир в мир бессмертный.

---

Михаил Геллер. Андрей Платонов в поисках счастья. ИМКА-Пресс, Париж, 1982.

На вопрос «что делать?» Федоров давал один-единственный ответ: «Бороться со смертью», а преодолеть ее можно путем воскрешения умерших. Не метафорического, а самого настоящего, конкретного воскрешения. По мысли философа, все люди сходны в том, что они смертны, и в этом смысле они — братья. Социализм — обман, ибо являет собой родство людей, чуждых друг другу, связанных лишь внешними выгодами. Совсем другое дело — чувство родства, семьи, отношения между детьми и родителями, мужем и женой. Федоров убежден, что человечество возникло не на инстинкте продолжения рода, а на жалости сына к слабеющему отцу. Чувство смертности и стыд рождения сливаются в общее чувство вины. Искупить ее можно, лишь воскресив отцов. Федоров убежден, что человечество разъедают антагонизмы, главные из которых — распадение мысли и дела, распадение на богатых и бедных, ученых и неученых. Необходимо объединение разума народного, практического с разумом интеллигентно-теоретическим. А именно: участие в знании — *всех*, и это не социально достигнутое всеобщее образование, а участие и личная заинтересованность всех в общем деле. Основная же формула такова: «Жить не для себя и не для других, но со всеми и для всех».

Учение Николая Федорова становится для Геллера ключом к разгадке общей концепции платоновского творчества, оно выстраивает в стройную систему кажущийся внешне хаотичным мир идей и образов писателя. Его крестный авторский путь критик называет «метафизическим путешествием в поисках счастья и в глубь себя». Выходец из пролетарских низов, А. Платонов восторженно встретил революцию и во всех своих произведениях стремился слить воедино грандиозную космическую утопию Федорова с коммунистической ленинской утопией. Но что же получилось? Следуя логике жизни, следуя логике человеческого характера, писатель обнаруживает, что ленинская утопия неизбежно и неотвратно становится чудовищным тоталитарным миром и человеческому счастью нет и не может там быть места.

Пункт за пунктом критик прослеживает, что хочет того Платонов или нет, но эволюция его мира и его героя фатально идет от «обожания Идеи к обожанию Идола» и процесс этот раскрывается и разворачивается, начиная с ранних научно-фантастических произведений и кончая роковым, раз-



громленным сворой сталинских критиков, последним рассказом «Семья Иванова». Первые же годы работы губернским мелиоратором показывают Платонову, что создание счастья будущего, его мечты, главного дела жизни, — находится в руках отпетых бюрократов и в конечном итоге бюрократическая машина сожрет все.

Повесть «Сокровенный человек» показывает полнейшую несовместимость двух утопий. Сюжет ее — характерный для Платонова рассказ о странствиях героя в поисках разгадки тайн вселенной и в поисках счастья, иными словами — в поисках смысла революции. Герой произведения Фома Пухов потому и сокровенный человек, что у него есть душа. Да, он «дикарь», он темный, маленький человек, однако его волнуют вопросы нравственного порядка — горе по умершим, страдания обиженных, а для революции нравственно лишь то, что ей полезно. Душа Фомы Пухова ей совершенно не нужна, и наступает горькое разочарование, обман великих надежд. Общий же вывод таков: без души не состоится общая жизнь человечества, а революция уничтожает душу. Какой же в этой революции смысл?

В «Усомнившемся Макаре», рассказе, который Сталин признал политически вредным произведением, вновь поднимается коренной вопрос федоровской философии о бесплодной и пустой любви к дальнему и необходимости плодотворной и действенной любви к ближнему. Миниакальная жажда власти, которая движет «активистами», обнажается здесь с поразительной сатирической остротой и представляется уже не чем иным, как *похотью*. «Обожание Идола» встает во всей его полноте.

Единственный роман Андрея Платонова «Чевенгур», впервые изданный на Западе в 1972 году, практически не знал своего исследователя, в то время как по глубине и пронзительности мысли он стоит в первом ряду платоновского творчества. Проведенный М. Геллером анализ подтверждает, что перед нами как раз тот исключительный случай, когда критик сумел подняться на уровень исследуемого произведения. М. Геллер, который убедительно и точно расшифровывает символику платоновских обозначений, определил, что название города будущего Чевенгур состоит из двух корней — чева, что значит ошметок, и гур, то есть шум, гул. Иными словами, Чевенгур — это великая молва о

ничтожестве. В романе вновь, как свойственно Платонову, — странствие и странники, два героя, два «рыцаря революции»: Дванов и Копенкин, апостолы новой революционной веры. Их души горят жаждой осчастливить человечество в соответствии с ленинской доктриной уже сейчас, уже сегодня завоевать для нищих, униженных масс счастливое будущее. Платонов любит своих героев, в Дванове он во многом обрисовал сам себя, но не может кривить душой и последовательно раскрывает, что делает Идея с ее носителями. И получается, что борцы за светлое будущее подавляют сопротивление крестьян, причем уничтожают не кулаков, которые могут откупиться хлебом, а как раз бедняков, у которых продрозверстка отбирает последнее. Писатель с неумолимой последовательностью показывает, как любовь к Революции приводит к убийству.

Смерть царствует на страницах «Чевенгура». История города Солнца начинается и заканчивается смертью. По справедливому замечанию критика, сцена казни «буржуев» стала апокалипсическим изображением Страшного суда, в котором Платонов ощущает каждую смерть как свою собственную и каждое убийство как дело рук своих. А вывод все тот же: счастье не приходит к победителям — им тошно, скучно, невыносимо в странном обществе людей, где все друг другу чужие. Приглашенные в город счастья нищие разбегаются, герои его ищут и находят смерть. Причина же в том, что они слишком жадно хотели жить для других, а надо, как учил Федоров, «жить не для себя и не для других, а со всеми и для всех».

Анализируя творчество А. Платонова, Геллер открывает, что «первая глава» всего им написанного посвящена ленинской революции, а «глава вторая» — революции сталинской, то есть коллективизации. Повесть «Котлован» явилась наиболее емким, уникальным по своим художественным достоинствам отображением «сталинской революции», «единственным, — по словам критика, — адекватным изображением событий сталинской утопии — построения социализма в городе и коллективизации в деревне... Здесь нашло полное слияние реального и конкретного социально-исторического фона и онтологического подтекста». Платонов провидчески открыл то, что чувствовали тогда лишь гениальные одиночки, такие, как Булгаков и Мандельштам: котлован «обще-

пролетарского дома» оказывается пропастью, рытью которой нет конца. Причем «класс-гегемон» будет вечно вгрызаться в землю для создания неосуществимого проекта, при котором руководители всегда бы могли руководить. Писатель, по мнению Геллера, подтвердил в «Котловане» такие важнейшие социологические законы, как то, что утопия обязательно требует жертвоприношения, что геноцид в конечном итоге пожирает тех, кто приводит его в движение, и, наконец, что обязательным условием геноцида является превращение человека в абстракцию — кулака, буржуя, вредителя и т. д. Кстати, и сейчас, через полвека, приходится удивляться редкостной прозорливости писателя, который в окружающей действительности прозрел зерно будущего кошмара. Чеслав Милош совсем недавно в своей речи («Русская Мысль», 23 дек. 1982) говорил об электронике на службе тоталитаризма, а Платонов в рассказе «Мусорный ветер» произнес вещие слова о том, что на спине машины можно построить самую угрюмую деспотию.

Итак, утопия коммунизма не дала счастья героям Платонова. Он ищет и находит это счастье в жажде познания и в любви. Душе человека, в конце концов, всего важнее душа другого человека. Мощным гимном душевной страсти стала «Река Потудань», которую М. Геллер справедливо считает одним из лучших рассказов о любви в русской литературе.

В раскрытии невообразимых катастроф двух утопий: ленинской и сталинской — Платонов, по мнению Геллера, сумел достичь высот художественного совершенства благодаря тому, что отказался от рационально-реалистического изображения действительности. Он сумел блистательно сочетать натурализм с метафизической отстраненностью и фантастику с бытом и строил свой художественный метод не на пустом месте. Среди главных учителей и предшественников Платонова критик прежде всего называет Гоголя, Салтыкова-Щедрина и Федора Сологуба. Писатель широко пользуется приемом гротеска, но самое удивительное в том, что он ничего не придумывает: сама действительность наступления немедленной революции или сплошной коллективизации была страшным гротеском.

Вся творческая жизнь Андрея Платонова, развернувшаяся в пору торжества страшных утопий, — пример непрерывного мученичества, преследований, надругательств и

оголтелой травли. Геллер не случайно пишет в заключение книги, что «еще не исследована психология творчества в атмосфере хронического страха..., когда давление на писателя превышает человеческие возможности». Последние произведения Платонова, в особенности его статьи, свидетельствуют о том, как мучителен был процесс самообуздания, который калечил душу до неузнаваемости, однако, вопреки всему, писателю удавалось прорываться самому к себе и писать, как он выражался, «кровью мозга».

Итак, впервые появилась книга, которая, надо надеяться, станет пособием для каждого, кто занимается изучением творчества Андрея Платонова. Полнота и самобытность анализа, своеобразие подхода к разбираемым проблемам, объективность в рассмотрении фактов позволяют судить о книге Михаила Геллера как о краеугольном камне в фундамент особого раздела литературоведения, которое называется «платоноведением».

*Майя Муравник*

## *СВИДЕТЕЛЬСТВА СОЗЕРЦАТЕЛЯ*

«По своей натуре и характеру я — не деятель, не активный участник событий, а зритель, созерцатель и свидетель их. (...). Мне хотелось быть лишь свидетелем великих потрясений эпохи, в которую я жил, но не участником и тем более — движущей силой их».

Декларация такой жизненной позиции избавила автора от надобности приукрашивать себя задним числом, и это первое важное достоинство его воспоминаний. Второе: прожив в СССР около 80 лет до выезда в Израиль в 1973 г., автор был свидетелем многих важных событий и многое мог видеть сблизи. Третье: историк по призванию, образованию и профессии, автор умел разглядеть и понять в происходящем много больше, чем смог бы на его месте рядо-

---

Н. П. Полетика. Виденное и пережитое. «Библиотека-алия», Иерусалим, 1982.

вой средний интеллигент. Четвертое: понимание особенностей мемуаров как своеобразного жанра исторического документа помогло автору избежать субъективизма. Это не означает безликости: действительная объективность не в принципиально недостижимом исключении, но, напротив, в отчетливом выражении личного восприятия событий.

Род Полетика оставил след в истории и в истории культуры.

Г. А. Полетика (1723—1784) — автор трактата «История руссов», который сыграл важную роль в развитии украинского национального самосознания и до сих пор высоко ценится украинскими националистами. В Петербурге были изданы переводы Г. А. Полетики из греческих классиков и составленный им словарь на 6 языках.

П. И. Полетика, крупный дипломат, входил в общество «Арзамас», был дружен с Пушкиным, Жуковским, Батюшковым, Карамзиным, братьями Тургеневыми.

А. М. Полетика, полковник лейб-гвардии кавалергардского полка, друг Пушкина, будучи председателем военного суда, добился относительно мягкого приговора по делу о дуэли Лермонтова с де-Барантом. Его жена Идалия, незаконная дочь графа Строганова, напротив, печально знаменита участием в интриге, приведшей к гибели Пушкина.

Н. П. Полетика, автор воспоминаний, по собственной оценке — представитель «потерянного поколения, которое (...) чувствовало себя чужим любому диктаторскому режиму, в том числе и режиму большевистской партии. Нашему поколению досталась тяжелая жизнь и тяжелая смерть, потому что наш век — век буржуазно-демократической революции — умер в России раньше нас. Наше поколение в течение 8 месяцев перескочило из самодержавного режима в другой, еще более самодержавный, и мы, интеллигенция начала XX века, осознали себя обреченными на гибель».

Гимназические годы автора прошли в Киеве, где он был очевидцем знаменитого дела Бейлиса. Фабрикация этого «дела» — позорное пятно на истории России, но процесс Бейлиса оказался подлинным торжеством российского правосудия. Вопреки нажиму правых депутатов Думы и министра юстиции Щегловитова, присяжные, в составе которых было не менее 5 членов «Союза русского народа» и «Двуглавого орла», вынесли оправдательный приговор.

Воспоминания о годах мировой и гражданской войны содержат обширный материал о жизни еврейского населения на Украине. Поучителен рассказ о евреях, которые искренне хотели быть русскими патриотами, а в ответ встречали антисемитизм. Рассказ о годах гражданской войны рисует мрачную картину чехарды правительств, красного и белого террора, анархии и еврейских погромов с тенденцией перерастания в геноцид.

Ю. Марголин, сионист, ученик Герцля и Жаботинского, писал, что «лично ни атаман Петлюра, ни командующий Добровольческой Белой армией ген. Деникин не были вдохновителями погромов (...) Петлюра не был организатором еврейского истребления, но его трагическая и невольная вина в том, что он не мог удержать свои войска от погромов». («Повесть тысячелетий»).

Поэтому немалая доля вины в катастрофе украинского еврейства падает на социалистические партии («Бунд», «Полей Цион», «Объединенные социалисты»), которые руководили в правительстве Петлюры министерством по еврейским делам и сорвали создание еврейских военных отрядов самообороны в ноябре-декабре 1917 г.

Погромы были не только проявлением антисемитизма, но и мерой анархии, неуправляемости подонков, каких было довольно во всех слоях общества и в войсках всех воюющих сторон. И советские войска не составляли исключения: к сентябрю 1919 г. они учинили погромы в 13 городах и местечках. Н. Полетика вспоминает, что виденные им в Киеве красногвардейцы из армии Муравьева и конники Щорса отличались от «Двенадцати» Блока только полным отсутствием мессианских идей, которые Блок приписал своим героям и «которых на самом деле ни у «Двенадцати», ни у солдат Муравьева не было».

Во время захвата Киева деникинцами Полетика по протекции своего гимназического товарища Бенара жил вместе с несколькими друзьями в квартире Шульгина, у которого Бенар был секретарем-адъютантом. Шульгин с ними не разговаривал и не замечал их при встречах, но никто не донес на них в контрразведку и не мобилизовал в армию. Со слов Бенара Полетика сообщает, что Шульгин уже тогда считал дело безнадежным, так как народ не поддержит Добармию.

Впоследствии он объяснял поражение Деникина еще и разложением армии вследствие мародерства. Статью Шульгина «Взвейтесь, соколы, ... ворами» стоит перечитать тем из белых эмигрантов, кто пытается еще и сегодня ратовать за белизну риз добровольцев.

Любопытно свидетельство Полетики о подтвердившихся через 40 лет слухах, что Сталин в сущности подстроил поражение советских войск под Варшавой («чудо на Висле»), чтобы не дать Тухачевскому стать победителем «панской Польши». Готовность жертвовать общим делом ради личных интересов, умение устраивать свои личные дела под видом заботы об общественном благе немало помогли Сталину победить в борьбе за власть.

В 1923 г. Н. Полетика вслед за своим братом переехал в Ленинград. Он уже имел законченное университетское образование, знал четыре иностранных языка. Ему удалось устроиться работать в «Ленинградской правде». Тогда это была не захудалая областная газета, как теперь, а «орган» Г. Зиновьева, одного из претендентов на лидерство в партии. Редакция получала газеты из многих стран мира, и Полетика имел к ним полный доступ. Из них он узнал, например, что на гроб Ленина в Колонном зале был возложен венок с надписью: «В. И. Ленину, самому крупному бакунисту среди марксистов, от ЦК РСДРП меньшевиков». Об этом скандальном эпизоде мало кто знал в СССР тогда и вряд ли кто помнит теперь. По материалам иностранных газет «соб. корр. Лен. правды» Н. Полетика составлял «корреспонденции» из столиц Европы и США. Эта часть воспоминаний содержит яркие и любопытные эпизоды, рисующие картину функционирования советской прессы. Особо следует отметить рассказ о беседе Зиновьева с крупным английским экономистом Кейнсом, в которой Полетика участвовал как переводчик.

Интересны и ценны воспоминания о борьбе Сталина за власть, как эта борьба виделась в редакции. Ленинградская делегация ехала на XIV съезд уверенная в своей победе. Зиновьев твердо полагался на подготовленные цитаты из Ленина. «Книжный человек: жизни не знает, людей не понимает» (Сталин о Троцком). Сотрудник партийного отдела редакции Питерский рассказал Полетике, что «Ленин ненавидел Сталина за грубость и невежество», но что Сталин

быстро пошел вверх после того, как Ленин в Париже получил из партийной кассы часть денег, захваченных Сталиным и группой грузинских большевиков «на нужды партии» при ограблении почты под Тифлисом. Он же рассказал о выступлении Зиновьева в защиту Сталина когда на XIII съезде было оглашено «Завещание» Ленина, скрытое от делегатов XII съезда. Питерский назвал это выступление предательством.

В день 10-летия октябрьского переворота Полетика видел, как конная милиция нагайками разгоняла контрдемонстрацию оппозиционеров при полном невмешательстве и молчании глазевшей на драку толпы. Свидетельство Полетики о «потрясающем равнодушии» беспартийных (99,5% населения) к борьбе внутри партии очень важно. Оно подводит и к пониманию единодушия, с каким интеллигенты голосовали на митингах за резолюции с требованием смертной казни «вредителям» и «троцкистско-бухаринским двурушникам». Исключения были. Профессор Д. А. Рожанский и студент Д. Олицкий воздержались — и были посажены («Архипелаг ГУЛаг»). Чл.-корр. АН Я. И. Френкель заявил, что не может голосовать за такую резолюцию, не ознакомившись с материалами следствия, — и не был посажен. Вероятно, потому, что он был ученым с мировым именем и за него вступилось руководство Физико-технического института (акад. А. Ф. Иоффе). Но это были действительно исключения, которые подтверждают правило. Профессор Полетика исключением не был. Тут играло роль и понимание, что оппозиционеры были не противниками, а лишь соперниками Сталина, и возьми они верх — они бы делали то же самое. Был страх, и не было опоры для духа, чтобы противостоять этому страху.

Журналистская и литературная работа ввела Полетику в круг ленинградских писателей. Из воспоминаний о писателях наиболее удачны, по-моему, портреты Е. Шварца и Е. Замятина, который тогда же познакомил его с рукописью своего романа «Мы».

После разгрома зиновьевской оппозиции Полетика оставил журналистику и перешел на научную работу. Две фундаментальных монографии по истории возникновения Первой мировой войны, получившие впоследствии всемирное признание, открыли ему путь на исторический факультет Ле-



нинградского университета и к защите докторской диссертации, т. е. определили его место в науке и социальное положение.

Воспоминания Н. Полетики о научной среде, в которой он вращался, позволяют проследить, как идеологическая монополия приводит на деле к монополии не идеологии, а лиц. Борьба за опубликование монографии рисует поучительную картину нравов и «кухни» в одном из крупнейших советских издательств. Успех принесла не научная аргументация по существу вопроса, а поддержка влиятельного лица (М. Горького). В то же время из воспоминаний видно, как умение использовать особенности советской системы позволяет ловкачам, не имеющим ничего общего с наукой, сделать блестящую «научную» карьеру и достичь вершин социальной иерархии. Такие «болтологи» выжили Полетику из института Гражданского воздушного флота, где он разработал оригинальный курс «География воздушного транспорта» и выполнил исследования, сделавшие его первым в СССР кандидатом экономических наук по специальности «Экономика воздушного транспорта». «Хвостовщина», кратко и выразительно очерченная автором, — это повторение знаменитого «облысения биологии» в исторической науке.

Для атмосферы, воцарившейся в научных кругах, характерен рассказ Н. Полетики, как он перепугался, прочитав в итальянском журнале положительный отзыв на свою книгу о гражданской авиации. Один из его друзей даже совершил плагиат, чтобы по ссылкам на итальянские работы в его докторской диссертации нельзя было заключить, что при Муссолини история не была в полном загоне и упадке, а в Риме производились большие археологические раскопки. Отклики зарубежной научной прессы его несколько не смущали: «ругань из-за границы — лучшая похвала советским ученым в глазах наших властей». Стоит отметить, что в наше время такая самодеятельность стала лишней. Издательства сами автоматически исключают ссылки, например, на эмигрантов. Так, из монографии по теоретической фотометрии все ссылки на мои работы после моего выезда в Израиль были исключены даже вопреки возражениям автора.

Говоря о снижении уровня научных работ после войны, автор, по-моему, недостаточно подчеркнул роль «экономической базы». «Год великого перелома», когда «средняк

пошел в науку», был результатом прежде всего введения высоких ставок за ученые степени, т. е. перехода от оплаты работы к оплате дипломов.

В заключение несколько слов о редакции. Ф. Розинеру, подготовившему книгу к печати, пришлось примерно вдвое сократить рукопись, хранящуюся в Центре исследований и документации восточноевропейского еврейства при Еврейском университете в Иерусалиме. Отдельные огрехи в такой работе неизбежны. Неоправданны сокращения в рассказе Полетики о беседе Зиновьева с Кейнсом. Режет глаз примечание на стр. 114: Духонин не был «расстрелян»; старый генерал был растерзан толпой (Дж. Рид), а Крыленко был в действительности режиссером самосуда. Но в общем редактор справился со своей нелегкой задачей весьма успешно. Книга оставляет цельное впечатление, а характерный для автора неторопливый стиль прошлого века придает ей особый своеобразный шарм.

*Виктор Каган*

### **«МАСТЕРА ЗАПЯТЫХ» И МАСТЕР СИНТЕЗА**

«Книги написаны буквами, буквы составляют фразы, а мы растащили книги не только на буквы, появились уже мастера запятых. Надо, видимо, складывать новый синтез».

Эта фраза, взятая мною из книги Эрнста Неизвестного «О синтезе в искусстве» (издательство «Эрмитаж», США, 1982), служит ключом к пониманию его творчества, устремленного к созданию нового синтеза в искусстве. Ведь действительно, если мы окинем взором все пестрое многообразие современного художественного мира, то мы увидим, какое колоссальное количество «мастеров запятых» работает в нем. Множество художников, найдя путем больших усилий какую-то свою нотку, отличную от других, очень часто хватаются за нее как за соломинку спасения в водовороте современного искусства. Культивируя эту нотку (или «запя-

---

Эрнст Неизвестный. О синтезе в искусстве. «Эрмитаж», 1982.

тую»), они создают — не свое лицо, а скорее свою фабричную марку, под которой и идет их творчество. По ней их узнают и оценивают. Утерей они ее, их творчество исчезнет в пучине всевозможных «измов» и направлений царящего ныне художественного плюрализма. Требуется большое мужество, чтобы избежать искушения «запятых». Еще большее мужество нужно для того, чтобы в наш хаотический век провозгласить идею нового синтеза и посвятить ей все свое творчество, зная, что «мастера запятых» скорее всего сочтут эту идею слишком амбициозной и самоуверенной. Только большой талант способен на такой шаг. У Эрнста Неизвестного есть и большой талант и большое мужество.

Книга его состоит из трех частей. Первая из них — текст; другие две — иллюстрации к Достоевскому и рисунки и офорты к задуманной им монументальной скульптуре «Древо Жизни». Будучи мастером формы, Эрнст Неизвестный одновременно и мастер слова. Его мысли о синтезе в искусстве, его размышления о Достоевском и его планы создания «Древа жизни» выражены предельно ясным, четким, но и образным языком. Никакой словесной мистификации, которой, к сожалению, пользуются некоторые искусствоведы, думающие, что сложные идеи надо выражать еще более сложным языком. Кстати, текст книги — на русском и на английском языках, и английский перевод Алис Никольс отличается той же ясностью и выразительностью.

«Все чаще и чаще мы, художники, говорим о так называемом синтезе искусств, — пишет Эрнст Неизвестный. — Об этом приходится думать и мне, тем более, что все, над чем я работаю, будь то альбом рисунков, серия гравюр или отдельные скульптуры и группы, является частью целостного монументального замысла, который принципиально полифоничен и вместе с тем един». Указывая на ряд причин, мешающих людям воспринять идею синтеза (например, бытующее ныне представление о четкой разграниченности искусств и их возможностей), Эрнст Неизвестный дает следующее определение синтеза: «Синтез — не эклектика, где собрано все волей случая. Синтез в искусстве — это организм, где каждая часть выполняет принадлежащую ей функцию, а в целом части составляют эстетическое единство, и чем сложнее внутренняя жизнь произведения, чем больший круг явлений вбирает оно в себя, тем больше частей, больше

разнообразия. Но это разнообразие объединено первоэнергией замысла. Поэтому хорошая книга, музыка или скульптурно-архитектурный ансамбль есть микрокосмос».

Художники древности, говорит Эрнст Неизвестный, имели целостное отношение к миру. «Художник — не просто ремесленник, он всегда находился и находится в средоточии духовной жизни. (Если он, конечно, не «мастер запятых». — С. Г.). И взаимосвязь и взаимозависимость явлений для него всегда была ясна, если не как научная истина, то как поэтическое предчувствие ее, «знание сразу», чему свидетельство — века великих искусств прошлого».

Но и развитие современной науки и техники никак не отдаляет творческого человека от возможности синтеза. «Сейчас вскрываются объективные закономерности в построении вещей, и это находит поддержку в психологических изысканиях познавательной деятельности, — пишет Эрнст Неизвестный. — Идет сравнительное изучение звуковых систем, от сигналов до естественных языков и формализованных языков науки. Единство слов, звуков, света, цвета, форм подтверждается наукой». Приведя еще ряд примеров взаимосвязи различных явлений, Эрнст Неизвестный заключает: «...если всерьез заняться структурным анализом пластических искусств, то сопоставление различных систем изобразительной символики приведет нас к мысли о связанности видов изобразительных искусств не только с мифом и ритуалом (что очевидно), но и с музыкой, космогонией, математикой. Более того, возможны те же закономерности, выходящие за пределы человеческих понятий и находящиеся в самой природе. Поэтому принципиальная раздельность условных признаков архитектуры, живописи и т. д. видится не только не плодотворной, но и не верной».

О проекте «Древа Жизни» писалось уже много. Позволю себе еще раз, словами самого Эрнста Неизвестного, повторить идею и характер этого монументального замысла:

«'Древо Жизни' есть прославление человека и человеческого знания, — говорит Эрнст Неизвестный в своей книге. — Это образ внутреннего мира человека, утверждающий неотделимость духовного начала от математического и чисто логического, от науки. Через духовное соединение искусства с современной наукой и технологией «Древо Жизни» манифестирует симбиоз Веры и Знания. В единстве они обога-

щают друг друга и тем самым придают целенаправленность одухотворенной вселенной». Размеры запланированного монумента — 150 метров высоты и 150 метров в диаметре. Он будет находиться внутри круга из пересекающихся дорог, которые образуют розу ветров: север, юг, восток и запад. Эрнсту Неизвестному хотелось бы видеть эту розу ветров опущенной во впадину в земле, как в гигантскую чашу. Название «Древо Жизни» выбрано им потому, что он считает эту скульптуру своего рода организмом, который, по его словам, произрастает из семи корней, уходящих в землю. Каждый корень символизирует один из смертных грехов. Корни эти образуют систему туннелей, подземный лабиринт. Надземную часть монумента Эрнст Неизвестный представляет себе как семь спиралей (лент Мебиуса), из которых каждая — одного из семи цветов спектра. Вместе они образуют асимметричную форму человеческого сердца. Библейская цитата экуменического характера на четырех языках — английском, русском, иврите и китайском — будет выгравирована на круге, опоясывающем сооружение. Не буду дальше описывать все детали этой монументальной скульптуры — читатель все это найдет в книге, дающей также объяснение функций «Древа Жизни», ибо оно не статичный, а «живой» монумент. Вслед за текстом воспроизведены рисунки и офорты — идеи живописных и скульптурных частей «Древа Жизни».

Думаю, что даже тот, кто мало восприимчив к сложному символизму, почувствует в них колоссальную силу, порыв и духовное напряжение. При более внимательном рассмотрении мы видим в них ряд повторяющихся тем и характеристик (даю мою собственную интерпретацию, хотя многое, конечно, и так очевидно). Это, во-первых, чередование гигантских фигур с миниатюрными — или частей тела, связанных и влекомых каким-то космическим вихрем, вздымающим и низвергающим их. Однако, этот поток тел — не пассивная, безвольная масса. Каждая фигура по-своему активна, будь то протест, физическое усилие, отчаяние, надежда, раздумье, страдание. Многие композиции наводят на мысль о Страшном суде. Но падающие тела не проваливаются в бездну вечного мрака и безнадежности — они переживают в процессе падения многочисленные метаморфозы, превращаясь в своеобразные органические и неорганические

— а иногда механические — формы. Энергия их не пропадает, а получает иное воплощение.

Мы видим в некоторых композициях тему Распятия, смерти и воскресения. В других — рождение (живое и мертвенное), прозрение и освобождение. Абсолютное знание человеческого тела позволяет Эрнсту Неизвестному не абстрагировать его, не подчинять насильственно какой-то идее, а свободно импровизировать как внешней его оболочкой, так и внутренней структурой, разрушая между ними грань и соединяя эти кажущиеся противоположности в единое органическое целое. Зритель может отдаваться общему их ощущению и одновременно «читать» детали, не теряя нити. Все фигуры и фигурирования Эрнста Неизвестного имеют половые признаки, но никакой щекочущей нервы эротики, столь любимой некоторыми сюрреалистами, в них нет. Мужское и женское начало ощущаются у него как первозданное деление на два, в одинаковой мере творческих полюса. Каждое из них трагично и жалко в своей неоправданности — и великолепно и могущественно в своем триумфе. Можно посоветовать читателю, ознакомившемуся с текстом, внимательно рассмотреть все эти композиции — а затем вновь обратиться к тексту. Замысел Эрнста Неизвестного и его идея синтеза станут тогда наглядной и понятной, хотя полная «расшифровка» невозможна, да и не нужна. Элемент тайны остается — как одна из непреходящих характеристик всякого большого искусства.

Не менее интересны иллюстрации Эрнста Неизвестного к Достоевскому. Но никакой в обычном смысле иллюстративности в них нет. «Визуальное иллюстрирование Достоевского недостаточно, — пишет Эрнст Неизвестный. — Достоевский — художник идеи, темы, а не художник сюжета, фабулы». Тема страдания и духовных переживаний героев Достоевского изображается Эрнстом Неизвестным в том же плане символического анализа — синтеза. Ощущение сжатости, напряженности, мучительных попыток разрешить внутренние проблемы придает этим иллюстрациям особую интенсивность. Надо отметить чисто графические их достоинства. Нервная, но твердая линия, иногда тонкая как нить, иногда расширяющаяся до — тут хочется сказать — до глубокого надреза, шрама, незаживающей раны-борозды. Или штриховка — свободная, трепетная, но в то же время

какая-то «глухая», обволакивающая форму, как пелены тумана. Таковы, например, «Самоубийство Свидригайлова», «Болезнь», «Расколотый лик Раскольникова», «Язва всеобщего убийства». Графика Эрнста Неизвестного виртуозна, не страдая виртуозностью.

Поскольку мысли Эрнста Неизвестного касаются как искусства, так и литературных образов, приведу еще один абзац из его статьи. «Самым любимым моим произведением остается стихотворение Пушкина 'Пророк', — пишет он, — а самым лучшим скульптором, которого я знаю, пожалуй, шестикрылый серафим из того же стихотворения.

И он мне грудь рассек мечом,  
И сердце трепетное вынул,  
И уголь, пылающий огнем,  
Во грудь отверстую водвинул».

Можно подумать, что эти строки поэта оказали почти «физическое» воздействие на скульптора — рассеченные, отверстые, горящие внутренним огнем фигуры Эрнста Неизвестного представляются как жертвы самих себя и как пророки новообретенной свободы, найденной в синтезе знания и веры.

На этом можно было бы остановиться и предоставить читателю самому проследить дальнейшее развитие мыслей Эрнста Неизвестного и сопоставить их с его искусством. Но в заключение позволю себе поделиться с читателем одним своим наблюдением. По старой привычке, мне доставляет удовольствие сопоставлять внешность и действия человека с его творчеством. Бывают, например, суровые и мужественные люди, которые, как оказывается, тайком пишут очень сентиментальные стихи. Или, наоборот, на вид робкие и вялые люди в творчестве своем оказываются мятущимися романтиками-героями. Ничего странного в этом нет, все объяснимо и оправдано. Но какая-то тень неувязки для меня лично остается. Куда легче воспринимать человека, когда он и по внешности своей, по действиям, манерам и, конечно, в своей жизни и творчестве представляет собой единое целое — своего рода тотальное произведение искусства. Эрнст Неизвестный, с которым мне привелось неоднократно встречаться, производит на меня именно такое цельное впечатление. Это человек, который целиком «вписан» в

свое творчество. Такими были, в конце концов, все настоящие, большие мастера.

*Сергей Голлербах*

### КРУГИ АДА

Рассказы Юрия Мамлеева — конкретная, до жути реальная картина того, как распадается и отчуждается от себя и от Бога личность, как совершается последняя катастрофическая метаморфоза — вобесовление человека. В них мы находим настоящую феноменологию греха, глубокие амартологические наблюдения, отличающие творчество лучших русских писателей: достаточно назвать имена Достоевского, Гоголя, Сологуба.

Не психология, не морализирование и декларация, а метафизически напряженное описание того огромного поля реальности, которое недоступно рассудку, но открыто мистической и художественной интуиции, — вот метод Мамлеева.

Важную роль в рассказах играет психоанализ. Не «секуляризованный» Фрейд и уж, конечно, не «гуманизированный» Фромм или Франкля. Психоанализ его рассказов ближе всего юнгианскому, в нем схвачена связь эроса и трансцендентного мира. Эрос мифический, магический и демонический, эрос космический — здесь опять, как мы видим, Мамлеев развивает излюбленные для русской литературы темы. Тема эроса как тема могучей, бесчеловечной и испепеляющей страсти; любовь, несущая смерть, смерть, несущая любовь (Гоголь), — русская мысль задолго до психоанализа обнаружила таинственные и inferнальные глубины человеческих страстей. В творчестве Мамлеева эти традиционные темы развиваются «по алмазным законам аскетики», в его рассказах обычный и двусмысленный психологизм отсутствует уже совершенно: мы движемся в мире законченных и застылых смыслов, отточенных состояний и совершающихся инкарнаций. Мамлеев — писатель другой,

---

Юрий Мамлеев. Изнанка Гогена. «Третья волна», 1982.



более суровой эпохи, когда разрушены последние гуманистические иллюзии, когда культура должна считаться с влиянием трех современных идиологов: Ницше, Фрейда, Маркса, — каждый из которых нанес удар по «человеческому, слишком человеческому», а человечество излечено от излишне высокого мнения о себе мировыми войнами, тоталитарными режимами, дьявольскими ГУЛагами.

Одна из главных тем рассказов Мамлеева — тема смерти.

Наша европейская цивилизация — единственная из всех существующих донныне, в которой нет места смерти. Мы видим, как веками мысль о смерти вытеснялась и изгонялась из сознания. Кладбища, вначале воздвигавшиеся во дворе, рядом с домом, ушли за пределы города. Другой способ забыть о смерти характерен для материалистического, советского воспитания. Смерть — это не тема разговоров, о ней не вспоминают. Равнодушие материалистов кажется необъяснимым: ведь для них смерть — конец жизни, а дальше «лопух прорастет». Мамлеев срывает табу с этой важнейшей темы. Для него, духовного реалиста, смерть — только легкий надрез на ткани жизни. Только модификация жизни.

Смерть в его рассказах — также могучий выявитель другой, более реальной и настоящей действительности. После смерти, например, человек может стать вампиром (рассказ «Изнанка Гогена»). Что это значит — стать вампиром? Здесь Мамлеев далек от того, чтобы пугать читателя дешевыми фокусами из фильма ужасов. Вампир — закономерная, последовательная стадия в развитии личности: в оккультной литературе мы находим, что вампир — предельное, абсолютное отчуждение человека от Бога, откровенная демонизация «я». И у Мамлеева этот процесс вобесовления воспроизведен с такой убедительной силой, что папаша-вампир кажется более живым, чем еще не умершие его дети.

Другой случай: самоубийца, который помнит все свои жизни, каждая из которых кончается все тем же самоубийством — следовательно, не кончается, а только становится все более тягучей и невыносимой («Полет»).

Мамлеев не только изображает мир, лежащий по ту сторону амбивалентного человеческого рассудка, — он идет дальше, часто отбрасывая то, чего писатели-классики не отбрасывали: экзистенциальную проблематику, волнения выбора и рефлексии, психологические состояния вины, одино-

чества, риска. Говоря точнее, он абсолютизирует экзистенциальные проблемы, доводит их до «логического конца». Для него абсурд и бессмысленность (излюбленные экзистенциальные темы) — не конец, а начало, проявители жестких закономерностей, скрытых от экзистенциализма кругов ада и иерархий тьмы.

Русская литература в XX веке и должна была подняться над экзистенциализмом. Она, следуя за русским страданием, опустилась до последних глубин дьявольского искушения, глотнула дыма миллионных человеческих жертвоприношений, прошла сквозь окончательность и абсолютность русского отрицания. Она вновь увидела зло, поняла, что оно ужасно, что, как сказал преп. Серафим Саровский, «бесы гнусны».

Эта литература пришла к разговору не о первой, физической смерти, а о смерти второй, описанной в Апокалипсисе, смерти окончательной, вечной и настоящей.

Эта вторая смерть постоянно присутствует в рассказах Мамлеева. У него есть целый ряд героев, живущих физически, но уже умерших духовно, второй, страшной смертью. Они ведут какое-то сумеречное существование: вампиры, сексуальные маньячки, полусуществующие в «промежутках между соитиями», озверелые мальчишки, с глазами «серыми и острыми, как нездешняя сталь», дети, которые «бьют молча». Герои рассказов — не исключительные, романтические личности. Мамлеев рвет с традиционно-европейским изображением зла как прометеевского, страдающего, гордо-прекрасного. У него речь идет о самой привычной и будничной повседневности, о городке, где «низенькие дома-коробочки, плакаты о том, что «Бога нет и никогда не было», чад пивных... тупой вой машин». Тоскливый мир обыкновенных городков напоминает скуку Гоголя, которому повсюду мерещились свиные рыла и мертвые души. «Скучно на этом свете, господа».

Вероятно, в наше время демон Лермонтова, одинокий и бунтующий, окончательно вытеснен «мелким чёртом с насморком», пошлым «приживальщиком». У Мамлеева демоническое понимается не по-лермонтовски, он здесь продолжает Гоголя и Достоевского. Его ад — это квинтэссенция пошлости. С кошмарной иллюзорностью изображен мир астральных существ, жующих что-то жирное и обиль-

ное, глядящих свой живот, проводящих большую часть времени в клозетах. Каждый может узнать, несмотря на фантастичность изображения (или даже благодаря ей), знакомую коммунальную квартиру, ее кухонный чад и бестолковую деловитость.

Мир для Мамлеева наполнен духовными энергиями, тонкими, но опасными субстанциями, которые могут поднять к свету, но чаще всего поработают и убивают. В его рассказах есть беспощадный дуализм. Беспощадность эта и безжалостность может показаться не по-христиански жестокой, но она же как бы предупреждает нас: не будьте расслабленными и сонными, не становитесь рабами стихий!

Один из западных критиков заметил, что мысль Мамлеева идет «слишком далеко». Для меня это порицание звучит как похвала. Такие писатели, как Юрий Мамлеев, ясно и захватывающе показывают нам, к какому мрачному поработанию и человекоубийству приводит обычное и обыденное, пошлое человеческое существование. Полуживое и полускрывшее существование, в котором вслед за смертью Бога начинается вобесовление человека. Наше время — время духовного, мистического радикализма, когда зло изобличило себя во всей полноте и силе. И в это проклятое время именно России суждено было стать страной, в которой, по Божию попущению, был открыт простор для действия всех inferнальных сил, но именно в России начался интенсивный поиск противоядия. Русская литература продолжает и сегодня говорить о гибели человека, захлебнувшегося в нигилизме.

Читая книгу Юрия Мамлеева «Изнанка Гогена», мы опускаемся на самое дно колодца. В жуткий и реальный мир зла, где человек погибает окончательно, но за которым может открыться и Спасение, Спасение уже без иллюзий. Из ада может вывести только Тот, Кто сам дошел до его крайних глубин и смог победить, Кто однажды сказал: «Ныне суд миру сему; ныне князь тьмы изгнан будет вон» (Ин. 12, 31).

*Т. Горичева*

## ЛЕСА БУДУЩЕГО ЗДАНИЯ

«Собирать забытые факты, выстраивать их в ряды: именные, хронологические, смысловые, — будем пока строить эти леса для отдельных частей этого большого здания, которое назовется историей отечественной культуры».

«Память». Вып. 5, стр. 431.

Исторический сборник «Память» наконец-то завоевал международное признание. О «Памяти» пишут в США (историк Р. Пайпс назвал сборник «превосходным») и в Англии, во Франции и в Скандинавии. Не обходится и без курьезов: один датский профессор, пользуясь, видимо, информацией из вторых рук, писал в газете «Политикен», что «Память» издается «группой историков-эмигрантов». К счастью и к сожалению, это не так. К счастью — потому, что само существование «Памяти» как *самиздатского* сборника в СССР, несмотря на все репрессии, — это моральная победа независимой историографии над тоталитарным калечением истории. К сожалению — ибо можно только сожалеть, что в эмиграции после войны не существует аналогичного сборника или периодического исторического журнала (а ведь были когда-то прекрасные издания: «Архив Русской Революции», «На чужой стороне», «Голос минувшего на чужой стороне»... А у польских эмигрантов уже двадцать лет выходят «Zeszyty Historyczne»).

Примерно половина материалов, опубликованных в 5-м выпуске «Памяти», посвящена малоизвестным (или вовсе широкой публике неизвестным) страницам истории советской науки. В воспоминаниях Н. Яневич «Институт Мировой Литературы в 1930-е — 1970-е годы» подробно и живо рассказывается о перипетиях существования этого учреждения, начиная с его основания. Н. Яневич пишет: «Я не ставлю перед собой задачи дать историю трудов института. Я собираюсь рассказать о событиях и людях, о том, как с каждой очередной политической «кампанией» формировались

---

Память. Исторический сборник. Выпуск 5. Москва, 1981 — Париж, 1982 (La Presse Libre).

и трансформировались нравы нашего научного учреждения. Одновременно с описываемыми событиями... происходила и собственная духовная эволюция автора, пришедшего в институт молодым и правоверным коммунистом, а покинувшего его уже в старости, радикально переоценив пережитый опыт». О своем восприятии событий 30-х годов автор бесхитростно рассказывает: «А времена... были страшные-престрашные. В стране один за другим проходили памятные политические процессы. Ныне, более сорока лет спустя, просто диву даешься, как это мы принимали за чистую монету все эти невероятные инсценировки, как мы верили всему, что преподносилось сверху. Но наши партийные кадры (в том числе и я, и мои близкие друзья) были так приучены принимать на веру все партийные сообщения и директивы, что оказались неспособными даже и к тени сомнения».

Читатель встретится здесь с портретами умерших и живущих литературоведов и философов. Вот И. К. Луппол (первый директор ИМЛИ), поехавший в 1940 г. на курорт и оказавшийся, вместо курорта, в застенке НКВД; вот мудрый А. К. Дживелегов — в отличие от автора воспоминаний, все прекрасно понимавший и в те годы... Вот история защиты диссертации М. М. Бахтиным. Ученый, именем которого могла бы гордиться любая западная страна, не был признан достойным звания доктора наук. «Он жил, зачастую голодая, в неотапливаемом помещении бывшей церкви...»

В воспоминаниях описаны взаимоотношения ИМЛИ и Отдела Культуры ЦК. Последний имел свой «штаб» в институте из «ловких молодых людей, готовых на любые «подвиги», кроме научных». Автор указывает имена этих молодых погромщиков: Игорь Успенский, Александр Овчаренко и Слава Козьмин. Времена были послевоенные, надвигалась кампания против «космополитов», именно тут проявили свои «таланты» вышеупомянутые молодые люди. (Интересно отметить, что в другом разделе «Памяти», в интервью с Е. Гнединым, тоже рассказывается об одной компании молодых карьеристов — на этот раз в Наркоминделе в конце 30-х годов: «Они строчили доносы и ораторствовали на собраниях. Было известно — да они и сами об этом говорили, — что они собираются в пивной... и решают, против кого начать травлю в данный момент. Беззастенчивые клеветники и карьеристы были... хорошо воз-

награждены Молотовым. Из числа завсегдаев пивной... стали послами: Аркадьев, Коростылев, Малик, Царапкин...» Таков механизм естественного отбора по-советски.) Все обстоятельства борьбы с учеными, обвинявшимися в «космополитизме», «низкопоклонничестве перед Западом», «сионизме», описаны у Н. Яневич ярко и драматично. Рассказывается об известных стукачах из литературоведческих сфер — о Викторе Николаеве («зарезавшем» диссертацию Бахтина, посадившем, в частности, Бориса Сучкова и умершем, когда Б. Сучков вернулся реабилитированным) и о Якове Эльсберге, многолетнем сексоте, виновном в гибели многих людей...

Кроме жертв и палачей, в науке существовала большая категория людей, занятых как будто только своим любимым делом. О них мемуаристка пишет: «И все-таки я имею основания спросить себя сегодня: не было ли у них некоторого подсознательного балансирования между подлинным ученым рвением и приспособлением к официальным нормам советской науки? Между добросовестностью ученого и боязнью... потерять возможность заниматься любимым делом, — а отсюда и стремление закрыть глаза на все прочее, тебя не касающееся, и жить в мире с начальством».

Это верное суждение относится, видимо, к автору другой публикации в 5-м выпуске — к М. В. Муратову (1892 — 1956). Он был автором множества изданных в сталинские времена книг — о Ломоносове, Радищеве, Пугачеве... Но начинал свою научную карьеру он, друг Г. В. Вернадского и М. М. Карповича, как просветитель крестьянства и исследователь религиозной жизни народа. При советском режиме он был сначала вынужден сузить поле своих исследований, а потом и вообще заниматься «не тем»: ушел в писание официозных книжек «для юношества». Подводя итог жизни Муратова, публикатор сборника «Память» пишет во вступлении к его запискам: «Добившись некоторой известности, окруженные общим уважением, один за другим умирают, благополучно заканчивают долгую, полную разнообразных трудов, опасностей и страданий, *бесплодную, в сущности, жизнь* последние питомцы дореволюционных университетов» (выделено мною. — Б. В.). Бесплодную? Не слишком ли категоричен приговор «Памяти»? Но и сам Муратов приходит к той же беспощадной самооценке: «...по

причинам, от меня не зависящим... во многом жизнь должна остаться бесплодной, поскольку я не хочу строить ее по единственному готовому шаблону...» (запись 1932 г.). Излишне говорить, что не одному этому, внешне благоустроенному, ученому режим обесплодил жизнь... И не только «питомцам дореволюционных университетов».

В 5-м выпуске «Памяти» Д. Анастасьин и И. Вознесенский (статьи последнего об истории Академии Наук печатались в предыдущих выпусках) рассказывают о возникновении трех национальных Академий — Белорусской, Грузинской и Эстонской («буржуазной»). И опять, как и в мемуарах Н. Яневич, история этих академий превращается в историю погромов против ученых. Увольнения, аресты, ссылки, расстрелы... Это, впрочем, не касается досоветской Эстонии. А после 1940 года «эмигрировали все члены бывшей Эстонской Академии Наук, за исключением тех, кто успел умереть, и депортированного в Россию Когермана... Но эстонская культура устояла».

«Ученые в офицерской форме» — так можно было бы озаглавить воспоминания Елены Берг, которыми и открывается рецензируемый выпуск «Памяти». Этот рассказ о химиках — сотрудниках Наркомата химической промышленности, направленных сразу после войны в оккупированную Германию. Два года провела Е. Берг в советской зоне оккупации, участвуя в изучении германской химической промышленности и демонтаже оборудования, направляемого из побежденной страны в СССР. Быт советских специалистов, на время переодетых в офицерскую форму, их отношение к немцам, разграбление и увоз немецкого «добра» — обо всем этом автор рассказывает искренне и непредвзято. «Противостоять жажде приобретательства у большинства приезжающих из Советского Союза было практически невозможно. Абсолютно непричастными к этому оставались считанные лица». Об этом, конечно, мы все слышали или знаем, но повествование непосредственной участницы событий имеет особую ценность. А о других событиях: депортации немецких специалистов в СССР в 1946 г., о бессмысленном демонтаже многих промышленных установок и т. д. — об этом пишется, возможно, впервые (по крайней мере, в СССР).

«Память» не ограничивает хронологические рамки своих материалов советским периодом, если в определенных случаях нужно их расширить. С. Федоров, рецензируя советский многотомник «Культурная жизнь в СССР», замечает, что говорить о развитии высшей школы в СССР, ограничиваясь только «красной» территорией и ведя отсчет от «ноль-пункта» — 25 октября 1917 г., — неприемлемо, ненаучно. С. Федоров упоминает о зарождавшихся университетах на территории «белых» и в независимых от большевиков республиках, об эмигрантских русских и украинских вузах — все это, по его мнению, должно было быть отмечено в советском издании. А первая часть его статьи посвящена специально предреволюционным негосударственным вузам: Психоневрологический Институт, Высшие женские курсы, Университет им. Шанявского... А затем о «мытарствах российской профессуры после Октября».

Недавно одна датская журналистка, прожившая год в Москве, упрекала на страницах своей газеты «диссидентов»: мол, их отношение к дореволюционному прошлому такое же, как газеты «Правда», — только с обратным знаком: «Правда» ругает всё, что было до 1917 г., а «диссиденты» «всё» восхваляют. Это утверждение вдвойне неправильно. Во-первых, и «Правда» не «всё» отрицает в досоветском периоде, а во-вторых, и «диссиденты» далеко не «всё» «восхваляют» в предреволюционном прошлом. Да ведь и диссиденты не есть какая-то компактная группа единомышленников, о которой можно сказать: вот их позиция по национальному вопросу, а вот что они думают о монархии и т. д. Но если бы датская журналистка прочитала только 5-й выпуск «Памяти» (но зачем это ей? скучно, поди...), то она узнала бы мнение ее редакции о предреволюционных университетах. И о том, какие лучше — предреволюционные или нынешние советские. Достоинства первых С. Федоров аргументирует довольно основательно.

К истории отечественной культуры относится впервые публикуемая шуточная «Краткая история Всемирной Литературы от основания и до сего дня» писателя Евгения Замятина, снабженная кратким очерком об этом известном полсереволюционном издательстве и приложениями. Это, так



сказать, Самиздат начала 20-х годов. Трудно удержаться, чтобы не процитировать одно место из «Приложения 2»:

«Цензура требует слова «Бог», «Высшая Мудрость», «Вечное Начало»... набирать с маленькой буквы; будучи с ней совершенно согласен, что всякая религия есть опиум для народа, я предложил набирать с маленькой буквы также слова: Магомет, Будда, Конфуций, Аллах, имена всех святых и всех богов древности, а также Мережковский, Бердяев, Лосский, Карсавин, Волынский, причем за Акима Львовича я поручился, что он и подписываться будет с маленькой буквы».

История отечественной культуры тесно связана с политикой, от этого факта никуда не уйдешь. Воспоминания С. С. Гитович «Арест Н. Заболоцкого» возвращают нас снова к 30-м годам, по тематике они примыкают к мемуарам Н. Яневич. И здесь возникает образ еще одного литературного сексота — Николая Лесючевского, известного своими доносами на Н. Заболоцкого, Б. Корнилова и других писателей. Лесючевский умер пять лет назад в лучах официальной славы, несмотря на требования многих советских писателей о привлечении его к уголовной ответственности.

Как и в прошлых своих выпусках, «Память» посвящает немало страниц истории политических организаций, политических процессов и репрессий. С. Д. Рождественский назвал свою статью «Материалы к истории самостоятельных политических объединений в СССР после 1945 года» и рассматривает четыре таких объединения, раскрытых КГБ в конце 50-х — начале 60-х годов: группы Л. Краснопевцева, В. Трофимова, М. Молостова и Н. Драгоша. Читатель заметит, чем отличалась первая из этих групп от других. Кажется, С. Д. Рождественский несколько идеализировал образ Н. Р. Миронова — начальника Ленинградского УКГБ, а впоследствии — начальника адмтдела ЦК КПСС: «...ходил по камерам, пытался что-то понять...» Все прекрасно понимал этот сталинско-хрущевский сатрап, другое дело — время было тогда какое-то зыбкое, не то, что нынешнее... Кстати говоря, идею о «профилактике» политически-неблагонадежных — то, что теперь называется «Предупреждением по Указу от 1972 г.» — подал именно он, Миронов.

К периоду Хрущева относятся и воспоминания писателя К. Косцинского. С юмором описывает он обстоятельства своего ареста и следствия, незавидную роль пресловутого В. Пикуля и других литераторов в его деле.

«Память» печатает интересное интервью с Е. А. Гнединым, сотрудником Наркоминдела с 1922 по 1939 г. Впрочем, иногда кажется, что Гнедин намеренно уходит от некоторых тем. Интересна деталь, характерная для 1937 года, когда Гнедина назначили на пост заведующего отделом печати НКВД. Он приезжает в Москву, и в наркомате, на двери того, кого он должен был сменить, висит записка: «Я сегодня уже не буду. Галкович». Все знают, что Галкович, как и другие, арестован, но поскольку в наркомате бывали иностранные корреспонденты, то вот и вывешивались на кабинетах подобные записки. Жаль, однако, что Гнедин не рассказал о том, как чувствует себя человек, назначенный на должность вместо арестованного вчера коллеги. И что думал коммунист сталинских времен, у которого вчера арестовали друга — такого же высокопоставленного, как и он сам.

В разделе «Документы» печатается публикация Н. Шагина «О кооперации», а в разделе «Дополнения, исправления и письма в редакцию» — письмо профессора Р. Пайпса (и ответ на него «От редакции»). Речь идет о книге Р. Пайпса, отрецензированной в 4-м выпуске «Памяти» — «Россия при старом режиме», но оценка полемики «Памяти» с Р. Пайпсом не входит в мою задачу. Темы этой полемики заслуживают отдельного рассмотрения (и подчас узких специалистов) и не вмещаются в пространство журнальной рецензии. Важно отметить другое: западный ученый вступил в дискуссию, в диалог с историками из «Памяти». Будем же надеяться, что такие дискуссии продолжатся и будут плодотворны для обеих сторон. До последнего времени западная историография могла полемизировать и ссылаться лишь на официальных советских историков, рассматривая неофициальных как явление, так сказать, маргинальное. Теперь, кажется, ситуация, меняется.

*Борис Вайль*

## ПРОФСОЮЗЫ ПО-СОВЕТСКИ

Степень свободы и независимости профсоюзов во многом определяется степень свободы и независимости самого общества. Драматические события, связанные с историей польской «Солидарности», лишний раз подтвердили эту бесспорную истину. У русских профсоюзов — своя нелегкая и славная история. К 1917 г. они стали в России достаточно мощной политической силой и добились серьезных экономических завоеваний. Однако история эта, особенно в послеоктябрьский период, так искажена и фальсифицирована большевиками, что объективному исследователю очень трудно докопаться до истины.

Тем ценнее небольшая скромная книжечка, скупно озаглавленная «Профессиональные союзы в России — 1917-1921», которая была написана старейшим русским социал-демократом и виднейшим деятелем профсоюзного движения в России Петром Абрамовичем Гарви в Париже в 1938 году. С тех пор это уникальное издание дважды переиздано — в 1958 и 1981 годах — и таким образом, к счастью для объективной исторической науки, было вырвано из-под спуда забвения.

Петр Абрамович Гарви родился в Одессе в 1881 году. Всю свою сознательную жизнь он посвятил революционному и профсоюзному рабочему движению и был ревностным поборником свобод и независимости русских профсоюзов. Знаменательно, что в первый раз он был посажен в 1902 году царской охранкой, а в последний — в 1922 году, уже большевиками. Несравненно более злобные противники свободных профсоюзов, чем царское правительство, они беспощадно расправлялись со своими врагами и, конечно бы, расстреляли Гарви, как почти всех его товарищей. Однако ему повезло, он чудом получил разрешение на выезд за границу и в том же 1922 году эмигрировал. В эмиграции П. А. Гарви много и плодотворно работал как профсоюзный деятель и активно сотрудничал в русских газетах. Он скончался в Америке в 1944 году.

Уже в годы первой русской революции 1905 года, состоя

---

П. А. Гарви. Профессиональные союзы в России в первые годы революции (1917-1921). Chalidze Publ., Нью-Йорк, 1981.

с большевиками в едином Петербургском партийном комитете, Гарви с отвращением наблюдал за главными принципами ленинской политики — жестоким централизмом, безграничной авторитарностью и ненасытным стремлением к единоличной власти. Однако во что это может вылиться через какой-нибудь десяток лет, ни сам Гарви, ни его соратники-меньшевики не могли бы себе представить даже в самом страшном сне.

К началу февральской революции именно им, меньшевикам, удалось взять строительство профсоюзов в свои руки. Они резонно рассуждали, что после буржуазной революции страна пойдет по капиталистическому пути развития, и собирались ввести русское профсоюзное движение в рамки международного традиционного рабочего движения. Разве могло кому-нибудь прийти в голову, что одержит победу совершенно утопическая ленинская идея о возможности построения социализма отдельно в отсталой, крестьянской, разоренной войной России?

И тем не менее получилось именно так. Союз утопических большевистских обещаний с их ложью о мире, хлебе и земле эйфорически действовал на измученные голодом и разрухой народные массы. Повсеместно проводилась настойчивая, оглушительная, целенаправленная пропаганда. По этому поводу Гарви справедливо отмечает, что «разнуздывать стихию бессовестной демагогией было легче, чем сдерживать ее голосом разума и вводить в берега объективных возможностей». В этой обстановке созданный летом 1917 года ВЦСПС — Всероссийский Центральный Совет Профсоюзов, — а также подавляющее большинство профсоюзов начало склоняться на сторону большевиков.

Как бы то ни было, но автор признаёт, что большевистский октябрьский переворот произошел при их несомненной поддержке и одобрении. Правда, два политически наиболее зрелых профсоюза: печатников и металлистов — держались настороже. Печатники особенно чутко реагировали на попрание свободы слова и печати и оказали большевикам решительное сопротивление как в Москве, так и в Петрограде. Их орган, газета «Печатник» писала о роковом событии 25 октября: «Это — анархизм, бандитизм, что угодно, но не классовое рабочее движение... Переворот нанесет страшный удар экономической борьбе рабочего класса».

Последствия переворота и впрямь не замедлили себя ждать. Символично, что Первый Всероссийский съезд профсоюзов открылся на следующий день после расстрела безоружной демонстрации рабочих, которые 5 января 1918 года вышли на улицу с лозунгом: «Вся власть Учредительному собранию!» Эта демонстрация оказалась последней и, как видим, трагической попыткой русского рабочего класса проявить свободное волеизъявление. Коммунисты начали и в дальнейшем весьма успешно продолжили дополнение революционных лозунгов беспощадным террором, который был направлен на те самые массы, которые делали революцию и ради которых она совершалась.

Большевики взяли на вооружение чрезвычайно действенный демагогический прием, который без промаха действовал на политически темные, безграмотные массы. «Независимость профсоюзов? — удивлялись ленинцы. — Но для чего она рабочим в их родном советском государстве? Нужно ли защищать интересы рабочих от собственного государства и коммунистической партии, когда нет классового противника?» — «Нужно, — отвечали защитники свободного профессионального движения, — ибо пока рабочий класс остается классом наемных людей, он должен защищать свои интересы даже перед лицом работодателя-государства». За подобные возражения тогда уже начали сажать и расстреливать.

Ленин, как показывает Гарви, мог вообще уничтожить профсоюзы под тем предлогом, что в стране уже существуют рабочие организации в виде Советов. Однако профсоюзы оказались на редкость удобными для большевиков: благодаря им население поголовно организовывалось, массы держались под контролем и подчинялись принуждению и террору. В годы военного коммунизма, к примеру, профсоюзы занимались мобилизацией на фронт, а также организацией подразверстки.

После Брестского мира начался ускоренный развал народного хозяйства, что окончательно подорвало экономическую и социальную основу профсоюзного движения. Начиная и неудержимо разрастался процесс перерождения и вырождения профсоюзов, которые из мощных факторов экономической борьбы и защиты рабочих интересов превращались в советские государственные бюрократические

учреждения. Бюрократизм паутиной опутывал профсоюзные организации. ВЦСПС целиком перешел на иждивение государства, из всех уставов было выброшено слово «стачка», пособие по безработице превратилось в простую фикцию. Парадоксально, отмечает автор, что промышленность катастрофически разрушалась, а профсоюзы разбухали. Этот нездоровый численный рост объяснялся обязательностью членства и взиманию взносов через фабричную контору. Рабочие бежали от голодухи в деревню, но аккуратно платили взносы, чтобы не попасть в разряд «паразитов».

П. А. Гарви последовательно и подробно раскрывает процесс узурпации партией рабочих свобод и превращения профсоюзов в придаток коммунистической диктатуры. Он же подчеркивает, что профсоюзы в их новом качестве вызывали растущее недовольство и разочарованность масс. Возникло стихийное движение протеста, которое носило ярко выраженный политический характер. В Москве готовилась Всероссийская конференция уполномоченных от фабрик и заводов. Характерной была резолюция их последнего собрания: «Нас душит голод, нас мучит безработица. Наши дети валяются с ног от недоедания. Наша печать раздавлена, наши организации уничтожены. Свобода стачек упразднена. А когда мы поднимаем голос протеста, нас расстреливают и выбрасывают за ворота». Движение было сорвано массовыми арестами руководителей в Москве и Петрограде.

Вспыхнувшая в конце 20-х годов внутри самой же коммунистической партии знаменитая чрезвычайно бурная «дискуссия о профсоюзах» была, по мнению Гарви, при всей своей запутанности, ни чем иным, как выражением невозможности продолжать дальше политику военного коммунизма. Только под влиянием Кронштадтского восстания и широко разлившихся по стране крестьянских мятежей Ленин в последнюю минуту сделал крутой поворот и в марте 1921 года объявил нэп. История показала, что нэп был всего лишь хитроумным ленинским маневром, чтобы удержаться у власти. Когда новую экономическую политику ликвидировали, то немедленно восстановили отлаженный в пору военного коммунизма механизм советских профсоюзов. Рамки авторского их анализа ограничены периодом с 1917 по 1921 год. Однако думается, что раскрытие их истории с 30-х годов до наших

дней прибавило бы мало нового и принципиально ничего не изменило бы, потому что суть советских профсоюзов, их построение и функции были продуманы и детально разработаны большевиками еще тогда, на заре их власти, в эпоху кровавого военного коммунизма.

*М. Михайлова*

### «...ТАК ВСЯКИЙ ЗНАК ТОЛКАЕТ НА ПОВЕРЬЕ...»

Несмотря на архаичное слово «Иероглифы» на титульном листе книги Сергея Петруниса, поэтика этой книги откровенно новаторская. Такая двойственность — результат одного из многочисленных противоречий, присущих не только стихам Петруниса: оглядка вспять вообще свойственна нынешнему поэтическому поколению, в особенности поэтам, увлекающимся формальными поисками. Сергей Петрунис — из этого «нового потока». Он родился в 1944 году в Москве, учился на филфаке МГУ, работал редактором. В 1978 году выехал из России, теперь живет в Нью-Йорке.

Хотя его стаж поэта — почти двадцатилетний, Сергей Петрунис для нас — незнакомец. Его поэтический сборник «Иероглифы» не новый, а п е р в ы й. Правда, пару лет назад следы его стихов мелькнули, бегло удивив читателя с чутким ухом, на страницах журнала «Эхо» и здесь, в «Континенте».

Вначале к верлибрам относишься с подозрением — а вдруг непрофессионально? Ведь их так же легко писать, как, на первый взгляд, легко живописцу-любителю создать абстракцию. Однако —

#### *иероглиф «отчаяние»*

удары чайной ложки о стенки фарфоровой  
чашки и истончающие ее.

Здесь явственно проявилась предметная грань мира, одновременно — легкость, словно бы от человеческого вздоха, того дыхания, без которого нет жизни. И создан образ,

---

Сергей Петрунис. Иероглифы. «Руссика», Нью-Йорк, 1982.

безусловный и первозданный — каким и должен быть образ поэтической речи вообще.

В небольших стихах была и достоверная «вещность» — это происходит, когда натренированная память поэта сразу вытаскивает из словаря необходимое слово, четкое и наполненное одновременно несколькими смыслами:

*иероглиф «ласка»*

когда взгляд дотрагивается кончиком языка

Поэзия сборника «Иероглифы» — камерная музыка, интимная лирика. Поэт чувствует себя в мире снов и притч естественно, как, скажем, в осенней роще, где светят рябиновые гроздья:

*иероглиф «волнение»*

ветка вечерней рябины, скользящая по оконному стеклу еле красными пуговицами.

В этой сиюминутности — резкие и четкие касания. Стихи С. Петруниса — не о внешнем, а о состояниях души: «Мне в слове «бездна» слышится веселье, / а в слове «резеда» — болезнь желудка... / Так всякий знак толкает на поверье, / Пока не обернется прибауткой» («Притча»).

Неприятие быта, поэтическая немота, когда речь шла о скучноватой и страшноватой советской реальности, настояжили и оказались тем барьером, который не пустил поэта в официальные издательства. Кроме того, пугала некая усмешка, запрятанная, словно капля яда в безобидной на вид чашечке цветка:

...И вот прекрасный человек  
прекрасный как тюрьма  
Вслух он сказал что он такой  
какой-то не такой он...

Стихи Петруниса исполнены временами прямо балетного изящества. При этом они отнюдь не легковесны. Легкость же он унаследовал, пожалуй, от «обэриутов», не став, однако, неуклюжим имитатором. В этом плане очень удачно стихотворение «Человек прекрасный, прекрасный, чтобы петь».



Но вот раздел «Уровень — Шуша» — игра с читателем в буддийскую премудрость. Нечто манерно-вымученное. Например, стихи идут в обратном исчислении — 98, 97, и так до пятидесятого стихотворения, а за ним осыпается многообразие... Тут много мнимой значительности: «Шуша симпатизирует тому, что отличается Шушей»; или: «Тот, кто найдет Шушу, есть Шуша»... Пустовато и несамостоятельно. И таким псевдотантризмом грешат в последние годы некоторые молодые «архаические новаторы» в Советском Союзе. Такое обязательное новаторство не менее монотонно, чем многие поэтические опусы советских изданий.

Истинный поэт-охотник гоняется не за вычурностью, а за живым словом. А это слово прячется, и порой вместо него выпрыгивают слова-оборотни. Правда, в такую ловушку настоящий поэт попадает ненадолго.

Невзирая на некоторый перепад качества, приятно удивляет многоликость Петруниса-поэта. Первый раздел книги, «Приглашение», — словно из серебряного века, с «флейты-ветки Моцарта». Тут и акмеизм с присущей ему онтологичностью:

хочу проснуться твоей комнатой,  
чтобы ты внутри меня бродила  
и вечерами распевала песни —  
тогда, быть может,  
вновь воскресну?  
(«Утраченная женщина»)

Есть у Петруниса стихи, по эксцентричности схожие с поэзией Николая Глазкова или раннего Глеба Горбовского: «В твоих руках игрушка, / А на губах — печаль, / И словно в чае сушка — / Раствивает даль...»

Но всей душой поэт стремится все же в Азию, в ее культуру, призрачно-желтую, как рисовая бумага...

Печальны стихи —

Божья коровка  
На холодном зимнем стекле  
Скользит...

Я вижу в этом редкостный момент поэтической игры, почти розыгрыш. Но одновременно это и призыв к узнаванию всеобщего:

На рассвете ветер тает,  
обостря тишину.  
Только что ушла...

Это — стремление поэта проникнуть в тайны древней танки. Сергей Петрунис пробует свои силы. Он уже знает свою душу, свои корни. И, невзирая на то, что напряжение в его стихах порою переходит в спад, в его мастерскую заглядываешь заинтересованным глазом. Петрунис — поэт, пока не окончательно состоявшийся. Но зато его трогают не внешние приметы времени, а свет, тень, вечность, миг. Его мысли сцеплены сокровенной иронией. И все эти качества: «воздушность», четкость, строгость к себе — дают гармонию как отдельных стихотворений, так и всех девяти разделов его поэтического сборника «Иероглифы». Самой первой книги поэта.

*Кира Сапгир*

## ВЫЖИВАНИЕ

«Должность Алиханова была поистине сучьей. Тем не менее Борис добросовестно выполнял свои обязанности. То, что он выжил, является показателем качественным».

Так описывает основную черту характера своего главного героя Сергей Довлатов в новой книге «Зона». Всё в этой книге помножено на выживание, всё, казалось бы, исчерпано (язык эзков, лагерная тема, старые служаки с душами оборотней), а всё же свежо и как-то ново. Книга имеет подзаголовок «Записки надзирателя» — очевидно, это и является тем, ныне восполненным пробелом в неисчерпанной и поныне теме Большой Беды. Души довлатовских героев перепутались в одинаковости условий, в похожести языка, желаний, помыслов.

Главного героя Бориса Алиханова, в образе которого угадывается сам автор, окружают парни, отбывающие солдатчину, люди под номерами, лишённые всех свобод, ста-

---

С. Довлатов. Зона. Изд-во «Эрмитаж», 1982.

рые, проверенные кадры энкаведешников, чьи вылинявшие души подобны занюханному матрацу караулки. Образ Алиханова — этого внешне свирепого, а на самом деле доброго и грамотного парня, раскрывает сущность ежедневного выщелачивания добродетельности в системе «Конвойных подразделений».

«Чтобы заслужить казарменный авторитет, достаточно было игнорировать начальство. Алиханов легко игнорировал ротное командование, потому что служил надзирателем. Ему было нечего терять».

Стоп. Воспоминания уносят в Ленинград шестидесятых годов. Жаркий июль. Над Невским проспектом марево полурасплавленного асфальта. По тротуару идет высоченный парень, легкий, красивый, спортивный, иностранец. Девочки тают на ходу при виде такого великолепного экзотического. Он добр и остроумен, легко знакомится с пестрыми типами Невского и окрестностей. Заходит в модное в те годы кафе «Север». Под сводами бывшего петербургского банка, переделанного в начале шестидесятых годов в кафе, напоминавшее скорее вокзал, собиралась за чашкой кофе «золотая молодежь» и вела бесконечные разговоры о литературе, философии, джазе. Библейским патриархом восседал Борис Понизовский. В ореоле надвигавшейся славы появлялся Иосиф Бродский. Эпатирующий всех и вся художник Вильям Бруй и с любопытством наблюдавший окружение поэт Алексей Хвостенко. Часто бывали в кафе писатель Андрей Битов, поэт Константин Кузминский, фотографы Леонид Лубяницкий и Лев Поляков. Сергей Довлатов, терзаемый догадками своего недалекого писательского будущего, заметно выделялся природной статностью и независимостью. И да простят меня все те, кого я не назвал, но все мы жаждали в те годы только одного — скорейшего ПРИЗНАНИЯ. Кому-то повезло, кто-то в этих умопомрачительных гонках опережал других, кто-то явно отставал, как бы еще граня и отшлифовывая свой талант. Но все мы в те годы «кукурузной оттепели», по меткому выражению художника Михаила Шемякина, стремились в неведомый мир ТВОРЧЕСТВА.

«Художник идет другим путем. Он создает искусственную жизнь, дополняя ею пошлую реальность. Он творит искусственный мир, в котором благородство, честность, сострадание — являются нормой. Результаты этой деятель-

ности заведомо трагичны. Чем плодотворнее усилия художника, тем ощутимее разрыв мечты с действительностью. Известно, что женщины, злоупотребляющие косметикой, раньше стареют... Я понимаю, что все мои рассуждения достаточно тривиальны. Недаром Вайль и Генис прозвали меня «Трубадуром отточенной банальности». Я не обижаюсь. Ведь прописные истины сейчас необычайно дефицитны».

В этих отступлениях от основного текста «Записок», написанных уже в Нью-Йорке, Довлатов стремится суммировать всё то ранее недоступное, что ныне в большинстве случаев оборачивается против него. Доброту свидетеля преступлений агонизирующего строя, где многими нами прожита первая половина жизни, некоторые пытаются рассматривать как банальное путешествие в периферийности мышления. Однако правдивые размышления Довлатова попадают при этом в «яблочко», вызывая у многих симптомы защитной реакции. На фоне потрясающих откровений бывших узников: А. Солженицына, В. Шаламова, А. Марченко, Э. Кузнецова, В. Буковского — довлатовское свидетельство волею судеб попавшего в конвойные войска как бы дополняет то недостающее звено, где над пропастью Добра и Зла души узников и надзирателей — суть одной и той же полустертой монеты советского повседневно. Переплетенья состояний, соучастие в одной поднадзорной судьбе, сочувствие (если хотите) друг к другу постоянно враждующих сторон есть прямое свидетельство вечного позора покинутого нами Отечества. Вдумайтесь, как с предельной откровенностью повествует нам об этом Довлатов.

«Советская тюрьма — одна из бесчисленных разновидностей тирании. Одна из форм тотального всеобъемлющего насилия».

Выжить во что бы то ни стало на скользких гранях «Зияющих высот» означает быть вообще вычеркнутым из жизни подневольной системы. Ломка в сознании выявляет почти портретное сходство узников и охранников. И разве не о том же мечтает заключенный после освобождения, что и армейский дружок-кирюха Алиханова, упрятанный под кличку, когда откровенничает на ледяной тропинке зоны.

«Наступит дембель, — мечтал Фидель, — приеду я в родное Запорожье. Зайду в нормальный человеческий сор-

тир. Постелю у ног газету с кроссвордом. Открою полбанки. И закайфую, как эмирский бухар...»

Это предельное желание охранника перекликается с желанием узника, опасного рецидивиста Купцова, которого ни за какие коврижки так и не приспособили к «нормальному», человеческому труду. Не приспособили, потому что это был заматерелый вёр, поплеывающий свысока на чуждое ему общество, сплошь покрытое метастазами лжи.

«— Как здоровье, начальник?

— Ничего, — говорю, — а ты по-прежнему в отказе?

— Пока закон кормит.

— Значит, не работаешь?

— Воздерживаюсь.

— И не будешь?

Мимо нас под грохот сигнального рельса шли заключенные. Они прошли группами и поодиночке — к воротам. Бугры ловили по зоне отказчиков. Купцов же стоял на виду...

— Не будешь работать?

— Нихт, — сказал он, — зеленый прокурор идет — весна! Под каждым деревом — хаза.

— Думаешь бежать?

— Учти, в лесу я исполню тебя без предупрежденья.

— Замётано, — ответил Купцов и подмигнул.

Я схватил его за борт телогрейки.

— Послушай, — ты один! Воровского закона не существует. Ты один...

— Точно, — усмехнулся Купцов, — солист. Выступаю без хора.

— Ну и сдохнешь. Ты один против всех. А значит, не прав...

Купцов произнес медленно, внятно и строго:

— Один всегда прав...

И вдруг я понял, что рад этому зеку, который хотел меня убить. Что я постоянно думал о нем. Что жить не могу без Купцова».

Происходит как бы уравнивание сил. Сорняки и полезные травы — равно выпалываются для проложения основной магистрали, асфальтируемой или бетонируемой в настоящий момент. И становится очевидным единство зоны, единство лишения нормальных человеческих условий

всех ее обитателей. И только алкоголь и чифир уведят от реальности происходящего тех и других, одинаково бредущих по ледяным тропинкам обживаемого пространства. Зэки с осторожностью матерой стаи волков воспринимают доброе отношение к ним со стороны Алиханова. Волки всегда ведóмы естественным отбором и нападают только на больных и слабовольных особей. Таким образом, однажды проявивший к ним сострадательный интерес Алиханов не вызывает со стороны зэков симпатии. При первом же удобном случае они его избивают чуть ли не до смерти. Довлатовский герой видит в этом окончательное разрешение всех своих сомнений.

Несправедливость, насмешка и явное издевательство над национальными меньшинствами «Союза нерушимых» четко подмечены в «Записках надзирателя». Многонациональный перемол в условиях казарменной повинности — отвратителен. Дети кавказских гор не дружат с детьми прибалтийских селений. Осовеченные мусульмане сторонятся уроженцев украинских степей. Старший русский брат — соколом глядит на всех. И, наконец, вся многонациональная солдатчина единокорно презирает евреев. В диалоге капитана Егорова это, правда, звучит как-то сглаженно:

«— Всё же, знающие люди — евреи. Может, зря их давили веками?.. Году в шестидесятом к нам прислали одного. Все говорили — еврей, еврей... Оказался пьющим человеком...»

Эта характеристика хоть и юмористична, но выявляет одну весьма зловещую истину. Все народы, населяющие сегодняшнюю Россию, ведомы к «Светлому будущему» — бутылкой, на которой четко отпечатано всесоюзно-нерушимое слово — В О Д К А!

Книга Довлатова — нужное и полезное свидетельство, в особенности для некоторых ностальгирующих. Откровенность «Записок надзирателя» в сочетании с убийственным юмором является прекрасным путеводителем по оставленной нами Зоне Лжи.

*Михаил Таранов*

# Коротко о книгах

ИЛЬЯ СУСЛОВ

## ВЫХОД К МОРЮ

*«Эрмитаж», Анн Арбор, 1982*

У издательства «Эрмитаж» своя эмблема — маленькая каравелла. Этот значок как нельзя более подходит для сборника рассказов Ильи Суслова: они — о стремлении сменить не только свое место жительства, но и свое место в жизни; рассказы о скитальцах, которые решили жить по-другому. Как угодно — лишь бы по-другому! Иначе зачем было пускаться в плавание по морю житейскому избалованнейшим немолодым столичным мальчикам и привилегированным девочкам, оснащенным журналистскими или союзписательскими билетами? Зачем, скажем, уехал сам рассказчик?

Этот вопрос ставит первая часть сборника — «Наши».

Блестящие мальчики, жившие нарядной жизнью на родине, видели и за границу нарядной и праздничной. Она являлась им в виде залетных заморских гостей, таких раскованных, таких элегантных! Журналисты «Юности», «Литературки», советские «плейбои» за просто могли пообщаться в стенах своих редакций хоть бы даже и с дочкой Рокфеллера (сейчас попробуй-ка, пообщайся с ней!).

Но вот молодой, «красивый, сорокалетний» автор фельетонов отдает под псевдонимом рукопись в родные редакции — а она не проходит: крамолрой попахивает («История одной рукописи»). Или: прекрасная «столичная» девушка примчалась к скорому поезду на малый полустанок, чтобы купить любимому, работающему в глухомани, в подарок... бутылку пива (и той не оказалось в ресторане поезда!) («За пивом»). Шофер такси имеет гору чаевых за... вежливость («Урод»). Так куда деться от всего этого и еще много-много другого?!

И вот — уезжают советские «боярские дети», чтобы стать простыми смертными. Уезжают, не желая платить за мнимую свободу независимостью. Не желая стоять на похоронах вождя братской страны у позорного столба № 465 («Театр»). Не желая, чтобы фельетонистов ваптывала в грязь партийная антисемитка со звериной харей — «товарищ Зверева» («Шельма»). Уезжают, почувствовав, что Пицунда и Коктебель — не «выход к морю».

«Бессонными ночами в Москве я думал, что будет со мной на Западе. Кто я? Что я умею?» — вопрошает автор во второй части, которая названа «Ваши». Эта часть, в основном, об эмигрантской «Одиссее». Рассказы о людях, решивших ассимилироваться, отказавшись от ценностей, которые на новой земле уже не кажутся такими ценными... В новом мире писательский труд не главная профессия, а роскошь. Зато что хочешь, то и печатай, а нет издателя — пожалуйста, издавай на свой кошт «тутиздат»! Много бы дали независимые писатели в России за такую возможность!

«...я улетал из России с легким сердцем. Я был никем. Я был свободен», — пишет автор. У Ильи Сулова оказалось замечательное качество — оптимизм. Оказывается, писатель, работающий грузчиком, продавцом — все равно интеллигент и, пройдя «Американские университеты», остается профессиональным писателем. Правда, автор, жизнерадостно принимая новое, иногда все же относится к Западу со слишком большим пиететом. Когда (в Москве) в редакции газеты при всем честном народе западный кинорежиссер чуть ли не раздевает свою спутницу, киноактрису, автор, вместо того, чтобы возмутиться... умиляется: свобода! А это не столько свобода, сколько хамство по отношению к окружающим.

Однако в целом рассказы эти написаны мужественным, веселым и талантливым человеком, хотя его стиль еще чуть отдает газетным фельетоном.

При этом книга Ильи Сулова «Выход к морю» — прямо-таки отличная психотерапия для людей, не всегда довольных, временами недоумевающих: зачем они приехали и кем будут тут? «...эти вопросы не имеют никакого значения, — говорит автор. — Кем буду, тем и буду. Если у меня есть голова, то что-нибудь еще случится... Зато я увижу мир. Зато я уведу с собой весь мой род...»

*ДОРА ШТУРМАН*

**МЕРТВЫЕ ХВАТАЮТ ЖИВЫХ**  
(Читая Ленина, Бухарина и Троцкого)

*«Оверсиз», Лондон, 1982*

«Для того, чтоб мертвые заговорили, не нужно ни мистики, ни хитроумной техники, ни древних оккультных, ни каких-либо сверхновых наук. Достаточно углубиться в книги и документы», — так пишет автор в прологе к своей книге. И действительно — вопрос



установления истины в том, что касается настоящего, не сфальсифицированного облика этих трех человек, создателей чудовищной машины, именуемой сегодня «реальным социализмом», — решается лишь внимательным и непредвзятым чтением того, что они написали. И вот из сопоставления цитат встает не тот, совсем не тот Ленин, на которого полвека наводят «хрестоматийный глянecь». Циник, властолюбец и... фантазер, теряющий зачастую всякое чувство реального, но быстро одергивающий себя (что видно скорее из того, как одергивает он других) и тут же принимающий наиболее прагматические решения, направленные всегда на одно и то же — власть как самоцель. Выше этой ценности для Ленина нет ничего. И самое поразительное, но неминуемо вытекающее из всех ленинских писаний, — то, что «представление о коммунизме и о путях его построения было у Ленина, судя по его собственным признаниям и писаниям, более чем приблизительным». Крылатая наполеоновская фраза о том, что надо ввязаться в бой, а потом уж видно будет, — вот квинтэссенция всех «глубоких» теоретических положений «вождя и философа».

То же самое можно сказать и о Бухарине, о котором в последние лет двадцать то ли изобретатели «хорошего социализма», то ли профессиональные дезинформаторы всячески стараются говорить как о «хорошем марксисте». Его даже (неофициально, конечно) изображают как некоего предтечу так называемого «еврокоммунизма», а между тем именно он, говоря о том, что в наиболее развитых и цивилизованных странах «революционная гражданская война» будет «еще более жестокой, беспощадной, исключаящей всякую почву для «мирных» и «законодательных» методов», — именно он разоблачил этот самый «еврокоммунизм» еще задолго до рождения оногo. Разоблачил, сам того отнюдь не желая. Но в области саморазоблачения все же ни Ленин, ни Бухарин не превзошли Льва Троцкого.

Автор приходит к очень точному выводу, что, озабоченный демагогическими трюками Сталина, Троцкий принимает их за чистую монету и обвиняет Сталина в термидорианстве. Наивный болтун, Троцкий не видит, что на деле Сталин выполняет скупулезнейшим образом все то, о чем он, Троцкий, говорит слишком уж открыто. То, что Троцкий пропагандировал, Сталин осуществлял, но всякий раз не называя прямо вещи своими именами. Из книги Д. Штурман напрашивается простой вывод: последовательный и откровенный, «чистый» марксизм, не «отредактированный» Лениным, Бухариным или Сталиным, — словом, марксизм «истинный»

— это и есть троцкизм. Но каков же он, этот «чистый» марксизм, без «смягчения» его «ленинизмом»? Д. Штурман пишет: «...через несколько десятилетий этот кошмар в значительной степени станет реальностью маоистского Китая и пол-потовской Камбоджи...»

Когда сегодня западные «советологи» говорят с надеждой о прагматиках, которые, дескать, придут к власти в СССР и все, мол, изменится, они упускают из виду, что это уже давным-давно произошло: такими прагматиками именно и были Ленин и Сталин, при которых коммунизм и верно бывал «мягче», чем мог бы быть, если бы оба упомянутых деятеля не позволяли себе тех «отступлений» от марксизма, в которых их обвиняет Троцкий.

Интересно, что бесчисленные обвинения Сталину со стороны Троцкого сводятся к тому, что Сталин «термидорианец», что он предал коммунизм и по сути уничтожил его. (В этой связи вспоминается книга В. Чалидзе о Сталине, названная «Победитель коммунизма»: та же концепция, только не обвинение, а одобрение.) Обвиняет Троцкий Сталина и в том, что от предал «мировую революцию». Думается, что сегодня Троцкий был бы доволен, видя, что происходит в Афганистане, Эфиопии, Анголе и т. д.

Интересно и убедительно выглядит и рассуждение о том, почему Троцкого убили так поздно — ведь можно было и раньше? Как пишет автор, его убрали тогда, когда отпала нужда в «словоохотливом заграничном инициаторе 'массового вредительства' и 'террора'», а до сих пор он был Сталину нужен, ибо сам без устали твердил о том, что в СССР полно его сторонников. И последнее, на что хочется обратить внимание, это положение автора о том, что если бы Сталин был убит или устранен от власти еще тогда, когда он не успел сделать партию монолитной, сделать партократию отлаженной машиной, то для всего мира это было бы еще хуже: партократия несостоявшаяся «осталась бы, подобно Парижской Коммуне, в памяти человечества как одна из величайших и желаннейших возможностей, не реализованных только в силу победы злобной реакции».

Книга Доры Штурман, с ее обилием фактического материала, с ее точностью формулировок представляется явлением весьма значительным в политической литературе последних лет, ибо разрушает все и всяческие легенды о «хороших», «плохих» или «посредственных» социализмах. Все оттенки обусловлены лишь насущными тактическими задачами, тогда как стратегическая задача всех социализмов, независимо от воли их создателей, всегда одна: власть

и нивелировка душ, насильственное приведение всего мира к единому знаменателю.

И еще один полезный вывод из этой книги: если в СССР еще остались люди, верящие в возможность «хорошего социализма», то это лишь потому, что марксизм они изучали по бесчисленным пересказам, а взять и прочесть хотя бы Ленина, так сказать, «в подлиннике» не удосужились.

*НИКОЛАЙ РОСС*

## **ВРАНГЕЛЬ В КРЫМУ**

*«Посев», Франкфурт-на-Майне, 1982*

В начале ноября 1920 года прекратила свое существование созданная генералом Врангелем в Крыму «опытная ферма» государственного строительства. Под натиском врага навсегда покинули родину последние белые части на юге России, красный режим безраздельно установился на всей русской земле. И о том, что «белое» государство, хоть на крохотном сравнительно клочке земли, все-таки существовало, все быстро постарались забыть. И в самом деле, зачем о нем было вспоминать советским историкам? Ведь существовала и успешно развивалась, словно в укор советчикам, белогвардейская маленькая страна, в которой министры зарабатывали меньше, чем рабочие, которая не знала голода и чекистских застенков. На Западе о Врангеле тоже постарались быстро забыть — как-никак Черный барон, реакционер и прочее, и прочее...

Тем отраднее, что живущий на Западе молодой специалист по русской истории Николай Росс впервые в отдельной монографии раскрыл и показал внутреннюю эволюцию белого крымского государства. Н. Росс любовно и старательно собрал и систематизировал многочисленные никому неизвестные документы и фотографии, затронул узловые вопросы экономики, управления, социального и культурного строительства государственного образования, которое при иных, благоприятных, условиях могло бы стать образцом для всей России.

За ничтожный исторический отрезок времени генерал Врангель сумел добиться очень многого: он провел земельную реформу, обеспечил снабжением забытый войсками и беженцами Крым, водворил дисциплину в распущенных, деморализованных частях, добился

расположения к своему правительству ряда европейских держав и официального признания Францией и боролся с большевизмом до последней возможности, а когда понял, что поражение неизбежно, — спас от верной гибели 150 000 человек, доверивших ему свою судьбу.

Политику Врангеля нередко называют «левой политикой правыми руками» (хоть с чёртом, но против большевиков). Он предлагал сотрудничество самым различным группировкам — от эсеров до бывших реакционных царских министров, от митрополита Антония Киевского до батьки Махно. Борьба шла не на жизнь, а на смерть. Как говорил сам генерал Врангель: «Грудь против груди стоим мы против наших родных братьев... За нами бездонное море. Исхода нет». И он же с присущей ему энергичной красочностью выразился о движущих силах своей политики: «Я добиваюсь, чтобы в Крыму, чтобы хоть на этом клочке сделать жизнь возможной, то есть сказать остальной России — вот у вас там коммунизм, то есть голод и чрезвычайка, а здесь идет земельная реформа, вводится волостное земство, заводится порядок и возможная свобода».

Генерал Врангель и входившие в его правительство такие выдающиеся общественные и политические деятели, как П. Н. Шатилов, А. В. Кривошеин, П. Б. Струве, справедливо полагали, что корень всей современной разрухи, революции и братоубийственной войны кроется прежде всего в неупорядоченности земельного вопроса и в характерных для России деревенских беспорядках. Вот почему в основу своей «опытной фермы» Врангель ставил прежде всего схожую по замыслу со столыпинской земельную реформу и введение местного демократического самоуправления. Проведение земельной реформы становилось совершенно безотлагательным, ибо, по мысли Врангеля, должно было выбить из рук большевиков главное оружие политической борьбы. Что же касается сути самой реформы, то закон отдавал землю не всему народу вообще, как это выражалось в абстрактных ленинских призывах, а закрепляло ее за каждым хозяином в вечную, наследственную, нерушимую собственность. Лишь в таком случае она становилась в полном смысле этого слова — собственностью.

Как бы ни была трудна жизнь, расстроены финансы и развита спекуляция, тем не менее, в Крыму осенью крестьяне собрали достаточное количество зерна, заготовили мяса и растительного масла для безголодного существования на следующий год. Правительство Врангеля проводило политику преимущественной опоры на крестьян-домохозяев, которые стали также краеугольным камнем в орга-

низации волостного самоуправления. Безусловно, обстановка военного времени, неустойчивость политического положения, неуверенность в завтрашнем дне вызывали у крестьян недоверие и осторожность, тем не менее, генерал Врангель, умеющий действовать чрезвычайно активно, ставший во главу угла широкую гласность и по возможности полное освещение вопроса в самой гуще крестьянского населения, добился немалых успехов. Самое горькое заключается в том, что историей ему было отпущено мало времени на развитие и укрепление достигнутого.

Если крестьянство и интеллигенция Крыма в целом поддерживали генерала Врангеля, то рабочие в основной массе были настроены оппозиционно. Правительство Врангеля успешно вело антизабастовочную борьбу и, что очень важно, отлично сознавало, что социальный мир надежнее обеспечивается улучшением условий жизни, чем самыми жестокими мерами воздействия. Поэтому было решено выдать рабочим не только пособие, но дать их продовольственным органам беспроцентную ссуду. Впрочем, к самым активным пробольшевистским элементам применялась своеобразная и чрезвычайно действенная мера воздействия: высылка в советскую Россию! Это влияло сильнее, чем тюрьмы и даже расстрелы. Надо сказать, что большевистское подполье орудовало в Крыму весьма активно и смело. Врангелевская контрразведка раскрыла большой заговор, в число организаторов которого входили люди из непосредственного окружения Врангеля и даже личный его шофер.

По сути дела, книга Николая Росса — это сборник документов, специального развернутого анализа автор не проводил, однако эти документы, систематизированные, со всей полнотой раскрытые, удачно отобранные, сами по себе настолько красноречивы, что не нуждаются в особых комментариях. Врангель в Крыму проявил себя замечательным организатором и социальным экспериментатором. Он хотел доказать, что русское общество созрело для демократических преобразований, — принципы федерации и земельной реформы составляли основу его политики. Только поэтому украинцы-самостийники вошли с ним в контакт, а крымские татары ждали реально разработанной и проведенной в жизнь автономии.

В маленьком, блокированном со всех сторон государстве Врангеля существовало двадцать газет различных политических направлений! Несмотря на жесткие законы военного времени, цензура не допускала лишь разглашения военной тайны, порнографии и призывов к классовой борьбе. Был издан специальный приказ, запрещающий публичные выступления, которые сеют политическую или на-

циональную рознь. Врангель неоднократно заявлял, что его конечной целью является предоставление возможности русскому народу самому свободно выразить свою волю относительно будущей формы правления в России. В книге Росса подробно описано одно из самых интересных дел правительства Врангеля — попытка построить русскую государственность на основе местного управления. Вполне возможно, что сложись иначе в то роковое время расстановки сил, крымская «опытная ферма» генерала Врангеля стала бы зерном будущего социального устройства России. К сожалению, история рассудила иначе. Победил большевизм, который был, по словам одного из сподвижников Врангеля Н. Н. Львова, «...реакцией, возвращением к самому дикому средневековью... страшным явлением природы, которое все губит на своем пути». Но как бы то ни было, опыт иного пути был, и для истории нашей страны он не пройдет бесследно.

## АЛЕКСАНДР ДАВИДОВ

### ВОСПОМИНАНИЯ

*Париж, 1982*

Книга воспоминаний Александра Васильевича Давыдова (1881 — 1955) не похожа на обычные мемуары. И хотя названа она просто «Воспоминания», но собственно воспоминаний автора, очевидца и участника событий первой половины века, в ней совсем немного. Книга скорее вобрала в себя воспоминания семейные — за полтора столетия российской истории, а уж эти полтора столетия столь богаты всякими событиями, что хочется отнести книгу скорее к жанру исторических трудов, чем к мемуарам. Своеобразие этого труда прежде всего в том, что это история, изложенная не столько профессионалом-историком, сколько человеком, принадлежавшим к семье, а вернее, к семьям, сыгравшим первостепенную роль в истории России, и потому особенно интересно читать эти отрывочные, вроде бы непоследовательно расположенные главы, каждая из которых — отдельная работа. Связаны они меж собой лишь авторским взглядом на людей и события, имевшие то или иное отношение к предкам А. В. Давыдова.

А среди предков этих — многие из «ключевых фигур» русской истории, особенно относится это к началу прошлого столетия: Да-

выдовы, Лаваль, Трубецкие, Раевские, Волконские... И в конце века: Ливены, Римские-Корсаковы, фон Мекк (что уже неотрывно от имени П. И. Чайковского)...

Знаменитое имение Каменка, центр Южного общества декабристов, а позднее — имение, связанное опять-таки с памятью о П. И. Чайковском... Таким образом, книгу эту можно охарактеризовать скорее как историю, изложенную «изнутри», в форме семейных преданий.

Очень много места уделяет А. В. Давыдов не только истории декабристского движения, тайным обществам, политическим позициям тех или иных деятелей (Никита Муравьев, Павел Пестель), но и своей сегодняшней оценке тех или иных событий и роли их в последующих событиях, вплоть до судеб страны в наши дни. «Легко представить себе, какое благоденствие царило бы в нашей стране и как легко дышалось бы в ней сейчас, если бы сто двадцать пять лет назад мечты декабристов сбылись», — пишет А. В. Давыдов. И проводит такую мысль, что, не говоря уже о том, что осуществление конституции Никиты Муравьева вывело бы Россию на те рубежи, на которые полувеком позднее с таким трудом вытаскивал ее великий реформатор Александр Второй, но даже худший вариант — революция, такая, как предполагали ее Пестель и другие экстремистски настроенные члены тайных обществ, произойди она «во-время», то есть на век раньше, чем произошла, не дала бы такого рокового исхода, при котором послереволюционная республика просуществовала всего восемь месяцев и пала жертвой тоталитарного переворота. Декабристская революция, победи она, привела бы страну к демократии — вернее всего, к конституционной монархии, при которой император пользовался бы правами, равными правам президента США и не более того, как предусматривала это конституция Н. Муравьева.

Семейные предания дают автору возможность говорить со знанием дела как о планах Южного общества, так и о намерениях Северного: один из его предков — С. Трубецкой — был единомышленником и другом Н. Муравьева, а другой — В. Давыдов — ближайшим сотрудником П. Пестеля.

Но книга не ограничивается только историей декабристов, поскольку в собственно мемуарных частях ее автор рассказывает о своих встречах с Л. Толстым, о своем участии в русско-японской войне, о недолгом пребывании в составе крымского правительства 1918 года и о множестве событий, близких к нашему времени. Интересны и рассуждения А. В. Давыдова о масонстве, о еврейском

вопросе, о своей службе в Министерстве финансов перед первой мировой войной...

Один из эпизодов, изложенных в книге, говорящий о настроениях крестьянства после октябрьского переворота, необходимо тут привести. В имении автора «Саблы» (в крымских степях) крестьяне, которым приказано было создать коммуну, предложили самому А. В. Давыдову быть ее председателем, несмотря на сопротивление солдата-пропагандиста, присланного из Симферополя. Еще раньше его же крестьяне избрали его в сельсовет, но его кандидатура была, разумеется, тут же снята представителем горсовета, специально приехавшим для этого из Симферополя...

Бывший редактор газеты «Таврический голос» (выходила в Крыму в 1919 — 1920 годах), а в эмиграции — член редколлегии и администратор газеты «Возрождение», А. В. Давыдов не успел дописать свою книгу, остановившись на самом начале двадцатых годов. Уже после смерти автора рукопись его была разобрана, отредактирована и издана его дочерью О. А. Дакс, которая добавила к ней послесловие, где кратко излагает свои две поездки в СССР: там ей удалось посетить места, описанные в книге ее отца.

**НОВАЯ КНИГА**

**А. Авторханова**

**МЕМОАРЫ**

Долгий путь деревенского мальчика из глухого чеченского аула через партийные верхи, через чекистские подвалы, через трагические годы войны, через «эмигрантскую политику», через безграничную западную наивность запечатлен в этой книге с темпераментом, свойственным кавказским народам и самому автору большого числа популярных книг.

1983

768 с.

60 н. м.

Possev-Verlag, Flurscheideweg 15, D-6230 Frankfurt a. M. - 80



**А. Авторханов**

## **Происхождение партократии**

в двух томах

При Аристотеле были уже известны три главных формы правления: автократия, аристократия и демократия. Коммунистическая партократия, будучи уникально новой формой правления, все же несет в себе и важнейшие элементы всех трех классических форм — автократии (тирания Сталина), олигархии (диктатура Политбюро) и псевдодемократии (система Советов). В этой книге увлекательно и простым языком описывается постепенное, но систематическое формирование тоталитарной власти в СССР.

Том 1, 1981	728 с.	34 н. м.
Том 2, 1983	536 с.	36 н. м.

## **Технология власти**

Это — классический, самый известный, труд автора, написанный в 1955-1957 годах и в третий раз переизданный по запросам из России.

1983	812 с.	50 н. м.
------	--------	----------

Possev-Verlag, Flurscheideweg 15, D-6230 Frankfurt/M. - 80

ИЗДАТЕЛЬСТВО «LA PRESSE LIBRE»  
217, rue Faubourg St. Honoré 75008 Paris.

## НОВЫЕ КНИГИ

Мемуарно-историческая серия

### Память. Исторический сборник. Выпуск 5 520 стр. 45 н. м.

Наиболее авторитетное научное издание, посвященное замолчанной и искаженной русской истории XX века. Готовится в Советском Союзе в самиздате.

**Настоящий выпуск включает:**

- воспоминания о советской оккупации послевоенной Германии, о 40-летней истории Института мировой литературы и об одном из наиболее ранних писательских процессов времен «оттепели»;
- материалы по истории культуры: попытки создания национальных академий после революции и их удушение; история высшей школы и искажение ее в советских изданиях; судьба изд. «Всемирная литература», основанного М. Горьким; арест Н. Заболоцкого;
- материалы к истории подпольных политических организаций в СССР в 50-е годы; советская дипломатия 30-х годов (интервью с Е. А. Гнединым); материалы о гибели свободной кооперации, поглощенной государством в 20-х годах;
- ответ проф. Р. Пайпса на рецензию, посвященную его книге «Россия при старом режиме» («Память», вып. 4) и множество других материалов.

Публикации снабжены детальными комментариями, вступительными статьями, редкими фотографиями, многие из которых публикуются впервые. Полный указатель имен.

## **Андрей Белый. Воспоминания о Штейнере**

**Подготовка текста, вступительная статья и комментарий проф. Фредерика Козлика. 420 стр. 36 н. м.**

В начале XX века имя Рудольфа Штейнера было чрезвычайно популярно в России, особенно в среде столичной интеллигенции, а идеи его помогали формированию философских и эстетических концепций русских символистов. Десятки людей отправлялись в Германию на лекции знаменитого профессора, многие — надолго, а иные — навсегда становились его учениками.

На А. Белого личность Штейнера и его христианская антропософия оказали глубочайшее влияние. Дважды прослушал Белый полный курс его лекций, больше года жил в Дорнахе, постоянно общаясь с «доктором» и принимая участие в постройке его детища — «Гетеанума». Там же, в Дорнахе, под непосредственным влиянием Штейнера написан был «Котик Летаев». Необычайный пиетет и восторженно-любовное отношение к «Учителю» сохранял Белый всю жизнь.

## **Евгений Шварц. Мемуары.**

**Подготовка текста, вступительная статья и примечания Л. Лосева (США). 250 стр. 21 н. м.**

Евгений Львович Шварц (1896—1958) пользуется славой крупнейшего русского драматурга послереволюционной эпохи. Его блестящие комедии, особенно «Голый король», «Обыкновенное чудо», «Тень», «Дракон» — жестокая антисталинская сатира — постоянно ставятся на театральных подмостках России и всего мира.

Гораздо меньше известно его мемуарное творчество. Начиная с 30-х годов, Шварц постоянно вел подробные дневники, записывая в толстые канцелярские книги события окружающей жизни, свои впечатления и мысли, делая зарисовки людей, с которыми сталкивался. Воспоминания рисуют литературно-художественный быт Ленинграда 20-30 годов, дают острые и неожиданные портреты его современников. Так, совершенно необычными, нетрафаретными предстают в них Чуковский, Маршак, Олейников, Житков, Лебедев...

Настоящее издание осуществляется по оригинальной авторской рукописи.

# ГРАНИ

**ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ**

Стоимость подписки на 4 номера:

**в издательстве — 56 н. м.**

**через магазины — 70 н. м.**

# ПОСЕВ

**ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ  
ЖУРНАЛ**

Стоимость подписки на 12 номеров:

**в издательстве — 72 н. м.**

**через посредников — 84 н. м.**

**СТОИМОСТЬ В РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖЕ:**

**«ГРАНИ» — 17.50 н. м., «ПОСЕВ» — 7 н. м.**

Подписную плату следует посылать:  
почтовым переводом или чеком (в письме)  
по адресу

**POSSEV-VERLAG**

**D-6230 Frankfurt/Main 80, Flurscheideweg 15**

**или же банковским переводом на**

**Konto 2 412 755, Dresdner Bank, Frankfurt/Main**

**или на почтовый счет**

**Postscheckkonto 334 61-608, Frankfurt/Main.**

# По страницам журналов

ZESZYTY LITERACKIE, Nr. 1, 1982

## «ЛИТЕРАТУРНЫЕ ТЕТРАДИ» — НОВЫЙ ПОЛЬСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ ЗА ГРАНИЦЕЙ

Выход нового эмигрантского журнала, почти полностью посвященного литературе, как и разговор о нем при нынешних обстоятельствах, — дополнительный вклад в извечную польскую дискуссию: «Стоит ли плакать о розах, когда пылают леса?...»

Год военного положения поставил культуру и искусство под угрозу весьма серьезную. После широчайшего развития независимой печати (в том числе литературных журналов) в конце 70-х годов, после существенного ослабления цензуры в эпоху «Солидарности» — возможности подлинного творчества (не под диктовку коммунистической власти) достигнуть тех, кому оно предназначено, стали теперь ничтожными: писатель обречен писать «в стол» или — с большим риском, чем прежде, печататься за границей. Хорошо организованное подполье, имеющее развитую полиграфию, в основном использует свои полиграфические возможности на информацию населения об общественно-политической обстановке в стране. Выходят многочисленные листовки, информационные бюллетени, даже книги, но в большинстве они имеют характер фактографический или аналитический — литература занимает в них малое место.

В начале декабря 1982 г. в Польше вышел первый номер ежеквартального журнала «Зэшиты литерацке» («Литературные тетради»). В его редколлегию входят Станислав Баранчак, Эва Беньковска, Войцех Карпинский, Эва Курылюк и Барбара Торунчик — всё это люди, в 70-е годы тесно связанные с независимой прессой (в особенности с журналом «Запис», традиции которого новый журнал, по-видимому, стремится продолжить). Редакция поставила себе целью представить творчество польских авторов — живущих как в эмиграции, так и на родине, — но в то же время и произведения авторов из других стран «соцлагеря».

Первый номер журнала открывается произведениями трех редакторов журнала — это новый, уже во время военного положения написанный цикл стихов Станислава Баранчака, эссе Эвы Беньковской с анализом стихотворения Чеслава Милоша «Народ» и фраг-

мент из новой книги Войцеха Карпинского «Американские тени», озаглавленный «Встреча с Набоковым»: встретившись с сыном писателя, Дмитрием Набоковым, автор размышляет о судьбе и творчестве Владимира Набокова.

В разделе «Центральная Европа», который станет в журнале постоянным, напечатаны статья Милана Кундеры «Чешское пари» и великолепная одноактная пьеса Вацлава Гавела «Аудиенция» с послесловием автора.

В разделе «Проза и поэзия» проза представлена польскими авторами: рассказ Владзимежа Одоевского, дневники Юзефа Чапского, отрывок из книги Казимежа Брандыса «Месяцы» (запись личных переживаний и размышлений автора на фоне событий 1982 года в Польше и в мире), а поэзия — русскими: три стихотворения Иосифа Бродского, в том числе «Полонез: вариации», и стихотворение Натальи Горбаневской «Господи, Господи, ночь и туман...» — всё в замечательных переводах Станислава Баранчака.

Исключительно интересна и своеобразна статья литовского поэта Томаса Венцловы «Игра с цензором», открывающая следующий раздел — «Политика и искусство». Автор представляет свою точку зрения на некоторые формы «борьбы с цензурой» в тоталитарных странах. Писатели самыми разными способами (например, в форме аллюзии) стремятся протащить в издаваемые произведения хотя бы крупицу запретной правды. Читатели этих усилий чаще всего не замечают, и запретная правда их не достигает, автор же при этом подчиняется механизмам власти, цель которых — парализовать его и нейтрализовать. В результате, теряют на этом и читатели, и сам автор, который размыкает свой творческий потенциал в иллюзии, что борется с цензурой. Теряет на этом культура, а выигрывает Цензор — власть.

В какой-то степени с темой, затронутой Т. Венцловы, сближается статья Агнешки Холланд «Заметки о молодом польском кино». Сценарист и режиссер, автор говорит о феноменальном развитии молодой польской кинематографии в последние 5—7 лет. Взбунтовавшиеся против тотальной коммунистической лжи молодые режиссеры (т. н. школа «нравственной тревоги») заложили фундамент того, что в будущем могло стать подлинным польским киноискусством. Ныне дилемма: последовательно встать в оппозицию к коммунистической власти, которая объявила обществу войну, или искать возможность по официальным каналам провести крупицу правды и гнева — видимо, стоит перед всеми честными художниками, но положение кинематографистов (по сравнению, на-

пример, с писателями) усугублено их зависимостью от технических, дорогостоящих средств выражения. Решительного ответа не дает и автор статьи. Заметим, что сама Агнешка Холланд живет пока во Франции, но не сделала окончательного выбора между положением эмигранта и возвратом на родину.

Номер завершается заметками Эвы Курылюк о двух выставках независимой группы художников в Польше в 1971 и 1981 гг. и ее же воспоминаниями о знаменитом фотографe Мареке Гольцмане, скончавшемся в августе 1982 г.; текстами песен Яцека Качмарского, самого молодого автора журнала; заметками К. А. Еленского — представителя послевоенной эмиграции, одного из постоянных авторов «Культуры», — на различные темы литературы и искусства.

Можно заметить, что в первом номере журнала лишь один автор представляет тех, кто творит за железным занавесом, — Вацлав Гавел. Вероятно, готова первый номер, редакция еще не нашла надежных каналов связи. Возможно также, что авторы в Польше пока предпочитают хорошо известные и надежные издания (недаром «Культура» за прошедший год публиковала и стихи Виктора Ворошильского, и прозу Марека Новаковского, и многое другое). Можно надеяться, что после первого номера и новый журнал стал в Польше известен и на страницах его продолжится процесс сохранения всего, что возможно, из замирающей культурно-художественной жизни страны.

*Радослав Новак*

## **СНОВА В ПРОДАЖЕ**

# **РОССИЯ В ЭПОХУ РЕФОРМ**

Сборник статей под редакцией  
В. Желягина и Н. Рутыча.

1983

408 с.

28 н. м.

Possev-Verlag, Flurscheideweg 15, D-6230 Frankfurt/M. - 80

ИЗДАТЕЛЬСТВО «LA PRESSE LIBRE»  
217, rue Faubourg St. Honoré 75008 Paris.

## Н о в ы е к н и г и

### Религиозно-философская серия

**А. А. Мейер. Философские сочинения.**  
500 стр. 37 н. м.

Александр Александрович Мейер (1855—1939) принадлежал к плеяде свободных русских философов, ставших творцами русского религиозно-философского возрождения начала XX века. Начав с увлечения анархизмом (в начале 1900-х годов вместе с Георгием Чулковым он становится идеологом «мистического анархизма» в России), пройдя через богоискательство (долгие годы М. был секретарем СПб Религиозно-Философского общества, а затем вместе с А. Блоком и А. Белым стал основателем Вольной Философской Ассоциации), — он приходит к созданию собственной оригинальной религиозно-философской системы. В 1928 г. его арестовывают за «контрреволюционный заговор». Приговор — смертная казнь, которую заменяют на 10 лет Соловецких лагерей. Но и в лагере, и в последующей ссылке Мейер продолжает работать, писать.

Творчество А. А. Мейера почти неизвестно широкому читателю. После 1918 в печати его имя не появлялось.

Собрание включает большинство законченных философских работ А. А. Мейера, из которых лишь одна («Религия и культура», 1909) была опубликована ранее. Остальные работы публикуются по рукописям из архива А. А. Мейера. Книга снабжена двумя предисловиями — историко-биографическим и философским — и полной библиографией работ А. А. Мейера.



## **Владимир Зелинский. Приходящие в Церковь.**

**64 стр. 18 н. м.**

Книга молодого московского автора посвящена проблемам христианского движения в современной России. Трудности, с которыми сталкиваются «приходящие в Церковь», положение самой Церкви в атеистическом государстве, необходимость для нее ответить на нужды нового поколения верующих, рост «у церковных стен» молодой христианской общественности — все это становится объектом исследования автора, сознающего себя частицей этого движения.

## **Наталья Баранова-Шестова. Жизнь Льва Шестова.**

**По письмам и воспоминаниям современников.**

**В двух томах.**

**Том 1-й. 380 стр. 36 н. м.**

**Том 2-й. 400 стр. 36 н. м.**

Академически полная биография одного из крупнейших русских религиозных философов, составленная его дочерью на основании обширного архива Л. Шестова, неизданных воспоминаний его друзей и последователей, материалов и книг его современников. Книга включает письма Шестова и письма к нему Бердяева, Бергсона, Бубера, Булгакова, Гершензона, Гиппиус, Гуссерля, В. Иванова, Леви-Брюля, Ловцкого, Ремизова, Фондана, Хейдеггера, Шлецера и множества др. писателей, философов и общественных деятелей, воссоздавая не только биографию Льва Шестова, но и всю его эпоху — от конца прошлого века до начала Второй мировой войны.

# НАДЕЖДА

Христианское чтение

Составитель — *Зоя Крахмальникова*

Выпуск девятый — в печати

ПРЕДАНИЕ · ОТЦЫ ЦЕРКВИ · ЖИЗНЬ ВО ХРИ-  
СТЕ · ПРАВОСЛАВНОЕ ПАСТЫРСТВО · МУЧЕНИ-  
КИ XX ВЕКА · РУССКИЕ СУДЬБЫ · ВОСПИТАНИЕ  
ДЕТЕЙ · ПРОБЛЕМЫ ХРИСТИАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

392 с. Цена — 24 н.м. (Магазинам, церковным  
приходам и другим распространителям — скидка).

*Сборники «Надежда. Христианское чтение» нуж-  
ны в России. Приобретайте их для переправки в  
Россию. Шлите нам пожертвования для той же  
цели.*

Possev-Verlag, Flurscheideweg 15, D-6230 Frankfurt a. M. - 80

# Наша анкета

## ИНТЕРВЬЮ С МАКСИМОМ ШОСТАКОВИЧЕМ

— Максим Дмитриевич, говоря о вас, о вашей музыкальной карьере, о ее раннем начале, никто, разумеется, не забывает упомянуть, чей вы сын. Но на этом часто и останавливаются. Не можете ли вы рассказать немного о вашем детстве и юности, о ваших первых шагах пианиста и дирижера?

— Я родился в 1938 году в Ленинграде. До войны наша семья жила в Ленинграде, а когда началась война, мы эвакуировались в Куйбышев и в 1944 году переехали оттуда в Москву. С семи лет я начал заниматься музыкой с педагогом Еленой Ховен. Она же учила и мою сестру Галину, которая потом выбрала профессию врача, отказавшись от профессиональных занятий музыкой.



Я же с детства мечтал быть дирижером. Это желание возникло еще в Куйбышеве, на премьере Седьмой симфонии Шостаковича: отец взял меня на этот концерт, хотя я и был еще мал. Позднее папа брал меня на репетиции своей Восьмой симфонии — под управлением Евгения Мравинского. Все меня покорило: и облик дирижера, и сама его работа с оркестром. Однако отец считал, что и для будущего дирижера необходимо сначала пройти фортепианную школу, и я поступил в ЦМШ — Центральную музыкальную школу при Московской консерватории, в класс той же Елены Ховен.

Все время, что я учился в школе, отец из года в год писал фортепианные пьесы возрастающей трудности. К окончанию школы он сочинил и посвятил мне Второй фортепианный концерт, и я был первым исполнителем этого концерта. Его первое исполнение состоялось 10 мая 1957 года (в мой день рождения) в Большом зале Московской консерватории. Этот же концерт я играл на вступительном экзамене в консерваторию.

В Московской консерватории я начал совмещать занятия по фортепиано с дирижерским классом, который постепенно стал моим основным. Моими профессорами в дирижерском классе были Александр Гаук, Натан Рабинович, Игорь Маркевич и Геннадий Рождественский. По классу Г. Н. Рождественского я закончил консерваторию и начал работать ассистентом дирижера.

— Простите, а что это значит: ассистент дирижера?

— Должность ассистента дирижера состоит в том, что он и готовит собственные программы, и должен быть готов в любой момент заменить на репетиции или на концерте дирижера, стоящего за пультом оркестра. Для начинающего дирижера это нагрузка серьезная, но очень плодотворная. Я был ассистентом в Московском симфоническом оркестре под управлением Вероники Дударовой. С этим оркестром я изъездил всю страну, дирижировал на многих концертах. Эта работа была для меня весьма полезной: я познавал «оркестровую кухню» и одновременно обогащал свой репертуар.

Через три года я поступил в Государственный академический симфонический оркестр СССР, тоже на должность ассистента, но сам оркестр был по классу выше. С этим оркестром я много путешествовал — уже не только по всей стране, но и за границей: в Европе, Японии, США, — записывал пластинки класси-

ческой музыки. Я очень многому научился у главного дирижера оркестра Евгения Светланова.

А в 1971 году я был назначен главным дирижером и художественным руководителем Симфонического оркестра Всесоюзного радио и Центрального телевидения — с ним я проработал десять лет, до того самого момента, как решил не возвращаться в СССР. С этим оркестром мы выпустили 60 пластинок, записали музыку для множества кинофильмов, сделали фондовые записи классической и современной музыки — в их числе почти все симфонии и инструментальные концерты Дмитрия Шостаковича.

Кроме того, я много выступал с другими оркестрами — и в СССР, и за границей.

— Каковы были ваши взаимоотношения с отцом?

— Знаете, у меня вообще с родителями: и с мамой, которая умерла, когда мне было всего 16 лет, и с отцом, особенно с отцом, — отношения были редкостные, можно сказать, идеальные. Я не помню, чтоб хоть раз, хоть в чем-то у нас с ним были расхождения. Всегда было теснейшее содружество. Он не давал мне, так сказать, «академических» уроков, но именно его я считаю своим главным учителем — и в жизни, и в музыке.

— А что значит для вас композитор Шостакович? Конечно, если вам не трудно ответить на такой вопрос.

— Нет, не трудно. Оценивая музыку Шостаковича, я не исхожу из того, что я его сын. Он для меня поистине гениальный творец. «Гений» в моем понимании — это и художник, и человек, и мыслитель, философ, поднимающийся в своем творчестве до самых всеобъемлющих мировых и человеческих проблем в полной октаве их сочетаний.

— Всю свою сознательную жизнь ваш отец прожил советским гражданином, «советским композитором». Как, по-вашему, отразилась в его творчестве история этих десятилетий?

— Рискну сказать, что, несмотря на свое привилегированное положение, несмотря на то, что лично его и нашу семью общая трагедия вроде бы пощадила, во всяком случае, не затронул террор, — Шостакович мог бы сказать о себе примерно то, что сказала о себе Анна Ахматова: «я была тогда с моим народом, там, где мой народ, к несчастью, был». Испытания его соотечественников были и его испытаниями. Общепородная трагедия и трагическая судьба личности — вот основное содержание его произведений. Трагизм его сочинений становился для слушателей источником катарсиса, помогал духовно очиститься, пережить самые горькие моменты жизни. И, как метко сказал один искусствовед, о советском времени будут судить по произведениям Шостаковича.

— Что дала советская власть Шостаковичу и что отняла у него?

— Советская власть в своем отношении к Шостаковичу чередовала гонения и награды, но и то и другое служило одной цели: на протяжении всей жизни она пыталась подчинить себе творчество композитора. К счастью, она в этом не преуспела. В творчестве своем Шостакович превыше всего ставил правду.

Что отняла — сказать труднее: откуда нам знать, что могло бы быть в иной, непрожитой жизни? Можно только быть уверенным, что не «отними» она этих неразвернувшихся возможностей, она не «дала» бы и того, что отразилось в его музыке и *на* его музыке.

— Максим Дмитриевич, вы в Советском Союзе были в блестящем положении — не только материальном, но и творческом: глава одного из лучших оркестров, концерты, записи, гастроли, в том числе заграничные. И — «перешли на сторону врага»... Знаете, как удивляется в таком случае обыватель: «И чего ему собственно не хватало?» В самом деле, чего вам не хватало — кроме «абстрактной» свободы?

— Я понимаю иронию в ваших терминах, и все же хочу подчеркнуть, что я отнюдь не «перешел на

сторону врага», — наоборот, я жаждал встретить истинных друзей свободной России. За свою жизнь в СССР я столько насмотрелся на страдания отца, на страдания народа, во мне накопился такой мощный отрицательный потенциал, что больше не было сил терпеть. Передо мной стояла дилемма: или махнуть на все рукой, подчиниться, приспособиться, или — как умею — протестовать. Мое «невозвращенчество» — сильная для меня форма протеста против советского режима. Это, наверно, звучит банально, но социально это так и есть. Психологически тоже. Хотя материально я в СССР был достаточно обеспечен, я слишком остро ощущал отсутствие истинной свободы, отнюдь не абстрактной, свободы духа, остро воспринимал рабское и раболепствующее окружение. Я дошел до предела, и мой «исход» стал выходом из тупика.

— Какое последнее сочинение вы исполнили с советским оркестром?

— Симфонию «Манфред» Чайковского. Это было 12 апреля 1981 года в городке Фюрт близ Нюрнберга, — мое последнее совместное выступление с оркестром, которым я руководил десять лет. Автобусы для оркестра после концерта подали к выходу, прямо впри-тык, а оттуда нас уже увезли бы на аэродром — и всё. Мы с моим сыном Митей вышли через запасной выход и в полиции сразу же попросили политического убежища.

— А что и с каким оркестром вы впервые играли после этого?

— «Праздничную увертюру» Шостаковича с Национальным симфоническим оркестром США. Это было у подножия Капитолийского холма, в «Мемориальный день» Америки, и на концерте присутствовало 60 тысяч человек.

— Как складывается ваша творческая жизнь на Западе? Где вы живете?

— Сначала я жил в Нью-Йорке, потом купил дом в соседнем штате Коннектикут: жизнь в деревне, на

природе, мне ближе. Отсюда я и разъезжаю с концертами. У меня контракт с крупнейшей артистической фирмой США «Коламбия Артистс» — они заключили этот контракт по совету Мстислава Ростроповича. Эта фирма организует мои концерты как в Америке, так и по всему миру. Сотрудничаю я и со своими старыми друзьями — европейскими импресарио Виктором Хохгаузером и Генрихом Лоддингом. Вообще при первых шагах на чужой земле мне очень многие помогли — и старые друзья, и новые.

— А как реагировали власти в СССР на ваш побег? Были ли преследования против кого-нибудь из ваших близких?

— О преследованиях такого рода я ничего не слышал — надеюсь, что не было. А о реакции на мое невозвращение я могу судить только по статье в «Литературной газете», где сообщалось, что, во-первых, я посредственный дирижер, во-вторых, завидую имени своего отца (!!) и, в-третьих, гоняюсь за «длинным рублем». Под «длинным рублем», видимо, разумеется доллар.

— Есть ли какие-нибудь различия в работе дирижера с оркестром в СССР и здесь?

— Мне нравится, что здесь, в условиях свободы, стираются отношения дирижера и оркестрантов как начальника и подчиненных — в СССР такие отношения нередки. Здесь это в большей степени отношения соратников, единомышленников. Я думаю, что музыкант в оркестре тогда сыграет хорошо, когда он того искренне хочет, а не когда его заставляют. Какая бы то ни было грубость, а тем более административное давление на репетициях здесь исключены. Каждый раз, когда оркестр играет с новым дирижером, музыкантов — путем специальных анкет — опрашивают: как прошел концерт, каково мастерство дирижера. Они откровенно высказывают свое мнение, и с их мнением считается администрация оркестра, а не наоборот.



— Действительно ли в советской музыкальной практике проявляется антисемитизм?

— Знаете, он проявляется, в основном, в кадровой политике. Например, наш оркестр принадлежал радио и телевидению, т. е. «режимной» организации, и не так-то легко было добиться зачисления в штат талантливого музыканта-еврея.

— Как вы слушаете — точнее, как вы слышите музыку?

— Ушами, умом и сердцем — в той степени, какую дал мне Бог. Звуки — это как слова. Музыка — как роман. Например, «Бесы» Достоевского.

— А сами вы пробовали сочинять?

— Только в раннем детстве, потом бросил. Всегда отвечаю: по-моему, одного композитора с такой фамилией вполне достаточно.

— Знаете ли вы «Мемуары» Шостаковича, изданные в США Соломоном Волковым? Если да, то что вы думаете об этой книге?

— На мой взгляд, это — в целом — скорее книга о Шостаковиче, а не книга Шостаковича. Она, в основном, верно отражает положение советской музыки и самого Шостаковича в условиях сталинского режима. Но взаимоотношения композитора со своими коллегами, его высказывания о них переданы не всегда точно. Некоторые «мнения» Шостаковича, почерпнутые из слухов, от третьих лиц или вырванные из контекста, придают его оценкам досадную односторонность. Каждый большой художник видит в творчестве своих коллег и свойственные им недостатки, и неоспоримые достоинства, и это следует серьезно учитывать.

На первой странице этой книги есть фотография, подаренная Волкову отцом на память о тех нескольких интервью, которые тот у него брал. На этой фотографии — приписка рукой Шостаковича: «На память о беседах о Зошенко, Мейерхольде и Глазунове». Думаю, что этой припиской отец сам уточнил круг тем, к передаче которых в книге Волкова можно относиться с наибольшим доверием.

Однако и в том виде, в каком эта книга существует, она бесспорно пробудила большой интерес западного читателя к композитору, к его творчеству и судьбе.

— Дело вашей жизни — музыку — вы сравнили с романом, вообще со словесностью. Похоже, что вы из тех русских, что не могут жить без литературы. Что вы думаете о русской литературе в изгнании?

— Я с радостью убедился, что это настоящая большая литература — и по художественному уровню, и по кругу затрагиваемых проблем. Без нее действительно трудно бы нам пришлось вдали от Родины. Я только не хочу давать никаких перечислений, никаких списков имен: непременно забуду кого-нибудь упомянуть, а мне вовсе не хочется обижать тех, кого я действительно люблю.

Взял интервью *А. Мирчев*

Нью-Йорк, март 1983

**Николай Олин**

## **Третья скамейка слева**

Трагическая повесть о молодой интеллигенции 70-х годов, о «черноработниках» кино, которым упорно не дают хода, которых ломают духовно и губят физически. Повесть написана в Москве в 1977 году.

1979

214 с.

18 н.м.

Possev-Verlag, Flurscheideweg 15, D-6230 Frankfurt/M. - 80

# РУССКИЙ СВОБОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. А. Д. САХАРОВА

Программа летнего курса 1983 года (1 — 20 авг.)

Интеллигенция и революция (Литература 20-х гг.) · На пути к либеральному государству (реформы 1861 — 1910) — *Владимир Аллой*

Маленькие трагедии А. С. Пушкина · «Тоска по мировой культуре» (Осип Манделштам) — *Василий Бетаки*

Чеховские университеты · Гоголь и современная литература · Достоевский и революционные демократы — *Эдуард Бройде*

Советский спорт · Органы охраны порядка в СССР — *Артур Вернер*

Золотой век советского кино · Советское кино 60-х, 70-х гг. · «Лженаука» парапсихология · Русская художественная фотография конца XIX — начала XX вв. — *Григорий Виноцкий*

Советская внешняя политика · Пацифистское движение и Советский Союз — *Михаил Восленский*

Русские художники за границей · Картины и бульдозеры — *Александр Глезер*

Деревенская проза · Нонконформистское искусство в СССР за последние тридцать лет — *Борис Гройс*

Посмертная слава Александра Вампилова — *Виолетта Иверни*

Сталин и Гитлер · Опыт неканонического прочтения советской истории — *Лев Копелев*

«Новая экономическая политика» Андропова · Положение советских рабочих на строительстве газопроводов · «Второе» общество в СССР — *Ален Крончер*

Лагерь как структурный элемент советской системы · Советская эмиграционная политика — *Эдуард Кузнецов*

Русская икона — *о. Николай Озолин*

Последний год жизни Герцена · Американская литература и современный русский литературный процесс — *Раиса Орлова*

За справками обращаться: Russische Andrej-Sacharow-Akademie e. V. · Postfach 18 0105 · 5000 Köln 1

**ИЗДАТЕЛЬСТВО «LA PRESSE LIBRE»**

217, rue Faubourg St. Honoré 75008 Paris

**Н о в ы е к н и г и**

**Серия: XX век**

**(Поэзия и проза)**

**Владислав Ходасевич. Собрание стихов.**

**В ДВУХ ТОМАХ**

**Редакция, примечания, очерк жизни и творчества —  
Ю. Колкера**

**Том 1-й. 328 стр. 30 н. м.**

**Том 2-й. ок. 400 стр. 33 н. м.**

Первое, по возможности наиболее полное, комментированное издание поэтического наследия одного из крупнейших русских поэтов XX века.

Том 1-й включает: основной корпус первых четырех книг Вл. Ходасевича (до эмиграции из России) с приложением вариантов и ранних редких стихов; библиографическую часть с указанием всех повременных публикаций поэта; обширные библиографические и историко-литературные комментарии к стихам, и особо к каждому сборнику, выполненные на основе архивных материалов, воспоминаний современников и свидетельств самого Вл. Ходасевича.

Том 2-й включает сборник «Европейская ночь»; стихи, опубликованные в периодике (дореволюционной и эмигрантской) и не вошедшие в сборники; поэтические переводы В. Ходасевича; краткий очерк жизни и творчества, статью о Ходасевиче-переводчике, продолжение библиографии и обширные примечания.

**Юрий Одарченко. Стихи и проза.**

**Вступительная статья К. Померанцева.**

**Подготовка текста, послесловие и комментарий**

**В. Бетаки.**

**Около 250 стр. (в печати).**

Книга включает единственный сборник стихов Ю. Одарченко «Денек», а также стихи, рассказы и повести, опубликованные в эмигрантских журналах или никогда не публиковавшиеся.

## **Гайто Газданов. Избранная проза.**

**В двух томах.**

**Редакция, вступительная статья и комментарий  
Ласло Диенеша (США).**

**Том 1-й. ок. 450 стр. (в печати).**

**Том 2-й. ок. 550 стр. (в печати).**

За исключением книги «Ночные дороги» и романа «Вечер у Клэр», вышедших отдельными изданиями, проза Гайто Газданова остается частью неопубликованной, частью разбросанной по малодоступным эмигрантским журналам, и почти незнакомой современному читателю. А между тем, она составляет значительное явление в русской эмигрантской литературе. Настоящее издание представляет собой попытку возможно более полно представить творчество этого своеобразного русского беллетриста, сложившегося уже в эмиграции, но в творчестве своем неразрывно связанного с покинутой родиной.

Первый том составляют рассказы Газданова.

Второй том — включает его романы, в том числе «Полет» — роман, никогда полностью не публиковавшийся.

Это издание начинает серию, посвященную писателям русского рассеяния, чьи имена сегодня полузабыты, но чье творчество составляет неотъемлемую часть единой русской литературы.

## **Юрий Кублановский. С последним солнцем.**

**Послесловие Иосифа Бродского. 370 стр. 28 н. м.**

Книга, подводящая итог десятилетию творчества поэта. Стоит из четырех частей: «Памяти Москвы», «Путешествие», «Памяти Петрограда», «С последним Солнцем», и двух независимых циклов стихов — «Иордань» и «Песни венского карантина», написанных в последние месяцы жизни в России и сразу после выезда на Запад.

«Кублановский — единственный поэт из всего поколения, который способен обращаться к теме Творца и творения с поэтическим достоинством и подлинной сдержанностью. Он пишет о чуде — о чуде жизни, о даре — как тот, кто понимает масштаб дара... В нем чувствуется цельность...»

*Иосиф Бродский.*

# ЭРМИТАЖ

В 1983 ГОДУ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ  
В НАШЕМ ИЗДАТЕЛЬСТВЕ:

АВЕРИНЦЕВ, С. Религия и литература. Статьи, 143 с.	7.00
АКСЕНОВ, В. Аристофаниана с лягушками. Пьесы, 380 с.	11.50
АКСЕНОВ, В. Право на остров. Рассказы, 180 с.	6.50
АРАНОВИЧ, Ф. Надгробие Антокольского. 180 с., 80 илл.	9.00
АРМАЛИНСКИЙ, М. После прошлого. Стихи, 110 с.	5.50
БРАКМАН, Р. Выбор в аду. О творч. Солженицына, 144 с.	7.50
ВАЙЛЬ, П. ГЕНИС, А. Современная русская проза. 192 с.	8.50
ВИНЬКОВЕЦКАЯ, Д. Илюшины разговоры. 145 с., 50 илл.	7.50
ВОЛОХОНСКИЙ, А. Стихотворения. 160 с.	8.00
ГИРШИН, М. Убийство эмигранта. Роман, 145 с.	7.00
ГУБЕРМАН, И. Бумеранг. Стихи, 120 с. Рис. Д. Мирецкого	6.00
ДОВЛАТОВ, С. Зона. Повесть, 128 с.	7.50
ЕЗЕРСКАЯ, Б. Мастера. Сборн. интервью. 15 илл.	8.00
ЕЛАГИН, И. В зале Вселенной. Стихи, 212 с.	7.50
ЕФИМОВ, И. Архивы Страшного суда. Роман, 320 с.	10.50
ЕФИМОВ, И. Как одна плоть. Роман, 120 с.	6.00
ЕФИМОВ, И. Метаполитика. 250 с.	7.00
ЕФИМОВ, И. Практическая метафизика. 340 с.	8.50
ЗЕРНОВА, Р. Женские рассказы. 160 с.	7.50
КОГАН, Э. Соляной столп. Полит. психология Солженицына	14.00
КОРОТЮКОВ, А. Нелегко быть русским шпионом. Роман, 140 с.	8.00
ЛЕЙТМАН, И. Контуры лучших времен. 128 с.	7.00
ЛУНГИНА, Т. Вольф Мессинг — человек-загадка. 270 с., 15 илл.	12.00
МИХЕЕВ, Д. Идеалист. Роман, 224 с.	8.50
НЕИЗВЕСТНЫЙ, Э. О синтезе в искусстве. Альбом, 60 илл.	12.00
ОЗЕРНАЯ, Н. Русско-английский разговорник. 170 с.	9.50
ПАПЕРНО, Д. Записки московского пианиста. 208 с., 20 илл.	8.00
ПОПОВСКИЙ, М. Дело академика Вавилова. 280 с., 20 илл.	10.00
РЖЕВСКИЙ, Л. Бунт подсолнечника. Роман, 240 с.	8.50
СВИРСКИЙ, Г. Прорыв. Роман, 560 с.	18.00
СУСЛОВ, И. Рассказы о т. Сталине и других товарищах. 140 с.	7.50
СУСЛОВ, И. Выход к морю. Рассказы, 230 с.	8.50
УЛЬЯНОВ, Н. Скрипты. Статьи, 230 с.	8.00
ЧЕРТОК, С. Последняя любовь Маяковского. 128 с.	7.00
ШТУРМАН, Д. Земля за холмом. Статьи, 256 с.	9.00

Заказы отправлять по адресу:

HERMITAGE, 2269 Shadowood Dr., Ann Arbor, MI 48104

К сумме чека добавьте 1.50 дол. на пересылку  
(независимо от числа заказываемых книг).

При покупке трех и более книг — скидка 20%.

## *Специальное приложение*





## ИНТЕРНАЦИОНАЛ СОПРОТИВЛЕНИЯ

В Париже образован Организационный комитет «Интернационала Сопротивления». Ниже мы публикуем первые официальные документы этого Комитета.

### ПРЕДСТАВИТЕЛИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУПП

Ангола: *Жозе Фуртадо.*

Болгария: *Ценко Барев.*

Вьетнам: *Во Ван Ай, Фуонг Ан.*

Острова Зеленого Мыса: *Аннибал Монтенегро.*

Китай: *Жан Паскалини.*

Куба: *Армандо Вальядарес, Хуберт Матос, Марта Фрайде.*

Лаос: *Янг Дао.*

Румыния: *Пауль Гома.*

Украина: *Петро Григоренко.*

Югославия: *Михайло Михайлов.*

Россия: *Владимир Буковский.*

### КООПТИРОВАННЫЕ ГРУППЫ

«*Лиезон груп*» — Объединение политической эмиграции из Восточной Европы (Великобритания). Состав — Албания, Белоруссия, Болгария, Венгрия, Грузия, Латвия, Литва, Польша, Россия, Румыния, Украина, Чехословакия, Эстония, Югославия (всего — 13 стран). Председатель — *Растко Маркетич.*

*Сахаровский комитет* (США), директор *Эдуард Лозанский.*

*Комитет им. Владимира Буковского* (Нидерланды), представитель *Роберт Ван Ворен.*

*Комитет «Беженцев моря»* (Франция).

## ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Председатель: *Эдуард Кузнецов* — бывший советский политзаключенный, правозащитник, писатель (Израиль).

Директор-распорядитель: *Владимир Максимов* — писатель, Главный редактор журнала «Континент» (Франция).

Генеральный секретарь: *Арман Малумян* — писатель, участник Французского Сопротивления (Франция).

Казначей: *Александр Ниссен* — инженер-электроник, общественный деятель (Франция).

Пресс-группа: *Ольга Свинцова* — журналист, общественный деятель (Франция); *Жак Бруайель* — журналист, писатель (Франция); *Клоди Бруайель* — журналист, писатель (Франция).

Секретарь Комитета: *Александра Шмидт* — американская славистка (США).

Полномочия Организационного Комитета ограничиваются подготовкой Учредительной конференции «Интернационала Сопротивления».

## КОМИТЕТ СОДЕЙСТВИЯ

*Фернандо Аррабал* — драматург (Испания).

*Раймон Арон* — политический писатель, Президент редакционной коллегии журнала «Экспресс» (Франция).

*Алэн Безансон* — историк, философ (Франция).

*Энцо Беттица* — журналист, писатель, член Европейского парламента, член руководства Итальянской либеральной партии.

*Маргарита Бонивер* — итальянский сенатор-социалист.

*Леон Бутбьен* — Президент Интернационала узников нацизма.

*Симона Вейль* — политический деятель, член Европейского парламента (Франция).

*Мари-Франс Гаро* — политический деятель (Франция).

*Корнелия Герстенмайер* — журналист, общественный деятель (ФРГ).

*Андре Глюксман* — писатель, философ, общественный деятель (Франция).

*Мидж Дектер* — Главный редактор «Контеншенс» (США).

*Милован Джилас* — писатель, общественный деятель (Югославия).

*Эжен Ионеско* — член Французской Академии.

*Бернар-Анри Леви* — писатель, философ, общественный деятель (Франция).

*Симон Лейс* — синолог (Франция).

*Ник Малумян* — Генеральный секретарь организации ЛИКРА (Французская лига борьбы против расизма и антисемитизма).

*Роберто Маццотта* — вице-секретарь итальянской христианско-демократической партии.

*Индро Монтанелли* — писатель, историк, директор газеты «Иль Джорнале Нуово», участник итальянского Сопротивления.

*Карло Рина ди Меана* — член Европейского парламента, социалист.

*Торе У. Нильссон* — член Шведского парламента.

*Норман Подгорец* — политический деятель, Главный редактор журнала «Комментари» (США).

*о. Рике* — участник Сопротивления, узник нацизма (Франция).

*Мстислав Ростропович* — музыкант (США).

*Виктор Спарре* — художник (Норвегия).

*Гуннар Сюнстеби* — участник Сопротивления, Президент Комитета инвалидов войны (Норвегия).

*Роберто Формигони* — Генеральный секретарь молодежного движения «Мовименто пополаре» (Италия).

*Мари-Мадлен Фуркад* — Президент Комитета участников Сопротивления (Франция).

*Марек Хальтер* — писатель, художник, общественный деятель (Франция).

*Лейф Ховельсен* — участник Сопротивления, общественный деятель (Норвегия).

*Уинстон С. Черчилль* — политический деятель (Англия).

*гр. Людвиг фон Штауфенберг* — политический деятель (ФРГ).

*Пьер Эмманюэль* — член Французской Академии.

Оргкомитет «ИС» вступил также в контакт с представителями сопротивления Алжира, Афганистана, Восточной Германии, Камбоджи, Крымских татар, Мозамбика, Польши, Тибета, Чехословакии, Эфиопии.

Список членов Комитета содействия, Национальных комитетов и Кооптированных групп считается открытым для присоединения.

## ДЕКЛАРАЦИЯ «ИНТЕРНАЦИОНАЛА СОПРОТИВЛЕНИЯ»

Тоталитарная система медленно, но целеустремленно продолжает свое глобальное распространение. Только в самые последние годы в ее сфере оказались такие страны, как Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Эфиопия, Ангола, Южный Йемен, Никарагуа и, наконец, Афганистан. В непосредственной опасности находятся Сальвадор, Таиланд, Аргентина и целый ряд других стран.

Если в наступившем десятилетии Запад, с помощью односторонних уступок, и сумеет избежать прямого военного столкновения с мировым тоталитаризмом,

то в конце концов, отрезанный от источников своего энергетического существования и жизненно важных коммуникаций, он все-таки вынужден будет принять смертельный для себя вызов или капитулировать.

Стратегия современного тоталитаризма однозначна: шантажируя человечество угрозой мировой войны, поставить мир на колени даже без риска такой войны.

К сожалению, в этой своей стратегии тоталитаризм уже выиграл в человеческих умах самое главное сражение — сражение терминологическое, что само по себе в текущем десятилетии может оказаться решающим фактором с глобальными последствиями.

Мы отдаем себе отчет в том, что в существующих условиях правительства демократических стран, в силу политических и экономических причин, вынуждены садиться за стол переговоров с представителями тоталитарных клик, оставляя поработанные народы своей собственной судьбе. Именно поэтому мы берем на себя ответственность положить начало диалогу с этими народами через голову государств и правительств, то есть попытаться вернуть им фундаментальную основу свободного бытия — утраченную Надежду.

Трезво оценивая всю сложность проблем современного мира — экономический спад со всеми вытекающими отсюда последствиями, трагические борения родовых мук Третьего мира, энтропию духовных ценностей демократии, мы, тем не менее, считаем, что основной угрозой Свободе в наше трагическое время является советский империализм, открыто поставивший себе целью завоевание мирового господства.

Разумеется, ограничивая свою основную задачу борьбой с наступлением тоталитаризма, мы никогда и ни в коем случае не откажемся от поддержки демократических сил, борющихся против военных диктатур или гражданской олигархии в авторитарных странах.

В этих условиях мы — представители самых разных общественных, религиозных и политических течений тоталитарных стран в изгнании — принимаем решение создать Интернационал Сопротивления, с тем чтобы противопоставить угрозе всеобщего порабощения единый фронт нашего Сопротивления.

Интернационал Сопротивления ставит перед собой следующие задачи:

1. Создать всеобъемлющую организационную структуру Демократического Сопротивления в лице многомиллионной армии изгнанников для эффективной координации всех правозащитных, национальных и политических акций во всем мире, направленных против тоталитарного наступления; материальной и политической поддержки всех демократических движений в тоталитарных странах; помощи жертвам диктаторских режимов; защиты социальных прав беженцев; сбора и распространения альтернативной информации из тоталитарного мира; выработки политической философии нового движения и практических методов его повседневной работы.

2. Интернационал Сопротивления считает также необходимым для себя добиваться своего признания во всех узаконенных международным правом организациях в качестве самостоятельной общественной и политической институции.

В эти судьбоносные дни истории мы призываем всех, кому дороги идеалы Свободы, не к политической унификации, а к подлинному единству, ибо только в таком единстве наше спасение.

Первая манифестация «Интернационала» состоится 18 мая этого года в Париже в зале «Мютюалитэ».

*Адрес Организационного Комитета «ИС»:* 102, av. des Champs Elysée, 75008 Paris, France. *Телефон:* 562-86-90.

**ИЗДАТЕЛЬСТВО «LA PRESSE LIBRE»**

217, rue Faubourg St. Honoré 57008 Paris.

## **Н О В Ы Е К Н И Г И**

**Серия: Диалог**

**В. Буковский. Пацифисты против мира.**

**110 стр. 13 н. м.**

Актуальная публицистическая книга Владимира Буковского посвящена сегодняшнему пацифистскому движению в Западной Европе. Рассматривая внешнюю политику Советского Союза на протяжении всей его истории, В. Буковский показывает, как естественное стремление человечества к миру всегда использовалось советскими руководителями в собственном — далеко не мирных — целях. Дезориентация общественного мнения западных стран, попытка связать руки западным правительствам в укреплении их обороноспособности, — инспирируются Москвой для обеспечения собственного военного превосходства и продолжения коммунистической экспансии.

Основной вывод автора: никогда еще лозунг «Мир любой ценой» — не приводил к прочному миру, но лишь увеличивал военную опасность, поощряя агрессора.

**А. А. Курдюмов. В краю непуганых идиотов.**

**Книга об Ильфе и Петрове. 300 стр. 28 н. м.**

Первая монография, посвященная творчеству наиболее известных послереволюционных сатириков, их писательской и человеческой судьбе, их общественной и нравственной позиции.

В семидесятые годы вокруг имен Ильфа и Петрова возникло множество мифов, искажающих образ писателей. Самиздатский автор показывает беспочвенность мифотворчества, связанного с идеологической модой, в частности, легенды об «антиинтеллигентстве» Ильфа и Петрова, восстанавливает подлинный образ писателей и их место в контексте литературной жизни 20-30-х гг.

**Читайте в следующем  
номере «Континента»**

**Проза:**

**И. Брежна, А. Ковалев,  
Э. Неизвестный**

**Стихи:**

**С. Петрунис, В. Стус, М. Сухотин**

**Публицистика:**

**Материалы  
Миланской конференции  
«Континент культуры»**



# КОНТИНЕНТ

Годовая подписка (4 номера)  
40,— ДМ, или 20,— US\$, включая пересылку.

Вы экономите 8,— ДМ, или 4,— US\$  
от розничной цены!

---

Желаю оформить подписку на 1 год (4 номера)  
начиная с №.....

Имя: .....

Адрес: .....

.....

.....

Оплату произвожу:

приложенным чеком  почтовым переводом   
через банк

---

Платеж и заполненный талон просим направлять:

**A. NEIMANIS BUCHVERTRIEB**

Bauerstr. 28, 8000 München 40, West Germany

Bankkonto: Bayerische Vereinsbank München Nr. 6304630

Postscheckkonto: München 147391-804





## ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

В этом году исполняется десять лет со дня выхода первого номера нашего журнала. За минувшее время «Континент» приобрел среди русскоязычной публики, как здесь, за рубежом; так и внутри тоталитарного блока достаточно широкий круг постоянных читателей и подписчиков. Журнал продается и распространяется в 32-х странах мира и общий тираж его составляет 3.500 — 4.000 экземпляров, проявляя тенденцию к неуклонному росту.

Но, тем не менее, мы убеждены, что возможности дальнейшего расширения его продажи и подписки далеко не исчерпаны: только в последние годы на Западе по разным причинам оказались десятки тысяч беженцев с Востока, значительная, если не основная часть которых состоит из представителей интеллигенции, т. е. наших потенциальных читателей. Задача теперь заключается лишь в том, чтобы свести и познакомить этих читателей с «Континентом», и посредником в такой встрече может стать любой его подписчик или покупатель.

В целях поощрения подобного посредничества редакция нашего журнала предлагает своим наиболее активным распространителям книжные премии:

1. Организация пяти и более подписок: бесплатный номер «Континента» по выбору организатора.
2. Десять и свыше десяти подписок: номер «Континента» и любую книгу, изданную на Западе, стоимость которой не превышает цены годовой подписки на журнал.
3. Более двадцати подписок: годовой комплект «Континента» по выбору организатора и книгу на указанных выше условиях.

Надеемся, что это обращение найдет среди вас сочувственный отклик.

Перед вами самый широкий книжный выбор: от «Архипелага» до «Континента»!

*Редакция «Континента»*

### ПРИМЕЧАНИЕ:

Журналы и книги можно получить, представив в редакцию подтверждение о количестве собранных подписок от нашего постоянного представительства по адресу: A. Neimanis-Buchvertrieb, Bauerstr. 28, 8000 München 40, BRD.

21-22 мая с. г., в Милане, во дворце «Экс Стеллине» проходила Открытая редколлегия «Континента» под девизом «Континент культуры в изгнании». Ниже мы публикуем приветствие этому форуму одного из крупнейших западно-германских издателей, инициатора и основателя нашего журнала, Акселя Шпрингера:

*Владимиру Максимову  
«КОНТИНЕНТ»  
Виа Беруто 1/Б  
1-20133 Милан  
Италия*

*Дорогой друг Владимир,  
шлю свои наилучшие пожелания Вам, Вашим друзьям и товарищам по несчастью и другим участникам этого, имеющего важное значение, мероприятия. Тема «Культура и свобода» всегда актуальна, но особенно актуальна она в наши дни. И когда я посылаю Вам поздравления в Милан, я помню о тех многих, кто за железным занавесом не имеет возможности приобщиться к подлинным ценностям мировой культуры. Я знаю, что конференция Ваша посвящена всем, кто стремится к свободе.*

*С сердечным приветом  
Ваш*

*Аксель Шпрингер*

Продолжение публикации материалов Открытой редколлегии читайте в следующем номере.